

– тема –

ДЖОН ТОШ

**СТРЕМЛЕНИЕ К  
ИСТИНЕ**  
КАК ОВЛАДЕТЬ МАСТЕРСТВОМ ИСТОРИКА

ВСЬ МИР  
Москва  
2000

УДК 30  
ББК 63.2  
То 50

Перевод с английского: *Коробочкин М.Л.*,  
Редактор: *Русев В.А.*

*Данное издание выпущено в рамках программы  
Центрально-Европейского Университета "Translation Project"  
при поддержке Центра по развитию издательской деятельности  
(OSI – Budapest) и Института «Открытое общество. Фонд содействия»  
(OSIAF – Moscow).*

This translation of *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Direction  
in the Study of Modern History, Third Edition*  
is published by arrangement with Addison Wesley Longman Limited

Книга *Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка;*  
*третье издание.* На русский язык перевод осуществлен  
по соглашению с *Эддисон Уэсли Лонгман Лимитед.*  
Лицензирован только для продаж в России.

**Тош Д.**

То 50 Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка/Пер. с англ. – М: Издательство  
«Весь Мир», 2000. – 296 с.

ISBN 5-7777-0093-4

Историки – это скрупулезные мастера, составляющие из разных деталей, порой мельчайших, сложную конструкцию – историческое исследование. Стать мастером своего дела удается далеко не каждому. Как, какими методами изучать историю? Что такое исторический факт? Какие школы и направления в изучении истории существовали в прошлом и какие появились совсем недавно? Эти и многие другие вопросы рассматривает в своей книге известный британский историк Джон Тош. Его цель – помочь студентам и начинающим историкам достичь мастерства в своей профессии. Эрудиция, талант лектора, бесспорное литературное дарование позволили автору написать увлекательную книгу. Она будет полезна не только учащимся и преподавателям, но и самым широким читательским кругам.

УДК  
30  
ББК  
63.2

*Отпечатано в России*

© Pearson Education Limited, 1984, 1991, 2000

© Перевод на русский язык, оформление

Издательство «Весь Мир», 2000

ISBN 5-7777-0093-4

### От издательства

Следуя старой издательской традиции снабжать переводы зарубежных авторов предисловием/послесловием либо комментариями, мы обратились к одному из российских историков с просьбой написать вводную статью к книге Джона Тоша. «Нет, писать не буду. Книга настолько хороша, что все мои хвалебные слова окажутся слабой данью таланту автора, а поиски недочетов – недостойным жестом. Могу сказать лишь одно: рекомендую прочесть книгу от корки до корки студентам, преподавателям, да и всем любителям истории», – таков был ответ. И мы решили согласиться с мнением эксперта и не предварять перевод пространным предисловием.

Книга британского профессора Джона Тоша выдержала несколько изданий и вошла в «Серебряную серию» исторических бестселлеров издательства «Лонгман». Свое исследование автор адресует студентам, которые, решив связать свою профессиональную карьеру с историей, задаются такими вопросами, как: «Почему необходимо изучать историю?», «Как можно воссоздать прошлое?», «Возможно ли применять в исторических исследованиях методы других дисциплин?», «Каков вклад в историческое знание историков разных стран и времен?». Вот далеко не полный перечень вопросов, позволяющих очертить сферу под названием «методология истории», в которой царит триада: историк – исторический источник – историческое исследование. Именно этой триаде Тош придает огромное значение, причем «холодный, беспристрастный взгляд профессионала» (по определению рецензентов на родине автора) и его живой, не лишенный истинно

английского юмора язык (по определению нашего издательства) превращают вводный курс в увлекательное чтение. По-английски заголовок книги звучит следующим образом: “The Pursuit of History”. Слово “pursuit” означает «преследование», «погоня». И верно, настоящий историк должен буквально бежать по пятам событий уходящего от нас все дальше прошлого. Для самого Тоша этот бег – стремление к истине, и именно так мы решили назвать русское издание. Усвоив «цели, методы и новые направления в современной исторической науке» (английский подзаголовок книги), можно действительно овладеть мастерством историка, к чему и призывает автор учащуюся молодежь.

Любопытно отметить, что, подробнейшим образом разбирая существующие школы и направления, автор в одной из глав дает оценку марксистской интерпретации истории. Ее взвешенный характер явно разочарует тех, кто как черт от лада бежит от одного слова «марксизм».

Призывая историков неустанно совершенствовать свое мастерство, сам Тош не устранился от этой задачи. Чутко реагируя на любые новые веяния, он в каждом переиздании обозначает дискуссионные темы и стремится ввести в оборот самые последние данные, без знания которых, по его мнению, представления читателей о современном состоянии исторической науки будет неполным. Так, в третьем издании книги автор довольно много уделяет внимания влиянию постмодернизма на исторические исследования.

Русский перевод работы Джона Тоша публикуется в серии «Тема», в которую издательство «Весь Мир» помещает наиболее интересные, носящие проблемный характер работы зарубежных и отечественных авторов. Мы считаем, что эта замечательная книга как нельзя лучше отвечает замыслу серии и должна понравиться нашим читателям.

Посвящается Нику и Уильяму

## Предисловие к третьему изданию

Слово *история* в обиходной речи имеет два значения: это и сами события прошлого, и их отображение в работах историков. В данной книге история рассматривается во втором ее значении. Она предназначена для всех, кого волнует вопрос: каким образом осуществляются исторические исследования и какой цели они служат. А точнее, эта книга адресована студентам, которые выбрали своей профессией историю и для которых эти вопросы особенно актуальны.

Традиционно студентам-историкам не преподавалось никакого вводного курса о природе избранной ими дисциплины; ее заслуженное место в нашей письменной культуре и гуманитарный характер давали возможность предположить, что здравый смысл в сочетании с солидным общим образованием позволят студенту получить требуемый минимум ориентации. Такой подход оставляет многое на волю случая. Несомненно, желательно, чтобы студенты могли обдумать задачи того предмета, которому они готовы посвятить три года учебы или даже больше. Выбор направлений исторического исследования, который сейчас куда богаче, чем двадцать лет назад, будет делаться методом проб и ошибок, если он не основан на четком понимании содержания и спектра современной исторической науки. Прежде всего, студенты должны понимать ограниченность исторического знания, обусловленную характером источников и методов работы историка, чтобы у

них с самого начала выработался критический подход к огромной массе научной литературы, которой они должны овладеть. Можно, конечно, защитить диплом по истории и без систематического обдумывания этих вопросов – именно так происходило со многими поколениями студентов. Но сейчас в большинстве университетов пришли к пониманию, что ценность обучения истории тем самым уменьшается, и соответственно там существуют вводные курсы по методологии и направлениям исторической науки. Надеюсь, что эта книга будет полезна студентам, изучающим такой курс.

Хотя мой собственный исследовательский опыт относится к области истории Африки и гендерным проблемам в современной Британии, я не пытался написать манифест в поддержку «новой исторической науки». Вместо этого я попытался показать разнообразие современной научной практики и поместить последние новшества в контекст преобладающих традиционных исследований, в рамках которых по-прежнему создается множество первоклассных работ по истории и которые доминируют в учебных программах. Спектр исторических исследований сегодня настолько широк, что мне было непросто определить тематику книги; однако без неких произвольно установленных границ вводный труд такого объема просто утратил бы связность. Поэтому я не касаюсь истории науки, и очень мало – истории искусства или окружающей среды. Мой обзор исторических источников на практике ограничивается вербальными материалами (письменными и устными), поскольку именно с этой сферой связаны притязания историков на особую специализацию. В целом же я ограничился выбором тем, которые ныне широко изучаются студентами, в отличие от многообещающих направлений, чей потенциал, возможно, раскроется в будущем.

Даже при этих ограничениях охваченное мной пространство чем-то напоминает минное поле. Того, кто воображает, что во вводной работе об изучении истории будут высказываться лишь те точки зрения, по которым среди специалистов существует консенсус, я вынужден серьезно огорчить. Жаркие споры относительно целей и ограниченности исторических исследований – одна из отличительных черт профессии историка. Эта книга, о чем следует заявить с самого начала, неизбежно отражает мои собственные взгляды. Их основные положения таковы: история – это предмет, обладающий практической общественной значимостью; ее правильное функционирование связано с восприимчивым, но дифференцированным отношением к другим дисциплинам, особенно общественным наукам; любое историческое исследование, чем бы

оно ни вдохновлялось, должно проводиться и жестком соответствии с критическим методом – своего рода «знаком качества» современной исторической науки. В то же время я попытался поместить свои утверждения – которые, конечно, не оригинальны – в контекст последних дискуссий между историками и постарался, чтобы точки зрения, противоположные моим, также были услышаны.

В этой книге сделана попытка скорее разобраться в ряде общих постулатов относительно истории и историков, а не вводить читателя в какую-то одну область или специализацию. Но поскольку я имею основание предполагать, что большинство моих читателей лучше знакомы с британской историей, чем с историей других стран, наглядные примеры я брал в основном из нее, а также из истории Африки, Европы и США. Эта книга предназначена для прочтения от начала и до конца, но я включил в текст некоторое количество перекрестных ссылок в помощь читателю, интересующемуся какой-нибудь одной темой.

Для третьего издания я внес в текст книги значительные изменения. Интеллектуальная среда, в которой действуют историки, существенно изменилась с 1984 г. Взлет постмодернизма придал новую остроту в долгой дискуссии о статусе исторического исследования. Поэтому в гл. 7 я тщательно проанализировал постмодернистское направление, отвергая при этом его наиболее одиозные тенденции. В новой главе о смысловых теориях рассматривается поворот исторической науки в сторону культуры, в том числе культурные тенденции в тендерных исследованиях. Книгу теперь открывает более полный рассказ о том, чем историческая наука отличается от прочих «экскурсов в прошлое», а это привело и к расширению раздела о социальном значении истории в гл. 2. На всем протяжении книги я в ряде случаев изменил и обновил текст.

Поскольку тематика данной книги намного шире любого индивидуального научного опыта, ее автор, конечно, нуждался в помощи других ученых. При подготовке этого издания я следовал ценным сонетам Майкла Пиннока, Майкла Ропера и покойного Рафаэла Сэмюэла. Надеюсь, что в тексте заметен вклад тех, кто критическим оком оглядывал предыдущие издания, особенно Нормы Кларк, Бена Фоукса, Дэвида Хенига, Тима Хитчкока и покойного Питера Зелтмана. За долгие годы работы в Университете Северного Лондона я неизменно пользовался его великодушной поддержкой; а также неоценимой возможностью развить идеи данной книги в преподавательской практике. Ник Тош и Уильям Тош, которым посвящено

это издание, по прежнему жшю интересуются судьбой книги, которая лишь чуть-чуть младше их по возрасту. На завершающей стадии Кэролин Уайт оказала мне своевременную поддержку, и не только в работе над книгой.

*Джон Тош*  
Лондон, март 1999



## Глава 1

### Историческое сознание

«Историческое сознание» – скользкий термин. Его можно рассматривать как универсальный психологический атрибут, проистекающий из того факта, что все мы в каком-то смысле историки. Поскольку наш биологический вид больше полагается на опыт, чем на инстинкт, мы просто не можем жить без осознания личного прошлого; а тот, кто утратил эту способность по болезни или старости, обычно считается непригодным к нормальной жизни. Как личности мы обращаемся к накопленному опыту с самыми разными целями – как к средству самоутверждения, ключу для раскрытия собственного потенциала, основе для формирования нашего мнения о других, некоторому представлению о будущих возможностях. Память служит нам и как база данных, и как средство осмысления прожитой жизни. Ясно, что невозможно понять конкретную ситуацию без ощущения того, как она вписывается в развитие событий, и не задумываться, случалось ли нечто подобное раньше. То же самое происходит с нами и как с существами общественными. Любое общество обладает коллективной памятью, хранилищем опыта, позволяющим выработать чувство идентичности и оценить направление своего развития. Профессиональные историки обычно возмущаются поверхностностью популярного исторического знания, но *какими-то* знаниями о прошлом обладает практически каждый; без него человек полностью выключен из социальных и политических дискуссий, точно так же, как потерявший память утрачивает большинство возможностей нормального человеческого общения. Наши политические суждения пронизаны ощущением

прошлого, решаем ли мы, какой из политических партий отдать предпочтение или оцениваем целесообразность того или иного политического курса. Чтобы понять существующее социальное устройство, необходимо хоть какое-то представление о том, как оно возникло. В этом смысле каждое общество обладает «памятью».

Но «историческое сознание» и социальная память – это не одно и то же. Существует много самых различных подходов к вопросу о том, что нам известно о прошлом и каким образом оно используется в интересах настоящего. Из личного опыта мы знаем, что память не является чем-то устоявшимся и безупречным: мы что-то забываем, последующий опыт налагается на более ранние воспоминания, меняются акценты, «вспоминается» то, чего не было, и т.д. В важных вопросах мы стремимся подкрепить наши воспоминания сведениями из других источников. Для коллективной памяти характерны те же искажения, ведь наши сиюминутные приоритеты побуждают нас высвечивать в прошлом одно и не видеть другого. В политической жизни именно память чрезвычайно избирательна, а порой совершенно ошибочна. В этом плане термин «историческое сознание» предполагает более строгое истолкование. В период «третьего рейха» те немцы, которые верили, что во всех несчастьях в германской истории виноваты евреи, несомненно, искали подтверждение своим взглядам в прошлом, но тогда мы, конечно, зададимся вопросом об уровне их исторического сознания. Другими словами, мало просто обращаться к прошлому; нужна убежденность в необходимости достоверного представления о нем. История как наука стремится поддержать максимально широкое определение памяти и придать ему максимальную точность, чтобы наши знания о прошлом не ограничивались тем, что является актуальным в данный момент. Ее целью является создание запаса знаний, открытых для любого использования, а не набора зеркальных отражений настоящего. На это, по крайней мере, были направлены усилия историков в последние двести лет. Значительная часть данной книги посвящена тому, насколько успешно удастся историкам добиваться этих целей. Во вступительной главе я поставил задачу оценить различные измерения социальной памяти и тем самым показать, чем занимаются историки и в чем отличие их деятельности от других размышлений о прошлом.

## I

Для того чтобы любая социальная группа обрела коллективную идентичность, ей необходимо общее понимание событий и опыта, постепенно формировавших эту группу. Иногда оно включает

общепринятое поверие относительно происхождения этой группы, как это имеет место во многих национальных государствах; или акцент делается на ярких поворотных этапах и моментах символического характера, подкрепляющих представление группы о себе и ее устремлениях. Вот примеры из сегодняшнего дня – суффражистское движение эдвардианской эпохи имеет жизненно важное значение для женского движения, а субкультура «домов для неженоек», существовавшая в Лондоне XVIII в., весьма популярна среди гомосексуалистского сообщества сегодняшней Британии<sup>1</sup>. Без осознания общего прошлого люди вряд ли бы согласились проявлять лояльность к всеобъемлющим абстракциям.

Термин «социальная память» точно отражает рацию популярного знания о прошлом. Социальным группам необходимы свидетельства своего существования в прошлом, но им требуется такая картина прошлого, которая служит объяснению или оправданию настоящего, часто за счет исторической достоверности. Механизм социальной памяти наиболее четко проявляется в тех обществах, где невозможно апеллировать к документальным материалам как средству уточнения событий или высшему авторитету. Ряд классических примеров этому связан с историей доколониальной Африки<sup>2</sup>. В обществах, обладающих письменностью, то же самое происходило в основном с неграмотными социальными слоями, не входившими в состав элиты, например с крестьянством средневековой Европы. То, что у них считалось историческими знаниями, передавалось из поколения в поколение в виде повествования, зачастую связанного с конкретным местом и конкретными церемониями и ритуалами. Эти знания служили руководством для поведения и набором символов, под знаменем которых можно было организовать сопротивление нежелательному вторжению. До недавнего времени в народной памяти в основном неграмотной Сицилии и восстание в Палермо 1282 г. против анжуйцев («сицилийская вечерня») и *мафия* XIX в. были эпизодами национального предания о «братстве мстителей»<sup>3</sup>.

Но было бы ошибкой предполагать, что социальная память характерна лишь для небольших, не обладающих грамотностью обществ. Ведь сам термин указывает на универсальную потребность; если отдельный человек не может существовать без памяти, то не может и общество, и это в равной мере относится и к большим технически передовым обществам. Любое общество черпает в своей коллективной

---

<sup>1</sup> Ricton Norton, *Mothers Clap's Molly House: the Gay Subculture in England, 1700-1830*, Gay Men's Press, 1992.

<sup>2</sup> Jan Vansina, *Oral Traditions as History*, James Currey, 1985.

<sup>3</sup> James Fentress and Chris Wickham, *Social Memory*, Blackwell, 1992, Ch.5.

памяти утешение и вдохновение, и общества, обладающие грамотностью, в этом смысле ничем особенным не отличаются от других. Практически всеобщая грамотность и высокий уровень мобильности населения означают, что устная передача социальной памяти в настоящее время имеет гораздо меньшее значение. Но письменные рассказы (такие, как школьные учебники по истории или популярные работы о мировых войнах), кино и телевидение выполняют ту же функцию. Социальная память по-прежнему остается важнейшим инструментом поддержания политически активной идентичности. Ее успех определяется тем, насколько эффективно она способствует сплочению коллектива и насколько широко она разделяется членами группы. Иногда социальная память основана на консенсусе и максимально широком охвате, и эту функцию часто выполняют нарративы общенационального значения. Она может принимать форму мифа об основании общества, вроде истории о дальновидных отцах-основателях Соединенных Штатов, память о которых постоянно используется и сегодня для поддержания веры в американскую нацию. И наоборот, объединяющая память может фокусироваться на героическом эпизоде вроде эвакуации из Дюнкерка в 1940 г., которую британцы вспоминают как блестящую операцию, заложившую основу победы.

Однако социальная память может служить и поддержанию ощущения угнетенности, исключительности или враждебности, и именно с этими элементами связаны ее некоторые наиболее мощные проявления. Общественные движения, впервые вступающие на политическую арену, особенно остро осознают явную потребность в собственном прошлом. История чернокожих в Соединенных Штатах берет начало от своеобразной стратегической задачи, обозначенной одним из известных авторов в 1960-х гг. Одна из причин, почему черные подвергаются угнетению, писал он, состоит в том, что белая Америка «отсекла» их от их прошлого;

«Если мы не отправимся в прошлое и не выясним, как мы дошли до такого состояния, то будем думать, что всегда были в этом состоянии. И если вы думаете, что всегда были в том же положении, что и сейчас, то никогда не сможете быть по-настоящему уверены в себе и превратитесь в ничтожество, почти в ничто»<sup>1</sup>.

Целью британской истории рабочего класса во многом являлось оттачивание социального сознания рабочих, подкрепленное готовностью к политическим действиям, убеждение в том, что история «на их стороне», если только они будут верны заветам своих героических предшественников. Историческая реконструкция опыта рабочих была, по выражению передовицы первого номера «Исторической

---

<sup>1</sup> Malcolm X., *On Afro-American History*, 3rd edn, Pathfinder, 1990, p.12.

мастерской», «источником вдохновения и понимания»<sup>1</sup>. Воспоминания рабочих о труде, жилище, семье и политике – со всей отраженной в них гордостью и яростью – удалось сохранить до того, как официальная версия вытеснила их из народного сознания.

Женское движение последних двадцати лет не меньше, если не больше, осознавало необходимость создания истории, способной послужить его целям. Исследования о роли выдающихся женщин вроде Елизаветы I, успешно действовавших в рамках «мужского мира», не могли удовлетворить эту потребность в глазах феминисток; для них главное состоит в экономической и сексуальной эксплуатации, выпавшей на долю большинства женщин, и попытках активисток женского движения изменить ситуацию к лучшему. Согласно этому подходу, определяющей детерминантой истории женщин является не национальная или классовая принадлежность, а патриархат: т.е. власть отца над детьми и, соответственно, мужа над женой. А раз традиционная историография замалчивает эту истину, значит, она дает лишь неполное, зашоренное описание истории половины человечества. Существуют темы, которые, цитируя название популярного феминистского труда, были «спрятаны от истории»<sup>2</sup>. Как пишет американская исследовательница-феминистка:

«Неудивительно, что большинство женщин считают, что их пол не обладает интересной или значительной историей. Однако, как и меньшинства, женщины обязаны обладать коллективным самосознанием, которое неизменно связано с осознанием общего прошлого. При его отсутствии социальная группа страдает своего рода коллективной амнезией и легко становится жертвой навязываемых сомнительных стереотипов, а также ограниченности и предрассудков в том, что «полагается» или «не полагается» делать»<sup>3</sup>.

Для социально обделенных или «невидимых» групп – представляют ли они большинство населения, как рабочие или женщины, или меньшинство вроде негров в Америке и Британии – эффективная политическая мобилизация зависит от осознания общности исторического опыта.

## II

Но наряду с этими социально мотивированными взглядами на прошлое возникла и другая форма исторического сознания с совершенно иными отправными точками. В то время как социальная память продолжала создавать интерпретации, удовлетворяющие новые

---

<sup>1</sup> *History Workshop Journal*, I, 1976, p.2 (editorial).

<sup>2</sup> Sheila Rowbotham, *Hidden from History*, Pluto Press, 1973.

<sup>3</sup> Sheila R. Johansson, “‘Herstory’ as history: a new field or another fad?”, in Berenice A. Carroll (ed.) *Liberating Women’s History*, Illinois University Press, 1976, p.427.

формы политических и социальных потребностей, в исторической науке существовал подход, состоявший в том, что прошлое ценно само по себе и ученому следует, насколько это возможно, быть выше соображений политической целесообразности. Лишь в XIX в. историческое сознание в этом, более строгом виде, стало определяющей чертой профессиональных историков. У приверженцев этого подхода были именитые предшественники в античном и исламском мире, в династическом Китае, да и на Западе начиная с эпохи Возрождения. Но только в первой половине XIX в. все элементы исторического сознания были собраны воедино и воплощены в научной практике, которая стала общепринятым «правильным» методом изучения прошлого. Это было заслугой интеллектуального течения под названием *историзм* (от немецкого Historismus), возникшего в Германии и вскоре распространившегося по всему западному миру.

Фундаментальной предпосылкой историзма является уважение к независимости прошлого. Сторонники историзма считают, что каждая эпоха представляет собой уникальное проявление человеческого духа с присущими ей культурой и ценностями. Если наш современник хочет понять другую эпоху, он должен осознать, что за прошедшее время условия жизни и менталитет людей – а может быть, и сама человеческая природа – существенно изменились. Историк не страж вечных ценностей; он должен стремиться понять каждую эпоху в ее собственных категориях, воспринять ее собственные ценности и приоритеты, а не навязывать ей наши. Однако историзм – это не просто призыв: «Любители старины – объединяйтесь!». Его сторонники утверждали, что культура и институты их собственной эпохи могут быть поняты лишь в исторической перспективе. Одним словом, история – это ключ к пониманию мира.

Историзм был одним из аспектов романтизма, движения, господствовавшего в европейской мысли и искусстве в самом начале XIX в. Наиболее влиятельный литератор-романтик, сэр Вальтер Скотт, стремился погрузить читателей своих исторических романов в подлинную атмосферу прошлого. Интерес широкой публики к уцелевшим предметам старины неимоверно возрос, причем он распространился не только на античный мир, но и на доселе презируемое средневековье. Историзм представлял собой научное выражение «помешательства» романтизма на прошлом. Главной фигурой этого течения был Леопольд фон Ранке, профессор Берлинского университета с 1824 по 1872 г. и автор 60-ти томов научных работ.

В предисловии к своей первой книге он писал:

«История возложила на себя задачу судить о прошлом, давать уроки настоящему на благо грядущих веков. На эти высокие пели данная работа не

претендует. Ее задача – лишь показать как все происходило на самом деле (wie es eigentlich gewesen)»<sup>1</sup>.

Ранке имел в виду не только стремление воссоздать ход событий, хотя и это, несомненно, входило в его намерения<sup>2</sup>. Новым в подходе сторонников историзма было понимание ими необходимости реконструировать также атмосферу и менталитет прошлого – без этого простое описание событий теряет всякий смысл. Главной задачей историка стало выяснение, почему люди прошлого поступали так, а не иначе, поставив себя на их место, глядя на мир их глазами и по возможности оценивая его по их стандартам. Томас Карлейль верил в воссоздание истории больше, чем любой другой автор XIX в.: какова бы ни была цель исторического труда, «первым неперенным условием», заявлял он, было «*видеть* происходящее, изобразить его во всей полноте, как будто оно стоит у нас перед глазами»<sup>3</sup>. И это условие распространялось на *все* периоды прошлого, какими бы чуждыми они ни казались современному наблюдателю. Сам Ранке стремился достичь этого идеала историзма в отношении религиозных войн XVI-XVII вв. Другие в том же духе изучали средневековье.

Часто цитируемые слова из предисловия Ранке представляют интерес и как отрицание актуальности истории. Ранке не утверждал, что исторические исследования не имеют другого применения, кроме чисто научных задач; наоборот, он был, вероятно, последним из крупных историков, кто верил, что труды, подобные его собственным, позволят выявить промысел Божий. Но он не искал в прошлом практических уроков. Более того, Ранке считал, что отстраненность от забот сегодняшнего дня является неперенным условием для понимания прошлого. Его претензии к предшественникам-историкам заключались не в отсутствии у них любознательности или сопереживания, а в том, что они отвлекались от настоящих задач стремлением поучать, дать урок государственной мудрости, или укрепить репутацию правящей династии; преследуя сиюминутные цели, они упускали из вида подлинную мудрость, которую можно почерпнуть, изучая историю. В следующей главе я более полно рассмотрю вопрос о том, всегда ли актуальность несовместима с историческим сознанием. Но в первой половине XIX в., когда Европа пережила крупные потрясения в результате

---

<sup>1</sup> L. von Ranke, *Histories of the Latin and German Nations from 1494 to 1514*, цитируемый отрывок переведен в: G.P.Gooch. *History and Historians in the Nineteenth Century*, 2nd edn, Longman, 1952, p.74.

<sup>2</sup> К сожалению, именно такое впечатление создает наиболее часто цитируемый перевод «что случилось на самом деле»; см.: Fritz Stern (ed.), *The Varieties of History*, 2nd edn, Macmillan, 1970, p.57.

<sup>3</sup> Томас Карлейль, цит. по: J.R.Hale (ed.)? *The Evolution of British Historiography*, Macmillan, 1967, p.42.

Французской революции, историческая наука была сильно политизирована, и без превращения отстраненности в высшую добродетель утверждение научного подхода в практике историков вряд ли было бы возможно. Хотя сегодня мало кто читает Ранке, его имя продолжает оставаться символом олимпийской беспристрастности и первостепенного долга ученого – не исказить прошлое.

Историческое сознание, в том смысле как его понимают сторонники историзма, основывается на трех принципах. Первый и наиболее фундаментальный из них – это *различие*; то есть признание, что нашу эпоху и все предыдущие разделяет пропасть. Поскольку ничто в истории не стоит на месте, время существенно изменило наш образ жизни. Ответственность историка в первую очередь состоит в учете различия между прошлым и настоящим; и соответственно, одним из величайших его прегрешений является бездумная убежденность в том, что люди прошлого вели себя и мыслили так же, как мы. Эти различия частично относятся к материальным условиям жизни, о чем нам порой столь ярко напоминают уцелевшие объекты прошлого – здания, орудия труда и одежда. Не столь очевидны, но еще более важны различия в менталитете: у предыдущих поколений были другие ценности, приоритеты, страхи и надежды. Мы можем воспринимать красоты природы как должное, но в средние века люди боялись лесов и гор и старались как можно реже сворачивать с проторенных троп. В английских деревнях конца XVIII в. развод и повторный брак иногда осуществлялись путем публичной продажи жен; хотя это частично являлось реакцией на практическую невозможность законного развода для бедняков, современный читатель, вероятнее всего, подумает о крайнем проявлении патриархальных ценностей в таком унижении жены, которую муж на веревке ведет на рынок<sup>1</sup>. В тот же период публичные казни в Лондоне неизменно привлекали по 30 тысяч и даже более зрителей, как богачей, так и бедняков, и большинство из них обычно составляли женщины. Мотивы у всех были разные: кто-то хотел увидеть, как вершится правосудие, кто-то – извлечь урок из того, насколько мужественно держится осужденный или выразить свое возмущение его смертью; но всех этих людей отличала готовность наблюдать за актом хладнокровной жестокости, который у большинства наших современников вызвал бы лишь ужас и отвращение<sup>2</sup>. Более поздние периоды, возможно, не покажутся нам столь чуждыми, но и здесь следует ожидать множества различий. Даже в середине викторианского периода в Англии вдумчивый и образованный человек мог описывать бедняков

---

<sup>1</sup> E.P.Thompson, *Customs in Common*, Penguin, 1993, Ch.7.

<sup>2</sup> V.A.C.Gatrell, *The Hanging Tree: Execution and the English People, 1770-1868*, Oxford University Press, 1994.



Восточного Лондона как «шевелиющуюся массу червей на куске падали»<sup>1</sup>. Историческое сопереживание, которого так не хватало в последние годы в школьном образовании, часто трактуют как признание человеческой общности между нами и нашими предками. Но более реалистическая (и строгая) трактовка сопереживания основана на необходимости напрячь воображение, чтобы проникнуть в менталитет людей прошлого, с которым наш собственный опыт утратил всякую связь. Как заметил романист Л.П.Хартли, «Прошлое – это другая страна»<sup>2</sup>. Конечно, как и чужие страны, прошлое не бывает полностью незнакомым. Помимо шока отворачивания историки испытывают и шок узнавания, видя, например, естественную непринужденность в поведении родителей по отношению к детям в Англии XVII в., или обнаруживая наличие культуры потребления в Лондоне XVIII в. Недаром говорится, что «всякая история – это переговоры между известным и неизвестным»<sup>3</sup>. Но в любом научном исследовании на первый план выступают именно отличия прошлого от настоящего, ведь время превратило общепринятые вещи в экзотику.

Уже само выявление этих различий способно существенно изменить наши сегодняшние представления. Но историкам этого явно недостаточно. Их цель не просто раскрыть подобные различия, но и объяснить их, а значит, погрузить их в историческую обстановку. То, что нам кажется странным или неприятным, становится вполне объяснимым, хотя, возможно, вызывает не меньший шок, как характерная черта конкретного общества. Если мы в ужасе отворачиваемся от устрашающих деталей, сопровождавших обвинения против ведьм в Европе раннего нового времени, мы, несомненно, признаем, что нас от той эпохи отделяет пропасть, но тем самым мы делаем лишь первый шаг. Сейчас мы понимаем этот феномен гораздо лучше, чем тридцать лет назад, потому что историки соотнесли его с тогдашними представлениями о человеческом теле, со структурой народных религиозных верований за пределами церкви и неравноправным положением женщин<sup>4</sup>. Таким образом, вторым компонентом исторического сознания является *контекст*. Предмет исследования нельзя вырывать из окружающей обстановки – таков основополагающий принцип работы историка. Точно так же, как нельзя судить о важности археологической находки, не зафиксировав ее точное положение на месте раскопок; любые наши знания о прошлом следует помещать

---

<sup>1</sup> Цит. по: Gareth Stedman Jones, *Outcast London*, Penguin, 1976, p.258.

<sup>2</sup> L.P.Hartley. *The Go-Between*, Penguin, 1958, p.7.

<sup>3</sup> Simon Schama, “Clio at the Multiplex”, *The New-Yorker*, 19 Jan. 1998, p.40.

<sup>4</sup> См., например: James Sharpe, *Instrument of Darkness: Witchcraft in England, 1550-1750*, Hamish Hamilton, 1996, Jonathan Barry. Marianne Helster and Garet Roberts (eds), *Witchcraft in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, 1996.

в современный им контекст. Это жесткий стандарт, требующий обширных знаний. Часто именно этим профессиональный историк и отличается от любителя. Энтузиаст, работающий над семейной историей в местном архиве, способен, при минимальной технической помощи, проследить последовательность рождений, браков и смертей на протяжении многих поколений; трудности у любителя возникают не из-за фактических пробелов, а из-за недостаточного понимания соответствующей экономической или социальной обстановки. Для профессионального специалиста по социальной истории семейная история – это не столько генеалогия или даже установление среднего размера семьи в разные периоды; это, прежде всего, место семьи в меняющемся контексте домашнего производства, здравоохранения, религии, образования и государственной политики<sup>1</sup>. Все профессиональные навыки историка заставляют его протестовать против изображения прошлого в виде фиксированной однолинейной последовательности событий; необходимо постоянное внимание к контексту.

Но история – это не просто коллекция моментальных снимков прошлого, даже самых ярких и контекстуально богатых. Третий фундаментальный аспект исторического сознания – это понимание истории как *процесса*, связи между событиями во времени, что придает им больший смысл, чем их рассмотрение в изоляции. Так, историков по-прежнему интересует применение силы пара в хлопкопрядильном производстве и конце XVIII в., но не столько в качестве яркого примера технического и предпринимательского гения, а в связи с огромной ролью этого события в промышленной революции. Конкретные завоевания и ходе «борьбы за Африку» привлекают внимание как проявления широкомасштабной империалистической политики европейских держав, и так далее. Помимо интереса к событиям как таковым, в основе нашего любопытства к этим проявлениям исторического процесса лежит более общий вопрос – как мы попали из «тогда» в «теперь». Исследования по более узкой проблематике являются частями этого «большого рассказа». Возможно, «их» от «нас» отделяет пропасть, но она на самом деле возникает за счет процессов роста, упадка и перемен, и задачей историка является их раскрытие. Так, если мы сейчас лучше понимаем феномен колдовства в XVI-XVII вв., то немедленно возникает вопрос, каким образом эта форма верований пришла в упадок и приобрела дурную славу до такой степени, что в нынешнем западном обществе среди ее приверженцев остались

---

<sup>1</sup> См., например: John Gillis, *For Worse: British Marriages, 1600 to the Present*, Oxford University Press, 1985.

лишь единицы, стесняющиеся собственных взглядов. Исторические процессы порой отмечаются быстрыми переменами, когда сам ход истории ускоряется, например, в период великих революций. Но есть и другая крайность: история как бы останавливается и ее течение способен уловить лишь ретроспективный взгляд с высоты прошедших столетий, как это происходит с системами землепользования и родства во многих доиндустриальных обществах<sup>1</sup>. Если историческое сознание основано на понятии континуума, то эта основа имеет обоюдоострый характер: прошлое не сохранилось в неизменности, но и наш мир является продуктом истории. Любой аспект нашей культуры, поведения и верований является результатом процессов, происходивших в прошлом. Это относится не только к почтенным институтам вроде христианских конфессий или британской монархии, которые, очевидно, возникли в ходе многовековой эволюции, но и к самой обычной повседневной жизни (брак, вопросы личной гигиены и т.д.), которая куда реже помещается в исторические рамки. Никакая человеческая деятельность не стоит на месте; всегда необходимо наличие исторической перспективы, раскрывающей динамику перемен во времени. Это одна из причин, почему курсы истории для студентов должны охватывать достаточно продолжительные временные периоды. Ныне в британских школах и университетах основной упор делается на работу с документами и узкую специализацию, и поэтому основные исторические тенденции отступают на задний план.

### III

Таким образом, историческое сознание в его понимании приверженцами историзма означает признание независимости прошлого и попытку реконструировать его во всей «особости», а лишь затем применять сделанные открытия к современности. Результатом этой программы стало углубление различий между элитарным и народным взглядом на прошлое, существующих и по сей день. Профессиональные историки настаивают на необходимости длительного погружения в первоисточники, намеренного отказа от сегодняшних представлений и чрезвычайно высокого уровня сопереживания и воображения. С другой стороны, популярное историческое знание характеризуется крайне избирательным интересом к дошедшим до нас элементам

---

<sup>1</sup> Fernand Braudel, "History and the social sciences: *la longue durée*", в его труде *On History*, Weidenfeld & Nicolson, 1980, pp.25-52.

прошлого, отфильтровано сегодняшними представлениями и лишь попутно – стремлением понять прошлое «изнутри». Три характерные черты социальной памяти обладают особенно серьезным искажающим эффектом.

Это, во-первых, уважение к *традициям*. Во многих областях деятельности – от судопроизводства до политических союзов, от церкви до спортивных клубов – взгляды и поведение определяются влиянием прецедентов: то, что совершалось в прошлом, считается авторитетным руководством к действиям в настоящем. Уважение к традициям порой путают с «ощущением истории», поскольку оно предусматривает привязанность к прошлому (или его части) и стремлением хранить ему верность. Но при обращении к традициям исторический подход присутствует лишь в малой степени. Следование по пути, намеченному предками, играет весьма положительную роль в обществах, не переживающих период перемен и не ожидающих ничего подобного; для них прошлое почти не отличается от настоящего. Поэтому уважение к традициям вносило столь большой вклад в сплочение общества, когда дело касалось немногочисленных, не обладающих грамотностью народностей. Неслучайно антропологи порой определяют их как «традиционные общества». Но подобных условий больше не существует. В любом обществе, отличающемся динамичными социально-культурными изменениями, проявляющимися во внешней торговле или социальной иерархии политических институтов, некритическое уважение к традициям становится контрпродуктивным. Оно замалчивает исторические перемены, происходившие в переходный период; более того, оно однозначно не поощряет любое внимание к этим переменам и ведет к продлению существования отживших или «отошедших в историю» внешних форм. Одной из причин знаменитой стабильности парламентской системы в Британии является то, что сам парламент обладает престижем 700-летней истории в качестве «матери всех парламентов». Это существенно укрепляет его легитимность; часто можно услышать, что парламент прошел проверку временем, что он всегда служил гарантом конституционных свобод и т.д. Но результатом этого является и нежелание честно задать себе вопрос: насколько эффективно работает парламент? Способность палаты общин к «сдерживанию» исполнительной власти после второй мировой войны резко снизилась, но до сих пор гигантский, основанный на традиции престиж парламента блокирует все требования по его реформированию. Авторитет традиций настолько высок, что в разные периоды правящие группы специально выдумывали их для укрепления собственного престижа. Практически весь традиционный церемониал, связанный

с королевской семьей, был введен в годы правления королевы Виктории, но само понятие «традиции» отрицает точные исторические координаты явления<sup>1</sup>. В современных обществах традиции, возможно, обладают сентиментальной привлекательностью, но их трактовка в качестве «учебника жизни» зачастую приводит к плачевным результатам.

Особенно пагубны последствия уважения к традициям, когда речь идет о национализме. Нации, несомненно, являются продуктом истории, и понятие определенной нации, как правило, имело разное значение в различные периоды. К сожалению, историки не всегда должным образом учитывали эту истину. При всей своей приверженности принципам научности, сторонники историзма в XIX в. редко могли устоять перед искушением создать одностороннюю «историю нации», а многие даже и не пытались. Европа в то время была ареной жесткого соперничества национальных идентичностей; народы, лишённые единой государственности, – от немцев и итальянцев до венгров и поляков – требовали пересмотра существующих границ. Притязания этих «разделенных» народов на единую государственность частично основывались на общности языка и культуры, но они требовали и исторического обоснования – возрожденных воспоминаний о славном прошлом или списка старинных обид, требующих отмщения – одним словом, традиций, способных поддержать дух нации в настоящем и произвести впечатление на другие европейские державы. Историков, как и всех остальных, увлекла волна национализма, и многие из них не видели никакого противоречия между профессиональными требованиями и работой над «своекорыстной» национальной историей.

Франтишек Палацкий одновременно являлся историком и чешским националистом. Он совместил эти две всепоглощающие страсти в серии трудов, изображавших чехов как свободолюбивый народ, приверженный демократии незnamо с каких времен; после смерти Палацкого в 1876 г. его оплакивали как отца чешской нации<sup>2</sup>. Такого рода апологетическая история регулярно используется в мемориальных ритуалах, когда национальный образ требует закрепления в умах народа. Сербы каждый год отмечают годовщину своего, ставшего легендарным, поражения от турок в битве на Косовом Поле в 1389 г., подтверждая тем самым свою идентичность как храброй нации, страдающей от козней могущественных врагов; они

---

<sup>1</sup> E.J.Hobsbawm and T.O.Ranger (eds), *The Invention of Tradition*, Cambridge University Press, 1982.

<sup>2</sup> Richard G. Plaschka, “The political significance of Frantisek Palacký”, *Journal of Contemporary History*, VIII, 1973, pp.35-55.

продолжали это делать и в период кризиса в бывшей Югославии<sup>1</sup>. В подобных случаях грубая реальность истории не имеет значения. Национальность, раса и культура сводятся в единую константу. Примеры подобного рода можно найти по всему современному миру – от германского нацизма до идеологии сепаратизма в отношении негров в Соединенных Штатах. Такие обращения к «основам», существующим «с незапамятных времен», порождают мощное ощущение национальной исключительности, но не имеют никакого отношения к исторической науке. Дело не только в замалчивании любых явлений прошлого, противоречащих искомому образу; концепция неизменной идентичности, неподвластной историческим обстоятельствам, отрицает само наличие промежутка между «тогда» и «теперь».

Процесс создания традиций особенно четко проявляется в государствах, недавно завоевавших независимость, где сильна потребность в «легитимном» прошлом, а материала для создания национальной истории часто не хватает. В течение двух поколений после Войны за независимость американцы создали весьма лестный образ для самоотождествления: их предки, покоряя дикую природу вдали от прогнившего общества Старого Света, выработали собственные ценности – опору на собственные силы, честность и свободолюбие, которые теперь стали наследием всех американцев. С этим связана неизменная популярность фольклорных героев вроде Дэниэла Буна. Уже совсем недавно многие африканские государства столкнулись с проблемой: их границы являются результатом искусственного раздела континента европейцами в конце XIX в. В некоторых случаях эти страны, как, например, Мали и Зимбабве, могли сослаться на то, что ведут свое происхождение от ранее существовавших государств с тем же названием. Гана позаимствовала имя у средневековой торговой империи, в состав которой ее нынешняя территория никогда не входила. По всему континенту политические лидеры начали возрождать «вечные» ценности доколониального прошлого {вроде идеи *ujamaa* или братства, сформулированной Джулиусом Ньерерой) в качестве своего рода «хартии идентичности». Вероятно, без таких поисков легитимности в прошлом формирование национальной идентичности просто невозможно.

Но к «неизменному» прошлому обращаются не только недавно возникшие или угнетенные нации. В Британии XIX в. существовало относительно прочное чувство национальной идентичности, и, тем не менее, в работах историков того времени наряду с идеями перемен

---

<sup>1</sup> Noel Malcolm, *Kosovo: a Short History*, Macmillan, 1998.

можно найти и ссылки на неизменность национальной сущности. Уильям Стаббс, которого обычно считают первым английским профессиональным историком, полагал, что причины развития английской конституции в период средневековья лежат «глубоко в самой натуре [английского] народа»; в таком прочтении парламентская система – это проявление национальной гениальности свободолюбивых британцев<sup>1</sup>. «Вечные» категории легко срываются с языка политиков, особенно в кризисные периоды. В годы второй мировой войны Уинстон Черчилль обращался к традиции упорного сопротивления англичан иностранной агрессии, берущей свое начало во времена Елизаветы I и Питта Младшего. Либеральные наблюдатели были неприятно удивлены, услышав подобную риторику во время войны на Фолклендских островах в 1982 г. Размышляя об уроках конфликта. Маргарет Тэтчер заявила:

«Наше поколение не уступает отцам и дедам ни в талантах, ни в мужестве, ни в решимости. Мы не изменились. Когда война и опасность, грозящая нашим гражданам, заставляют взяться за оружие, мы, британцы, как всегда действуем эффективно, смело и решительно»<sup>2</sup>.

Национализм такого рода основан на приверженности традициям, а не на историческом анализе. Он замалчивает различия и перемены ради укрепления национальной идентичности.

#### IV

Традиционализм – это грубейшее искажение исторического сознания, поскольку он исключает важнейшее понятие развития во времени. Другие формы искажения носят более завуалированный характер. Одна из них и весьма влиятельная – это *ностальгия*. Как и традиции, она обращена назад, но, не отрицая факта исторических перемен, толкует их лишь в одном направлении – перемен к худшему. Пожалуй, наиболее известной формой ностальгии является возрастная – пожилые люди часто жалуются, что современная молодежь отбилась от рук или что страна «катится к черту», и такое недовольство нашло отражение даже в очень древних документах<sup>3</sup>. Но ностальгия проявляется и в более широком контексте, с особой

---

<sup>1</sup> Цит. по: Christopher Parker, *The English Historical Tradition since 1850*, Donald, 1990, pp.42-43.

<sup>2</sup> Речь М. Тэтчер в Челтенхеме 3 июля 1982 г. Цит по: Anthony Barnett, *Iron Britannia*, Allison & Busby, 1982.

<sup>3</sup> Geoffrey Pearson, *Hooligan: a History of Respectable Fears*, Macmillan, 1983.

силой в качестве реакции на чувство недавней утраты и потому чрезвычайно характерна для обществ, переживающих быстрые перемены. Надежды и оптимизм – не единственная, а порой и не главная, социальная реакция на прогресс. Практически всегда возникает также беспокойство или сожаление по уходящему образу жизни и привычным ориентирам. Тоскливый взгляд в прошлое дает утешение, является духовным бегством от жестокой реальности. Когда прошлое словно исчезает у нас на глазах, мы стремимся воссоздать его в своем воображении. Это ощущение было одной из движущих сил романтического течения, да и в самом историзме присутствовал порой чрезмерный ностальгический импульс – реакция ученых на всеохватывающую индустриализацию и урбанизацию. Неслучайно средневековье, с его тесно сплоченными общинами и медленным темпом изменений, вошло в моду именно тогда, когда набирающие скорость перемены в экономике расширяли масштаб общественной жизни. Начиная с промышленной революции, ностальгия оставалась одним из эмоциональных рефлексов общества, переживающего большие перемены. Одним из наиболее распространенных проявлений ностальгии в сегодняшней Британии является понятие «наследия». Когда прошлое консервируется или разыгрывается вновь для нашего развлечения, его, как правило (хотя и не всегда), изображают в наиболее привлекательном свете. Блеск прошлого, представленный средневековыми турнирами или елизаветинскими банкетам, естественным образом подходит для красивого спектакля; но и повседневная жизнь – вроде изнурительного монотонного труда на раннеиндустриальной мануфактуре или на викторианской кухне – тоже приукрашивается так, чтобы могла радовать глаз. Чувство утраты является частью впечатлений от посещения исторических памятников, ассоциирующихся с «наследием». Проблема с ностальгией заключается в том, что это крайне односторонний взгляд на историю. Чтобы превратить прошлое в комфортабельное убежище, все его негативные черты следует удалить. Прошлое становится проще и лучше, чем настоящее. Так, медиевистика XIX в. почти не обращала внимание на кратковременность и убожество жизни средневекового человека или мощь зловещего мира духов. Сегодняшняя ностальгия отличается такой же близорукостью. Даже инсценировка налетов на Лондон 1940 г. вызовет не только ужас перед последствиями воздушных бомбардировок, но и в равной мере сожаление об утраченном «духе военных лет». Сторонники семейных ценностей, считающих, что «золотой век» следует искать в прошлом (до 1939 или 1914 г., кому что больше нравится), забывают о большом количестве браков без любви, существовавших до облегчения процедуры развода, или многочисленных



примерах распада семьи в связи со смертью одного из супругов или родителей. В таких случаях, по выражению Рафаэля Сэмюэла, прошлое играет роль не столько истории, сколько аллегории:

«Это свидетельство упадка манер и морали, зеркало наших недостатков, мера отсутствия... Через процесс избирательной амнезии прошлое превращается в исторический эквивалент мечты о первозданной чистоте или зачарованного пространства, ассоциируемого в памяти с детством»<sup>1</sup>.

Подобный взгляд – не только ненадежный путеводитель по прошлому, но и основа для пессимизма и косности в настоящем. Ностальгия представляет прошлое как альтернативу настоящему, а не как прелюдию к нему. Она побуждает нас тосковать о недоступном «золотом веке» вместо того, чтобы творчески преобразовывать мир вокруг нас. Если историческое сознание должно усиливать наше понимание настоящего, то ностальгия поощряет бегство от него.

## V

На другом конце шкалы искажений истории расположена вера в *прогресс*. Если ностальгия отражает пессимистический взгляд на мир, то прогресс – оптимистическое верование, подразумевающее не только позитивный характер перемен в прошлом, но и продолжение процесса совершенствования в будущем. Прогресс, как и исторический процесс – означает перемены во времени, но с одним принципиальным отличием – перемены наделяются положительным знаком и моральным содержанием. Концепция прогресса является основополагающей для трактовки понятия «передовой», поскольку в течение двухсот лет он был самым живучим мифом Запада, источником культурной самоуверенности и чувства собственного превосходства в его отношениях с остальным миром. В этом смысле концепция прогресса по сути была изобретена в XVIII в., в эпоху Просвещения. До этого считалось общепризнанным, что развитие человечества имеет некий предел, либо по промыслу Божественного провидения, либо потому, что достижения классической античности казались непревзойденными. Просветители XVIII в. верили в способность человеческого разума преобразовать мир. Вольтер, Юм и Адам Смит рассматривали историю как далеко не полный перечень материальных и моральных усовершенствований. Они стремились раскрыть ход истории, прослеживая развитие человеческого общества от первобытного варварства к утонченной цивилизации. Уверенность этих историков

---

<sup>1</sup> Raphael Samuel, *Island Stories: Unravelling Britain*, Verso, 1998, pp.337-338.

может сегодня показаться наивной и прожектерской, но в течение двухсот лет разновидности этой философской системы пронизывали все варианты прогрессивной мысли, включая как идеи либеральной демократии, так и марксизм. Еще в 1960-х гг. представители этих двух традиций – Дж.Х.Пламб и Э.Х.Карр – выступили с весьма популярными манифестами в защиту истории, основанными на страстной вере в прогресс<sup>1</sup>. Сегодня такая вера встречается гораздо реже, учитывая опасные последствия, вызванные изменениями в экономике, новейших технологиях и окружающей среде. Но мало кто из нас удовольствуется постоянным пребыванием в мире ностальгических сожалений; тоска по утраченному «золотому веку» в какой-то одной области часто уравнивается сознательным очернением «мрачного прошлого» в другой.

Такое отрицание прошлого указывает на ограниченность концепции прогресса как взгляда на историю. Если «процесс» – это нейтральный термин, лишенный ценностной составляющей, то понятие «прогресса» по определению носит оценочный и пристрастный характер; поскольку оно изначально основано на превосходстве настоящего над прошлым, то неизбежно берет на вооружение любые преобладающие в данный момент ценности. Поэтому прошлое кажется тем меньше достойным восхищения и «примитивным», чем больше оно отдалено от нас во времени. Результатом становится снисходительный подход и непонимание прошлого. Если оно существует исключительно для подтверждения достижений современности, то невозможно и восхищение его культурными богатствами. Сторонникам прогресса никогда не удавалось понять эпохи, удаленные от них во времени. Вольтер, к примеру, был совершенно не способен увидеть что-нибудь хорошее в средневековье; в его исторических трудах прослеживалось развитие рационализма и терпимости, а все остальное осуждалось. Таким образом, если историк заходит слишком далеко в стремлении продемонстрировать прогрессивность развития, он немедленно вступает в конфликт со своей профессиональной обязанностью воссоздавать прошлое изнутри. Фактически и сам историзм возник во многом как реакция на «осовремененное» принижение прошлого, характерное для столь многих авторов-просветителей. Ранке считал, что каждая эпоха находится «рядом с Богом», имея в виду, что к ней нельзя заранее подходить с современными мерками. А интерпретация истории в виде графика поступательного прогрессивного развития означает именно это.

---

<sup>1</sup> J.H.Plumb, *The Death of the Past*, Macmillan, 1969; E.H.Carr, *What a History?* Macmillan, 1961.

Традиции, ностальгия и прогресс являются базовыми составляющими социальной памяти. Каждая из них по-своему откликается на глубокую психологическую потребность в защищенности – они, казалось бы, обещают либо отсутствие перемен, либо перемены к лучшему, либо душевно более близкое прошлое в качестве убежища. Реальное возражение против них заключается в том, что в качестве всеобъемлющей концепции они требуют от прошлого соответствия подспудной и часто безответной потребности, ищут единственное окно в прошлое, а заканчивается это недооценкой всего остального.

## VI

Если социальные потребности так легко приводят к искаженному образу прошлого, неудивительно, что историки в целом стараются держаться от них подальше. Но на практике позиция профессионального историка в отношении социальной памяти не всегда последовательна. Так, Герберт Баттерфилд, получивший известность в 1930-х гг. своими нападка на «осовремененную» историю, в 1944 г. написал страстную работу об английских исторических традициях с явным намерением укрепить боевой дух нации<sup>1</sup>. Сегодня газеты часто публикуют статьи ведущих историков, поддавшихся искушению повлиять на народные представления о прошлом. Но в целом профессионалы предпочитают подчеркивать, что для научного исследования истории характерны совершенно иные цели и подходы. Если отправной точкой для большинства массовых разновидностей знаний о прошлом являются требования современности, то для историзма – это стремление проникнуть в прошлое или воссоздать его.

Из этого следует, что противостояние социально мотивированным ложным истолкованиям прошлого – одна из важнейших задач историка. В этой роли его уподобляли «хирургу-окулисту, специалисту по удалению катаракты»<sup>2</sup>. Но если пациенты радуются исправлению своего зрения, то общество может быть глубоко привязано к своему, пусть и неверному, взгляду на прошлое, и популярность историков отнюдь не возрастает от того, что они указывают на его неправильность. Многие их открытия навлекают обвинения в подрыве авторитетов, например, если историки ставят под сомнение эффективность деятельности Черчилля в качестве военного

---

<sup>1</sup> H.Butterfield, *The Englishman and his History*, Cambridge University Press, 1944.

<sup>2</sup> Theodore Zeldin, “After Braudel”, *The Listener*, 5 Nov. 1981, p.542.

лидера, или пытаются уйти от сектантского подхода к истории Северной Ирландии. Возможно, ни одна националистическая версия истории в мире не способна пройти проверку научным исследованием. Это же относится и к ангажированной истории, сопровождающей конфликт между левыми и правыми. Политически мотивированная история рабочего класса в Британии делала упор на политическом радикализме и борьбе против капитала. Но если «история рабочих» призвана обеспечить реалистичную историческую перспективу, пригодную для разработки политической стратегии, «рабочая» история не может позволить себе роскошь игнорировать столь же традиционное консервативное течение в рабочем классе, активно проявляющееся и сегодня. Когда Питер Берк сделал заявление на конференции историков-социалистов («хотя я считаю себя социалистом и историком, я не историк-социалист»), он имел в виду свое желание изучать историю в ее реальной сложности, а не сводить ее к чрезмерно драматизированной конфронтации между «Своими и Чужими»<sup>1</sup>. То же самое можно сказать и об искажениях, идущих «справа». В середине 1980-х гг. Маргарет Тэтчер пыталась сколотить политический капитал на эксплуатации несколько конъюнктурного образа Англии XIX в. Аплодируя «викторианским ценностям», она имела в виду, что неограниченный индивидуализм и снижение роли государства могут вернуть Британии величие. Она не упомянула лишь о том, что важнейшей предпосылкой викторианского «экономического чуда» стала глобальная стратегическая гегемония Британии, а также о его ужасающей социальной цене в виде нищеты и урона, нанесенного окружающей среде. Историки быстро показали, что нарисованная ей картина является нереалистичной, а повторение этого пути – нежелательным<sup>2</sup>.

Если такая разоблачительная деятельность, казалось бы, должна привести историков в лагерь, оппозиционный хранителям социальной памяти, то следует подчеркнуть, что различия между ними ни в коем случае не столь ярко выражены, как я изображал их выше. Существует точка зрения (обычно связываемая с постмодернизмом), что между историей и социальной памятью фактически нет никакой разницы. Согласно этому взгляду, стремление к воссозданию прошлого является иллюзией, а все исторические труды несут на себе несмываемый отпечаток современности – они на самом деле больше говорят нам о настоящем, чем о прошлом. В гл. 7 мы рассмотрим

---

<sup>1</sup> Peter Burke, “People’s history or total history” в кн.: Raphael Samuel (ed.) *People’s History and Socialist Theory*, Routledge & Kegan Paul, 1981, p.8.

<sup>2</sup> Eric M. Sigsworth (ed.), *In Search of Victorian Values*, Manchester University Press, 1988, T.C.Smout (ed.), *Victorian Values*, British Academy, 1992.

достоинства и недостатки этой радикально-подрывной позиции. Здесь же достаточно указать, что низведение истории до уровня социальной памяти популярно у особой категории скептиков-теоретиков, но почти не получает поддержки у историков. Однако у истории и социальной памяти есть и немало точек пересечения. Было бы неверным предполагать, что точность исследования является исключительной привилегией профессиональных историков. Как указал Рафаэль Сэмюэл, в Британии существует целая армия любителей (исследующих все что угодно – от семейной генеалогии до паровых локомотивов), которые, как никто другой, обожают точность<sup>1</sup>. Профессиональные историки могут дистанцироваться от искажений, присущих социальной памяти, но многие из общепризнанных сегодня научных специализаций обязаны своим происхождением политическим потребностям: достаточно вспомнить об истории рабочих, истории женщин, истории Африки. Историю и социальную память не всегда можно полностью отделить друг от друга, поскольку историки выполняют некоторые задачи социальной памяти. И самое важное, социальная память сама по себе является важной темой для исторического исследования. Она играет центральную роль в народном сознании во всех его формах, от демократической политики до общественных нравов и культурных предпочтений, и претендующая на полный охват социальная история не имеет право ее игнорировать; устная история частично представляет собой попытку учесть и такой аспект (гл. 11). Во всех этих отношениях история и социальная память подпитывают друг друга.

Но при всех этих точках соприкосновения различие, которые делают историки между своей профессией и социальной памятью, не теряет своей важности. Служит ли социальная память тоталитарному режиму или интересам различных групп демократического общества, ее ценность и перспективы выживания полностью зависят от ее функциональной эффективности: содержание этой памяти меняется в соответствии с контекстом и приоритетами. Историческая наука, конечно, тоже не обладает иммунитетом от соображений практической полезности. Частично это связано с тем, что мы яснее, чем Ранке, понимаем: историк не может полностью отстраниться от своего времени. Частично же, как я попытаюсь доказать в следующей главе, историческая наука только обогащается, откликаясь на актуальные проблемы. В чем большинство историков действительно обычно расходятся с хранителями социальной памяти, так это в строгой

---

<sup>1</sup> Raphael Samuel, "Unofficial knowledge", в его работе: *Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture*, Verso, 1994, pp.3-39.

приверженности принципам историзма, описанным в данной главе, – историческое сознание должно превалировать над социальной потребностью. Достоинства этого принципа очевидны. Но его необходимо поддерживать, если мы хотим сохранить надежду чему-нибудь научиться у истории, а не искать в ней зеркального отражения наших сиюминутных интересов. К этой возможности мы сейчас и обратимся.

## Глава 2

### Для чего нужна история

Ни одна из обсуждаемых в этой книге проблем не вызывает такого количества разнообразных ответов как вопрос: чему мы можем научиться у истории? Спектр этих ответов простирается от знаменитого афоризма Генри Форда «история – это чушь», до веры в то, что история – ключ к судьбам человечества. Тот факт, что и сами историки дают на него абсолютно различные ответы, позволяет предположить, что это – открытый вопрос, который нельзя свести к однозначному решению. Но каждый, кто предполагает провести несколько лет – а то и всю жизнь, – изучая историю, должен задуматься, какой цели она служит. Невозможно далеко продвинуться в понимании того, в чем состоит работа историка или оценить ее результат, не рассмотрев сначала логических обоснований изучения истории.

#### I

Впадая в одну крайность, можно предположить, что история скажет нам почти все, что необходимо знать о будущем. Великая траектория исторического развития – это и наши судьбы, сегодняшний мир в его подлинном виде и будущий ход событий. Осознание этого требует строго схематичной интерпретации развития человечества, обычно называемой *метаисторией*. До XVII в. в западной культуре господствовала ее религиозная версия. Средневековые мыслители считали, что история развивается в соответствии с Божественным

провидением: от дня творения к искупительной жертве Христа и далее вплоть до Страшного суда; изучение прошлого позволяет до некоторой степени понять промысел Божий и сосредоточиться на грядущей расплате за грехи. По мере постепенной секуляризации европейской культуры начиная с XVIII в. эта точка зрения уже не казалась столь очевидной. Появились новые формы метаистории, связывающие поступательный ход развития человечества с действиями людей, а не с Божьим промыслом. Именно к ним относилась идея эпохи Просвещения о моральном совершенствовании человечества. Однако самой влиятельной формой метаистории в новое время можно считать марксизм. Движущей силой истории стала борьба общества за удовлетворение своих материальных потребностей (именно поэтому марксистская теория называется «историческим материализмом»). Маркс трактовал историю человечества как движение от низших способов производства к высшим; в его время высшей формой был промышленный капитализм, но ему на смену неизбежно должен был прийти социалистический строй, и именно на этой стадии потребности людей будут удовлетворяться полностью и поровну (см. гл. 8). После краха международного коммунистического движения число сторонников исторического материализма резко сократилось, но метаисторическое мышление сохраняет свою популярность: некоторые теоретики свободного рынка переворачивают марксизм с ног на голову – для них 1990-е гг. стали воплощением триумфа либеральной демократии, «концом истории»<sup>1</sup>.

Другой крайностью является точка зрения, согласно которой у истории нельзя научиться *ничему*: дело здесь не в том, что мы не способны понять историю, а в том, что она не является руководством к действию. Подобное «отрицание» истории имеет две разновидности. Первая возникла как способ защиты от тоталитаризма. В годы холодной войны практические последствия использования прошлого для «узаконивания» коммунистической идеологии казались многим интеллектуалам настолько ужасными, что все утверждения о том, что история хранит ключ к современности, оказались полностью дискредитированы. Некоторым историкам сама идея о наличии какой либо схемы или смысла в истории казалась столь отвратительной, что они видели в ней лишь цепь случайностей, ошибки и стечение обстоятельств<sup>2</sup>.

Другой разновидностью «отрицания» истории является приверженность всему современному: если человека интересует только

---

<sup>1</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, Hamish Hamilton, 1992.

<sup>2</sup> A.J.P. Taylor, *War by Time-Table: How the First World War Began*, Macdonald, 1969, p.45; Richard Cobb, *A Second Identity*, Oxford University Press, 1969, p.47.



новизна, зачем оглядываться на прошлое? Впервые современность была приравнена к отрицанию прошлого в ходе Французской революции 1789-1793 гг. Революционеры казнили короля, отменили дворянские титулы, боролись с религией и объявили 22 сентября 1792 г. началом Первого года нового летоисчисления. Все это делалось во имя разума, свободного от оков прецедентов и традиций. В начале XX в. модернистское отрицание истории пережило новый подъем. *Авангардистская* мысль утверждала, что творческая деятельность несовместима с достижениями прошлого и не развивается на их основе; незнание истории высвобождает воображение. В межвоенный период эти идеи стали господствующим течением в искусстве, вставшем под знамя «модернизма». Итальянские фашисты и германские нацисты адаптировали модернистский лексикон к политической жизни. Их реакцией на катастрофу первой мировой войны и тревожную нестабильность мировой экономики стало признание полного разрыва с прошлым высшей добродетелью. Они клеймили «прогнившее» старое общество и призывали к сознательному построению «нового порядка» и сотворению «нового человека»<sup>1</sup>. Сегодня тоталитаризм в чистом виде полностью дискредитировал себя. Но «модернизм» частично сохранил свою привлекательность. Он оправдывает технократический подход к политике и обществу и определяет моду на все новое и искусстве.

Ни метаистория, ни полное отрицание истории не пользуются особой поддержкой у историков-практиков. Метаистория может придать ученому лестный ореол пророка, но лишь ценой отрицания или крайнего преуменьшения роли человеческого фактора в истории. Марксизм в последние пятьдесят лет оказывал огромное влияние на историческую науку, но именно как теория, определяющая социально-экономические перемены, а не судьбы человечества. В итоге выбор между свободой воли и детерминизмом относится к области философии. Существует масса промежуточных позиций. Большинство из них смещает равновесие в сторону свободы воли, поскольку детерминизм, по мнению историков, плохо совмещается со случайностями и «шероховатостями», которыми столь богат ход истории. Метаистория требует приверженности одной всеобъемлющей концепции в ущерб множеству более конкретных. Эта точка зрения, по сути, противоречит опыту исторических исследований.

Впрочем, историков ничуть не радует, и когда за их открытиями не признают никакого практического значения. «Отрицание» истории, несомненно, превращает ее изучение в некое хобби, сродни коллекционированию антиквариата. Фактически идея исторического

---

<sup>1</sup> George L. Mosse, *The Image of Man: the Creation of Modern Masculinity*, Oxford University Press, 1996, ch.8.

сознания в течение двухсот лет развивалась в постоянно диалектическом соперничестве с модернистским отрицанием истории. Даже историзм возник во многом как негативная реакция на Французскую революцию. Для консерваторов вроде Ранке политические эксцессы во Франции, были ужасающим свидетельством того, что происходит, когда радикалы поворачиваются к прошлому спиной; воплощение голых принципов без уважения к унаследованным из прошлого институтам несло в себе угрозу самим основам социального порядка. Но после того как революция «сбилась с пути», многие радикалы вновь обрели уважение к истории. Тем из них, кто сохранил веру и свободу и демократию, пришлось признать, что человечество не столь свободно от влияния прошлого, как это казалось революционерам, и прогрессивные перемены следует проводить на основе совокупных достижений предыдущих поколений.

Только мечтатель способен полностью одобрить метаисторический подход и все его последствия; только «антиквар» согласен отказаться от всех притязаний на практическую полезность. Наиболее убедительные концепции, связанные с практическим значением истории, располагаются между этими крайностями. И они предусматривают серьезное отношение к принципам исторического сознания, открытых основателями истории как науки в XIX в. Историзм превратился в синоним бесстрастного исторического исследования, лишённого практического применения, но это неточное истолкование. Сторонники историзма не отказывались полностью от притязаний на практическое значение своих работ, они просто настаивали на приоритете достоверного воспроизведения прошлого. На деле же три принципа – различие между прошлым и настоящим, соблюдение исторического контекста и восприятие истории как процесса, – которые мы рассмотрели в предыдущей главе, указывают на конкретные пути извлечения полезных знаний в ходе научного исследования истории. В результате вы получите не универсальный ключ или всеобъемлющую схему, но накопите конкретные практические данные, совместимые с историческим сознанием.

## II

Принцип *различия* между прошлым и настоящим занимает центральное место в утверждениях о социальном значении исторической науки. В качестве банка памяти о вещах незнакомых или чуждых история – это наш самый важный культурный ресурс. Она является способом, несовершенным, но незаменимым, позволяющим воспользоваться опытом, который мы просто не можем почерпнуть из

нашей собственной жизни. Наши представления о том, каких высот может достигнуть человек, как низко пасть, каким находчивым стать в кризисной ситуации и какую отзывчивость способен проявить, помогая другим, – все они подпитываются знанием о действиях и мыслях людей прошлого в самых различных контекстах.

Специалистам по истории искусства хорошо известна идея, что творческие достижения прошлого – это опись сокровищ, ценность которых может быть понята будущими поколениями; достаточно вспомнить, как в западном искусстве вновь и вновь возрождалась и отвергалась классическая греко-римская традиция. Но и в ряде других областей прошлое является источником творческой энергии. История напоминает нам, что существует не один, а много способов выхода из трудного положения, что поведение меняется в зависимости от ситуации и что предоставленные нам возможности выбора зачастую куда шире, чем мы можем предположить. Теодор Зелдин написал книгу – настоящее пиршество для собирателя фактов – «Интимная история человечества» (1994), затронув такие темы, как одиночество, приготовление еды, беседы и путешествия. Его целью было не выявление закономерностей, и уж тем более не прогнозирование или предложение образцов для подражания; он просто хотел раскрыть нам глаза и отдать в наше распоряжение весь спектр возможностей, предоставляемый опытом прошлого. Большинство историков, вероятно, найдет массу недостатков в отрывочном повествовании Зелдина, лишенном всякой топографической или хронологической целостности. Но его логика – не такое редкое явление. Натали Земон Дэвис, ведущий специалист по культурной истории Европы раннего нового времени, заметила: «Я позволяю [прошлому] говорить и показываю, что все могло происходить совсем не так, как происходит сегодня... Я хочу показать, что все могло происходить по-другому, что все происходило по-другому, что существуют альтернативы»<sup>1</sup>. По мере развертывания процесса исторических перемен старые аргументы или программы могут вновь приобрести актуальность. Эту проблему постоянно поднимал в своих работах ведущий специалист по истории Английской революции Кристофер Хилл:

«Поскольку капитализм, протестантская этика, Ньютонова физика, столь долго принимавшиеся нашей цивилизацией как аксиома, стали наконец объектами всеобъемлющей и широкомасштабной критики, стоит, пожалуй, «вернуться назад» и серьезно, свежим взглядом рассмотреть аргументы тех, кто противостоял этим идеям еще до того, как они завоевали всеобщую поддержку»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Интервью с Н. Земон Дэвис в кн.: Henry Abelove *et al* (eds.), *Visions of History*, Manchester University Press, 1984, pp.114-115.

<sup>2</sup> Christopher Hill, *Change and Continuity in Seventeenth-Century England*, Weidenfeld & Nicolson, 1974, p.284.

Задача состоит не в поиске прецедентов, но в учете разных возможностей. История – это перечень альтернатив, и он становится только богаче, если исследователь не оглядывается постоянно на текущие события.

Конечно, не все прошлое экзотично. На деле наша реакция на любой конкретный момент истории будет смесью непонимания и узнавания. Наряду с элементами, изменившимися до неузнаваемости, мы можем обнаружить и абсолютно доступный нам образ мысли и поведения. Сопоставление одного с другим является важным аспектом исторической перспективы, и именно здесь вдумчивый ученый зачастую вступает в область социальной значимости истории. Ярчайший пример тому – новаторские работы Питера Ласлетта об истории английской семьи. Начиная с 1960-х гг., с «Мира, который мы потеряли» (1965), он написал серию книг о природе английского общества раннего нового времени. Ласлетт особо подчеркивает два обобщающих вывода. Во-первых, оседлая «расширенная семья», которая, как мы уверены, существовала в до индустриальную эпоху, является плодом нашего ностальгического воображения: наши предки жили нуклеарными семьями, в состав которых редко входило больше двух поколений. Во-вторых, уход за пожилыми людьми в рамках семьи был распространен ненамного больше, чем сейчас, но масштаб проблемы был совершенно иным – старость вообще фактически не рассматривалась как проблема, ведь мало кто тогда жил намного дольше трудоспособного возраста. Наше отношение к нуклеарной семье изменится, стоит нам понять, что она возникла не в результате индустриализации, а появилась очень давно и стала традиционной для образа жизни англичан. С другой стороны, политика в отношении пожилых зайдет в тупик, если будет руководствоваться старыми моделями: «Мы находимся в совершенно новой ситуации, – пишет Ласлетт, – требующей изобретательности, а не подражания»<sup>1</sup>. Он не прослеживает эволюцию форм семьи во времени – XVIII и XIX вв. полностью находятся за пределами его исследования. Его аргумент состоит скорее в том, что первым шагом к пониманию является сравнение *через* пропасть времени, показывающее, какие из наших сегодняшних обстоятельств являются преходящими, а какие долгосрочными.

Способность выделить постоянно действующие и преходящие факторы – непрелюбое условие для любой реалистической программы социальных действий и настоящим. Такого подхода придерживался Р.Х.Тоуни, ведущий специалист по социальной истории Англии в межвоенный период и влиятельный социальный реформатор. В своем

---

<sup>1</sup> Peter Laslett, *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations*, Cambridge, 1977, p.181.

наиболее известном историческом труде «Религия и рост капитализма» (1926) он поставил цель показать, когда впервые произошел разрыв между христианской социальной этикой и практикой бизнеса, который в его время приобрел повсеместный и (с точки зрения Тоуни) катастрофический характер; книга прослеживает взаимосвязь между пуританизмом и капиталистическим духом в XVII в., достигшую апогея в триумфе экономического индивидуализма после Реставрации 1660 г. Как отмечал Тоуни в характерной для него элегантно манере:

«Историк приходит в подвал не потому, что любит пыль, а для того, чтобы оценить прочность здания и потому, что для определения характера трещин он должен знать, каково качество фундамента»<sup>1</sup>.

При таком подходе историю не «перелопачивают» в поисках «смысла» в поддержку тех или иных ценностей, она выступает как инструмент максимального увеличения нашего контроля над сегодняшней ситуацией. Быть свободным не значит обладать полной свободой действий (это утопическая мечта), а понимать, насколько твои действия и мысли обуславливаются наследием прошлого. Это может прозвучать как аргумент в пользу консерватизма. Но на самом деле такой подход создает реалистичную основу для радикальных инициатив. Нам нужно знать, когда мы ломимся в открытую дверь, а когда – бьемся лбом об стену. Понимание «различий между тем, что действительно необходимо, и тем, что является лишь продуктом наших собственных случайных действий» (как выразился один историк), способно принести серьезные политические дивиденды<sup>2</sup>.

Концепция исторических различий имеет еще один, довольно необычный способ применения – как инструмент осмысления тех аспектов недавнего прошлого, о которых мы, возможно, предпочли бы забыть. Лучшим свидетельством невероятных крайностей в поведении людей на протяжении уходящего столетия служит тот факт, что сегодня нам требуется по-настоящему напрячь воображение, чтобы понять, что происходило в «третьем рейхе» или Советском Союзе во времена Сталина (недавние примеры того же рода включают режимы Иди Амина в Уганде и Пол Пота в Камбодже). В подобных случаях пропасть между прошлым и настоящим сужается, умещаясь в пределах одной человеческой жизни. Те, кто пережил ужасы массовых убийств, репрессий и насильственных депортаций, страдают от коллективной травмы. Здесь можно придерживаться линии наименьшего сопротивления, оставив прошлое в покое, – как было в Советском Союзе, где «забвение» являлось официальной политикой со дня смерти

<sup>1</sup> R.H.Tawney, *History and Society*, Routledge & Kegan Paul, 1978. p.55.

<sup>2</sup> Quentin Skinner, “Meaning and understanding in the history of ideas”, *History & Theory*, VIII, 1969, p.53.

Сталина и до краха коммунизма. Люди, конечно, ничего не забыли, но у них не было возможности разделить свою боль с другими или выразить ее публично. Нация, не способная заглянуть в лицо собственному прошлому, обречена на серьезные трудности в будущем. Понимание этого стало стержнем политики гласности, начатой Михаилом Горбачевым в конце 1980-х гг. Он осознал всю пагубность психологического груза прошлого, остающегося под спудом. После некоторых первоначальных колебаний он открыл архивы для историков и позволил советским людям публично говорить об ужасных страданиях, пережитых в сталинский период. Что бы ни произошло с Россией в будущем, эту «коллективную собственность» на прошлое уже не отнять. Джеймс Джолл выразил это болезненное «столкновение» с недавним прошлым в медицинских терминах:

«Подобно психоаналитику, помогающему нам существовать в мире, научив смотреть в глаза правде о наших собственных мотивах и прошлом, специалист по новейшей истории помогает нам смотреть в глаза настоящему и будущему, позволяя понять, какие (пусть самые ужасные) силы сделали наш мир и наше общество такими как есть»<sup>1</sup>.

Исторические различия дают нам уникальную возможность увидеть настоящее в перспективе, будь то в качестве хранилища опыта, или свидетельства переходящей сущности нашего времени, или напоминания о глубоко чуждых нам элементах недавнего прошлого.

### III

Практическое применение принципа исторического *контекста* имеет куда меньше шансов попасть в газетные заголовки, но его важность от этого не становится меньше. Как мы показали в главе 1, внимание к контексту проистекает из убеждения историка, что ощущение целого должно непременно присутствовать в понимании его частей. Даже когда историки занимаются специализированными темами из области экономической или интеллектуальной истории, им следует соблюдать этот принцип, иначе они рискуют подвергнуться серьезной критике. Аналогичный принцип используется и в работе социальных антропологов – в ходе полевых исследований социальной структуре или культурной системе в целом уделяется не меньшее внимание, чем конкретным ритуалам или верованиям. Проблема, с которой сталкиваются и история, и антропология, состоит в интерпретации поведения, основанного на совершенно иных предпосылках, чем наше собственное. Было бы, например, большой ошибкой предполагать, что коммерческие операции в Англии XIII в. – или Полинезии XX в. –

---

<sup>1</sup> James Joll, *Europe sine 1870*, Penguin, 1976, p.xii.

обуславливались исключительно тем, что мы называем экономической целесообразностью; взглянув на эти общества в целом, мы поймем, что торговля и обмен определялись также религией, общественной моралью и социальной иерархией (если перечислить лишь те факторы, что лежат на поверхности). Причина, по которой этот образ мысли находит применение в современности, заключается, конечно, не в том, что наше собственное общество является для нас чуждым. Проблема скорее в его обескураживающей сложности, заставляющей нас чрезмерно доверяться компетентности специалистов, не учитывая должным образом общей картины. Э.Дж.Хобсбаум возмущается, что современная политика и планирование становятся рабами «модели сциентизма и технической манипуляции»<sup>1</sup>. Здесь дело не только в предрассудках, порожденных спорами о том, что является наукой, а что искусством (сам Хобсбаум всегда питал большое уважение к науке и технике). Главный аргумент состоит в том, что при технологическом подходе к социально-политическим проблемам человеческий опыт раскладывается по полочкам с ярлыками «экономика», «социальная политика» и т.д., каждая из которых имеет собственные технические знания. На деле же требуется совершенно другое – не становиться на пути человеческого опыта, постоянно ломающего барьеры этих категорий.

Горизонтальные связи между различными элементами общества куда легче выявить с высоты ретроспективного взгляда. Обнаружить же их в нашем собственном времени куда сложнее – мы не можем ни дистанцироваться от него, ни увидеть его в ретроспективе. Но обучение истории должно, по крайней мере, способствовать незашоренному подходу к современным проблемам. Этот тезис можно проиллюстрировать на примере войны в Персидском заливе 1991 г., хотя, к сожалению, он является негативным. В последние тридцать лет история западного империализма была предметом сложного научного анализа. Историки рассматривают процесс европейской экспансии не просто как результат развития мореплавания и технического превосходства. Они связывают его с экономическими структурами, способами потребления и международными отношениями, а теперь все в большей степени и с представлениями о мужественности и идеями расовых различий. В период эскалации конфликта в Персидском заливе средства массовой информации почти не пользовались контекстуализацией такого рода. Большинство комментаторов рассматривали его исключительно в рамках международного права и нефтяной политики. Историки не без оснований считают себя специалистами в области «горизонтального» мышления, и именно с этим связаны их традиционные

---

<sup>1</sup> Eric Hobsbawm, *On History*, Weidenfeld and Nicolson, 1997, p.27.

притязания на подготовку специалистов-управленцев и государственных служащих, где столь необходима способность мыслить шире, не замыкаться в конкретной технической сфере. То же самое можно сказать и о подготовке граждан, участвующих в органах управления, которые неизбежно подходят к большинству общественных вопросов с позиции неспециалиста<sup>1</sup>.

Историки используют принцип контекста и для опровержения расхожего, но неверного тезиса, что история повторяется. Как это происходит с каждым из нас в повседневном опыте, люди стремятся учиться на собственных удачах и неудачах и в коллективной жизни. Говорят, что биографические исследования занимают важное место в круге чтения британских политиков. Более того, некоторые из них сами являлись авторами выдающихся трудов в этом жанре, например Уинстон Черчилль и Рой Дженкинс<sup>2</sup>. Живой интерес политиков к историческому контексту, в котором потомки будут оценивать их собственную деятельность, лишь частично объясняет этот феномен. Подлинная причина внимания политиков к истории заключается в стремлении найти в ней «руководство к действию» и не в качестве моральных образцов, но в виде уроков для практической деятельности. Такой подход к истории имеет давнее происхождение. Он был особенно характерен для эпохи Возрождения, когда классические труды по античной истории рассматривались как собрание моральных и политических примеров. Рецепты Макиавелли, адресованные его родной Флоренции, и политические принципы, сформулированные в «Государе» (1513), основывались на прецедентах из истории Древнего Рима. За это он подвергся справедливой критике со стороны своего младшего современника, историка Франческо Гвиччардини:

«Как же неправильно цитировать римлян на каждом шагу. Чтобы любое сравнение имело ценность, необходимо, чтобы обстановка в вашем городе соответствовала той, что была у них, и тогда им можно управлять по римскому образцу. Если же обстановка в городе другая, то сравнение будет столь же неуместным, как попытка заставить осла бежать на скачках, подобно лошади»<sup>3</sup>.

Гвиччардини подметил главный недостаток опоры на прецеденты, который заключается, главным образом, в том, что теряется из виду исторический контекст. Чтобы прецедент «сработал», необходимы аналогичные условия, но ход времени требует нового подхода к прежним

---

<sup>1</sup> Gordon Connel-Smith and Howell A. Lloyd, *The Relevance of History*, Heinemann, 1972, pp.29-31, 123.

<sup>2</sup> W.S.Churchill, *Marlborough: His Life and Times*, (4 vols), Harrap, 1933-38; Roy Jenkins, Asquith, Collins, 1964.

<sup>3</sup> Francesco Guicciardini, *Maxims and Reflections of a Renaissance Statesman (Ricordi)*, Harper & Row, 1965, p.69.



проблемам и знакомым ситуациям, ведь сопутствующие обстоятельства изменились. Пропасть, отделяющая нас от всех прошлых эпох, превращает ссылки на прецеденты из далекого прошлого в бесплодное занятие.

Ученые всерьез пытаются проводить исторические аналогии, лишь когда речь идет о недавнем прошлом, мотивируя это тем, что за короткий период контекст не мог претерпеть существенных изменений, а те, что произошли, достаточно полно отражены в документах. На последних этапах холодной войны возникла своеобразная мода на подобную «прикладную» историю<sup>1</sup>.

Однако даже здесь сложность задачи обескураживает. Возьмем проблему гонки вооружений. Десятилетие, предшествовавшее второй мировой войне, часто преподносится как предметный урок того, насколько опасными могут быть слабость вооруженных сил и попытки умиротворения агрессивной державы. Но можно с таким же успехом привести в качестве прецедента первую мировую войну, одной из причин которой стала неустанная эскалация вооружений начиная с 1890-х гг. Какой же из этих прецедентов «правильнее»? Ответ такой – ни один из них сам по себе. Даже на протяжении одного столетия история не повторяется. Ни одна историческая ситуации не повторялась и не может повториться во всех деталях. Если какое-то событие или тенденция возникает вновь, как в случае с гонкой вооружений, это происходит в результате уникального стечения обстоятельств, и наша стратегия должна в первую очередь учитывать их<sup>2</sup>. Главное понятие историзма об «отличии» прошлого не прекращает действовать только потому, что нас от предмета исследования отделяет лишь два-три поколения. Как нам недавно напомнил Э.Дж.Хобсбаум, атмосфера 1930-х гг. (которую он наблюдал воочию) полностью отличалась от сегодняшней, что делает любое сравнение тогдашних нацистов с их нынешними подражателями делом довольно бессмысленным<sup>3</sup>. С другой стороны, проведение исторических аналогий, хотя бы и неосознанное, является повсеместной и неотъемлемой частью любой аргументации, особенно характерной для общественной деятельности. Этот процесс не всегда бесплоден, если не ставить целью полное совпадение между прошлым и настоящим и не рассматривать прецедент как основание для прекращения важной дискуссии, связанной с конкретной ситуацией.

Истина о том, что история не повторяется, ограничивает также и уверенность, с которой историки могут делать прогнозы. Как бы ни

---

<sup>1</sup> См., например: Richard E. Neustadt and Ernest R. May, *Thinking in Time: the Uses of History for Decision-Makers*, Free Press, 1986; Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, Unwin Hyman, 1988.

<sup>2</sup> David H. Fischer, *Historians' Fallacies*, Routledge & Kegan Paul, 1971, Ch.9.

<sup>3</sup> Hobsbawm, *On History*, pp.29, 233.

была велика вероятность, что тот или иной вновь возникший фактор приведет к уже известному результату, непрерывность процесса исторических изменений означает, что будущее всегда отчасти определяется действием дополнительных факторов, чье появление и воздействие на рассматриваемую проблему мы не в состоянии предсказать. Более того, когда люди считают, что та или иная ситуация подходит под категорию «история повторяется», знание о происшедшем в прошлый раз может повлиять на их действия. Как указывал Э.Х.Карр, исторические прецеденты позволяют нам в какой-то степени помнить, при каких условиях происходят революции, но ответ на вопрос, произойдет ли революция и данном конкретном случае, и если да, то когда, зависит от «уникальных событий, предсказать которые просто невозможно»<sup>1</sup>. Печальные примеры информированных и умных людей, делавших неверные прогнозы или не сумевших предугадать то, что задним числом представляется очевидным, сами по себе являются уроками истории: контроль над будущим – это иллюзия, и ощущение неуверенности – одно из условий жизни человека.

#### IV

Третий принцип историзма – история как *процесс* – столь же продуктивен с точки зрения актуальных выводов. Понять процесс не значит согласиться с ним или верить, что благодаря ему мир стал лучше. Но его выявление помогает объяснить наш мир. Если мы знаем свое место в ходе развивающегося процесса, у нас появляется некий «задел» представлений о будущем, позволяющий и некоторой степени заниматься перспективным планированием. Вообще, подобный образ исторического мышления глубоко укоренился в нашей политической культуре. Как избиратели и граждане мы почти инстинктивно трактуем окружающий нас мир с точки зрения исторического процесса. В значительной мере наши представления не основываются на исторической реальности; иногда мы фактически просто выдаем желаемое за действительное, проецируя его в прошлое. Но если выводы об историческом процессе стали результатом тщательных исследований, то с их помощью можно делать скромные по масштабу, но полезные предсказания. Отметим, что они опираются на принцип *последовательности*, в отличие от гораздо менее надежного принципа *повторяемости*. Эти преобладающие представления об историческом процессе следует выносить на свет, проверять на соответствие историческим фактам и при необходимости заменять более точными.

---

<sup>1</sup> E.H.Carr, *What is History?*, 2nd edn., Penguin, 1987, p.69.

Одно из предсказаний, сделанных на основе анализа исторического процесса, выдержавшее проверку временем, связано с политическими судьбами Южной Африки. В 1960-х гг., когда большинство колоний в странах тропической Африки приобрели политическую независимость, распространилось мнение, что и в Южной Африке власть скоро перейдет в руки большинства. Несмотря на тяжесть угнетения со стороны белых, было очевидно, что результатом процесса, начавшегося с создания Африканского Национального Конгресса в 1912 г. и отмеченного совершенствованием политического дискурса и технологии мобилизации масс, стало возникновение широкого национального движения чернокожих. Более того, события в Южной Африке можно было рассматривать как часть глобального феномена – антиколониального национализма, формировавшегося с конца XIX в. В этом смысле можно сказать, что история была «на стороне» национального движения на юге Африки. Конечно, было невозможно спрогнозировать, какую форму примет новое политическое устройство и каким путем оно возникнет: в результате революции снизу или реформ сверху, но это были детали, прояснить которые могло только будущее. Однако направление развития исторического процесса в Южной Африке казалось вполне очевидным. Перемены потребовали больше времени, чем предполагалось, демонстрируя тем самым, что исторический процесс может порой развиваться черепашими темпами – но само предсказание оказалось довольно точным<sup>1</sup>.

Иногда выявление реального исторического процесса затрудняется наличием нескольких возможных направлений развития. Возьмем нынешние споры о «крахе» семьи. В том, как этот вопрос освещается средствами массовой информации, явно прослеживается «процессуальное» мышление. При этом на первый план выдвигается падение личной нравственности, поощряемое неудачным законодательством, начиная с Закона о браке 1857 г., давшего толчок либерализации условий развода<sup>2</sup>. Историки же выводят на авансцену другой, гораздо более фундаментальный и долгосрочный процесс, а именно, изменение роли домашнего производства. Двести пятьдесят лет назад большая часть работы делалась на дому или было непосредственно связана с ним. Выбирая себе спутника жизни, потенциальный супруг или супруга руководствовались его умением зарабатывать на хлеб и ее способностью вести дом не меньше, чем чувствами: распад брака в результате расставания супругов или ухода одного из них означал бы конец производственной

---

<sup>1</sup> О направлении развития исторического процесса в Африке, см., например, книгу Donald Denoon, *Southern Africa since 1800*, Longman, 1972.

<sup>2</sup> Mary Lyndon Shanley, *Feminism, Marriage and the Law in Victorian England, 1850-1895*, Princeton, 1989.

ячейки, вот почему большинство браков продолжались до конца жизни. Промышленная революция полностью изменила положение: развитие фабрик (и других крупных компаний) привело к тому, что домашнее производство прекратило существование и контроль над иждивенцами в семье утратил свою экономическую основу. Теперь, когда личная привязанность является основной причиной для вступления в брак, у людей гораздо меньше резонов сохранять семейные отношения, если они уже не приносят им счастья. Именно упадок домашнего производства, а не падение нравственности, является для данного случая важнейшим историческим процессом; а учитывая, что отделение работы от дома произошло, по всей видимости, окончательно, можно с полным основанием предположить, что сравнительно высокий процент распадающихся браков останется характерной чертой нашего общества<sup>1</sup>.

Но самая важная роль «процессуального» мышления состоит в раскрытии альтернативы представлениям о «постоянном» и «вечном» характере многих социальных идентичностей. Как мы видели в предыдущей главе, нации обычно считают себя неподверженными влиянию времени. Эссенциалистские заблуждения не проходят проверку научным исследованием. Например, понятие «британец» в XVIII в. было новосозданной категорией, учитывавшей недавнюю унию между Англией и Шотландией, причем из нее были исключены католики и французы. В конце XX в. культурный смысл «британскости» кажется более сомнительным, чем когда-либо, поскольку само британское государство, похоже, движется в направлении распада, учитывая стремление Шотландии к независимости<sup>2</sup>. Аналогичным образом любое представление о том, что означает быть немцем, должно учитывать не только множество государств, в которых немцы жили до середины XIX в., но и политические расчеты, которые привели к тому, что многие немецкоязычные регионы (в первую очередь Австрия) не вошли в состав созданной в 1871 г. Германской империи. Историческая перспектива требует, чтобы мы отбросили идею об органичности наций; было бы ближе к истине рассматривать их, пользуясь словами одного уважаемого автора, как «воображаемые сообщества»<sup>3</sup>.

Аналогичные проблемы связаны и с термином «раса». В своей современной форме категория «расы» была сформулирована для оправдания растущего господства Запада над другими народами. Она трактовала социальную конструкцию как нечто неизменное и

---

<sup>1</sup> Michael Anderson, "The relevance of family history", в кн.: Chris Harris (ed.), *The Sociology of the Family*, Keele, 1980.

<sup>2</sup> Linda Colley, *Britons: Forging the Nation, 1707-1837*, Yale University Press, 1992; Raphael Samuel, *Island Stories: Unravelling Britain*, Verso, 1998, pp.41-75.

<sup>3</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Verso, 1983.

биологически predetermined и развивалась в первую очередь как инструмент политического и экономического контроля над подчиненными группами (как это происходило в колониальной Африке и нацистской Германии). Предыдущее поколение историков, писавших о глобальной экспансии Запада, априорно предполагали, что другая сторона – «туземные народы» являются неполноценными, как в плане созданной ими культуры, так и в способности к усвоению западных технологий; а эти негативные стереотипы в свою очередь служили поддержанию лестного образа британской (или французской, или германской) «расы». Уже в недавнее время меньшинства, обладающие сильной этнической идентичностью, сконструировали так называемый обратный дискурс; они также принимают концепцию «расы», поскольку она сводит биологическое происхождение и культуру в одну мощную амальгаму, ставящую во главу угла групповое единство и подчеркивающую обособленность от других групп. Сегодня среди чернокожих в Америке и Британии растет популярность афроцентризма – идеи об абсолютном этническом отличии черных от других и о необходимости передачи подлинной культурной традиции из Африки современным негритянским диаспорам. Упор на общее происхождение и принижение роли внешних влияний приводит к своего рода «культурной замкнутости». В качестве подходящей реакции на эти идеи следует указать на ту мысль, что ни одна нация никогда не была этнически однородной, и подчеркнуть определяющую роль рабства и других форм контакта между культурами белых и черных и Европе и Новом Свете. Целью историков является не подрыв идентичности черных, но ее привязка к реальному прошлому, а не мифологическим конструкциям. Результат будет, скорее всего, куда теснее связан с обстановкой, в которой белые и черные живут сегодня. Формирование расовой и национальной идентичности не происходит раз и навсегда, это непрерывный процесс, подверженный воздействию случайностей<sup>1</sup>.

То, что справедливо применительно к нациям, в еще большей степени относится к понятию «естественного». Когда в нашем социальном устройстве происходят нежелательные перемены, мы порой выражаем свою привязанность к уходящим элементам, утверждая, что они существовали всегда: то, что меняется, – не просто некая фаза развития с ограниченной продолжительностью, но нечто традиционное, фундаментальное, «естественное». Это особенно относится к гендерным проблемам. «Традиционная» роль женщин выглядит все менее очевидной, когда мы читаем о вдове-предпринимательнице в Англии XVII в., или о многочисленных женских организациях, боровшихся

---

<sup>1</sup> Paul Gilroy, *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*, Verso, 1993.

за отмену рабства в XIX в., задолго до начала суфражистского движения<sup>1</sup>. Новое направление исследований – история мужчин и понятия «мужественности» также опровергает общепринятые истины. Часто считается, что традиционное отцовство сочетало в себе эмоциональную сдержанность и строгое поддержание дисциплины в семье. Понятие «викторианское отцовство» обычно подразумевает именно это. Но если викторианцы держались на расстоянии от своих детей и подвергали их жестоким наказаниям, то это было негативной реакцией на прошлое, а не апогеем долгой традиции. Прославленный политический журналист Уильям Коббетт вспоминал, что, будучи молодым отцом, он все время разрывался «между пером и младенцем»; излагал во всех подробностях, как кормил и укладывал своих малышей спать «сотни раз, хотя в доме были слуги, которым можно было перепоручить эту задачу»<sup>2</sup>. Коббетт писал эти строки в 1830 г., когда уже начало складываться отрицательное мнение о близких отношениях отца с маленькими детьми, но еще тридцать лет назад, в его молодые годы, они были общеприняты. Сегодня нам совсем небезразлично знать, что отец, полностью занятый детьми, – это не утопическая фантазия, что такой обычай существовал в английской культуре в сравнительно недавнем прошлом. Вообще, нормы поведения отца постоянно менялись на протяжении последних двухсот лет, а возможно, и раньше<sup>3</sup>. Одной из фигур, оказавших наибольшее влияние на практику исторической науки в последние двадцать лет, был французский историк и философ Мишель Фуко. Его кардинальный принцип состоял в том, что ни один аспект человеческой культуры не является «Богом данным» и не лежит за пределами истории, а в своих научных трудах он сумел выявить значительные изменения, произошедшие в таких областях человеческого опыта, как сексуальность, болезнь и безумие. Выбирая подобные крупные темы и занимаясь тем, что он называл «археологией настоящего», Фуко приобрел влияние, распространившееся далеко за рамками научных кругов<sup>4</sup>.

## V

Если мы установили, что история имеет разнообразное и существенное практическое применение, остается ответить на вопрос: должно

---

<sup>1</sup> Amy Louise Erickson, *Women and Property in Early Modern England*, Cambridge University Press, 1993; Clare Midgley, *Women Against Slavery*, Routledge, 1992.

<sup>2</sup> William Cobbett, *Advice to Young Men*, Peter Davies, 1926, p.176.

<sup>3</sup> John Tosh, *A Man's Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England*, Yale University Press, 1999.

<sup>4</sup> Чтобы войти в курс его работ, лучше всего обратиться к: P.Rabinow (ed.), *The Foucault Reader*, Pantheon, 1984.

ли это обстоятельство влиять на историков при их работе. До «ранкеанской революции» такой вопрос вряд ли мог возникнуть. Историки разделяли уверенность своей аудитории, что историческое образование обеспечивает подготовку как для граждан, так и для государственных деятелей. Как мы уже отмечали, многих историков интересовали уроки, которые можно извлечь из прошлого, и вопрос о смысле истории. Они принимали как аксиому, что история служит основой для рационального анализа политической деятельности; более того, многие выдающиеся историки, от Гвиччардини в XVI в. до Маколея в XIX в., активно участвовали в общественной жизни. Все изменилось с профессионализацией исторической науки. К концу XIX в. история как предмет занимала видное место в университетских программах по всей Европе; ее преподаванием руководило новое поколение историков, карьера которых была в основном связана с чистой наукой. Традиционные претензии их научной дисциплины на практическую полезность казались неуместными, почти неприличными. Они строго придерживались главного постулата историзма – изучение истории «изнутри» само по себе является целью. Такой подход продолжает характеризовать профессиональную деятельность подавляющего большинства британских историков. Дж.Р.Элтон, крупнейший специалист по эпохе правления Тюдоров, открыто выступает в поддержку господствующей традиции:

«Преподавателям истории следует отвернуться от неизбежно невежественных требований «общества»... относительно сиюминутной пользы. Они должны помнить, что «полезность» изучения истории едва ли имеет какое-нибудь отношение к полученным знаниям и к пониманию конкретных проблем настоящего через их предысторию: она скорее заключается в том факте, что историческая наука «производит» критерии оценки и силу аргументов, которые, кроме нее, не в силах выработать никто, которые вытекают из самой ее сути и отличаются необычайной ясностью, взвешенностью и способностью к сопереживанию»<sup>1</sup>.

Помимо интеллектуального тренинга, изучение истории изображается как личный поиск, который в оптимальном варианте позволяет индивиду в какой-то мере познать самого себя, преодолев рамки личного опыта; согласно строгой формулировке В.Х.Гэлбрейта «изучение истории – это личное дело, в котором сама деятельность обычно ценнее, чем результат»<sup>2</sup>. Ни один из этих аргументов не относится исключительно к истории: тренировка ума является частью всех научных

---

<sup>1</sup> G.R.Elton, “Second thoughts on history at the universities”, *History*, LIV, 1969, p.66. См. его же: *The Practice of History*, Fontana, 1969, pp.66-68.

<sup>2</sup> V.H.Galbraith, в R.C.K.Ensor *et al.*, *Why We Study History*, Historical Association, 1944, p.7; см. также его труд: *An Introduction to the Study of History*, C.A.Walts, 1964, pp.59-61.

дисциплин, заслуживающих этого названия, а претензия на обогащение личного опыта может с таким же, если не большим основанием выдвигаться преподавателями литературы.

Одним из позитивных результатов занятий «историей ради истории» является искреннее стремление воссоздать или возродить прошлое во всех его материальных и духовных измерениях. Есть историки, для которых очарование прикосновения к «подлинному» прошлому перевешивает все прочие соображения. Ярким примером в этом смысле является Ричард Кобб, ведущий специалист по Французской революции:

«Историк должен прежде всего быть бесконечно любознательным и пытливым, постоянно пытаться раскрыть чужие тайны, преодолевать границы класса, национальности, поколения, эпохи и пола. *Его главная цель – оживить мертвых.* (Курсив мой. – Дж. Тош). И, как американский «похоронных дел мастер», он может позволить себе несколько профессиональных ухищрений: здесь чуть-чуть помады, там мазок карандашом, немного ваты за щеку – все, чтобы результат выглядел убедительно»<sup>1</sup>.

Потрясающий «эффект присутствия», создаваемый Коббом в его описаниях изнанки жизни революционного Парижа, например в труде «Смерть в Париже» (1978), служит лучшим оправданием его подхода. Наверное, каждый историк найдет истоки избранной им профессии в любопытстве к прошлому ради него самого, часто возникающем в детстве при виде окружающих его материальных свидетельств минувших эпох. И будем надеяться, всегда найдутся историки вроде Кобба, обладающие особым даром воссоздания прошлого. Но было бы совершенно неправильным думать, что историки в целом должны удовлетворяться только этим. Для большинства из них воссоздание прошлого – необходимая предпосылка к его *объяснению*. Их цель – выявить тенденции, проанализировать причины и следствия, короче говоря, проследить историю как процесс, а не просто набор ярких диалогитивов. Поэтому исследователи Английской революции подходят к своему предмету с целью выяснить не только, каков был ход Гражданской войны или как ощущал себя солдат армии нового образца, но и почему война началась и какие изменения она внесла в характер английского общества и политической жизни. Или взять пример из другой области: события англо-зулусской войны 1879 г., такие, как распад Зулусского королевства или гибель целого британского полка, были достаточно трагичными; но ирония и пафос этих событий открываются перед нами в совершенно ином измерении, если мы обратимся к проблемам предательства, взаимного непонимания и

---

<sup>1</sup> Richard Cobb, *A Second Identity: Essays on France and French History*, Oxford University Press, 1969, p.47.



«конфликта культур», приведшим обе стороны к столкновению<sup>1</sup>. Объяснение представляет собой другую сторону историзма. Без него практические «объяснительные» функции истории вообще невозможно было бы осуществить. (О различии между воссозданием и объяснением речь пойдет также в гл. 6.)

Однако к историческому объяснению вполне можно стремиться без оглядки на «общественное значение», и именно этот взгляд, а не чисто «реконструктивный» подход, разделяется большинством ученых, поскольку объяснения также можно искать «ради них самих». Такие темы, как причины возникновения первой мировой войны или система социального обеспечения викторианской эпохи могут быть предметом исследования сами по себе, без учета их возможной связи с современными вопросами. При разработке университетских программ часто исходят из того, что история состоит из ряда ключевых тем и периодов, сохраняющих неизменное значение, которые привлекают большое внимание исследователей и вызывают серьезные научные дебаты, а значит – представляют собой наилучший материал для упражнения интеллекта. Новые научные области, такие, как история Африки или «история семьи», отбрасываются как модные веяния на периферии «настоящей истории». Комментируя постепенный уход от крупных, острых тем в университетских курсах, Дэвид Кэннадайн пишет:

«Вера в то, что история дает образование, помогает нам понять самих себя во временной перспективе, или хотя бы, что она даст какие-то объяснения тому, как возник современный мир, практически исчезла»<sup>2</sup>.

Нетрудно заметить в таком подходе проявления фундаментального консерватизма: чем больше из истории исключается все, что отдает «связью с современностью», тем меньше вероятность разоблачения господствующих мифов или появления радикальной альтернативы существующим институтам. Это объясняет, почему «актуальное» историческое исследование вызывает обвинения в ниспровергательстве и «разгребании грязи»<sup>3</sup>.

Вряд ли кто-нибудь усомнится в непропорциональном преобладании консерваторов среди профессиональных историков. Как уже отмечалось, триумф историзма в XIX в. был во многом связан с мощной консервативной реакцией на Французскую революцию. Сохраняет свою силу и утверждение, что изучение прошлого зачастую привлекает

---

<sup>1</sup> Jeff Guy, *The Destruction of the Zulu Kingdom*, Longman, 1979.

<sup>2</sup> David Cannadine, “British history: past, present – and future?”, *Past & Present*, 116, 1987, p.180.

<sup>3</sup> См., например: G.R.Elton, *Return to Essentials*, Cambridge University Press, 1990, pp.84-87.

тех, кто испытывает враждебность к характеру социально-политических перемен в современном им обществе, и находит утешение в близком по духу «старом порядке». Эта точка зрения отразилась, например, в трудах по «английской локальной истории»: произведения У.Дж.Хоскинса, главного авторитета в этой области, полны ностальгической грусти по безвозвратно ушедшему староанглийскому сельскому укладу<sup>1</sup>.

Впрочем, аргументы против социального значения истории редко окрашены в явно консервативные тона. Они чаще всего основаны на тезисе, что «связанные с современностью» исследования несовместимы с главной обязанностью историка точно отображать прошлое и с требованиями научной объективности. Этот аргумент имеет широкое хождение среди ученых-историков, пользуясь поддержкой многих, кто во всех других отношениях не является консерватором, но считает, что речь в данном случае идет о профессиональных принципах. Но вне зависимости от того, имеет консервативный подход под собой основания или нет, отрицание практического значения истории есть проявление излишней осторожности. Вполне понятно стремление первоначальных сторонников нового исторического сознания дистанцироваться от злободневных тем – они слишком хорошо осознавали, как сильно в прошлом страдал их предмет от всякого рода пророков и пропагандистов. Но битва за торжество научных критериев исторического исследования в среде профессионалов давно выиграна. Практические задачи можно выполнять без ущерба для научного уровня, в том числе и потому, что профессиональные историки с чрезвычайным рвением выискивают искажения в работах коллег.

Историки, конечно, должны стремиться к точному отображению прошлого; весь вопрос в том – какого? Пред лицом практически безграничного объема свидетельств о человеческой деятельности и необходимости отбора определенных проблем и периодов, более заслуживающих внимания, чем остальные, историк имеет полное право допустить влияние волнующих общество вопросов на собственный выбор. Заметное расширение спектра исторических исследований за последние тридцать лет во многом является результатом деятельности небольшого меньшинства историков, готовых откликнуться на злободневную тематику. Кризис американских городов в 1960-х гг. вызвал к жизни «новую городскую историю» с ее упором на историю социальной мобильности, политики «групп меньшинства» и внутригородской обездоленности. История Африки, возникшая примерно в одно и то же время в самой Африке и на Западе, разрабатывалась историками,

---

<sup>1</sup> См.: W.G.Hoskins, *The Making of the English Landscape*, Penguin, 1970.

убежденными в необходимости этой проблематики как с точки зрения перспектив для вновь возникших независимых государств, так и для понимания «черного континента» окружающим миром.

Очевидно, новые области истории, претендующие на связь с современностью, более подвержены манипуляциям со стороны идеологов, чем традиционная наука. Но ответственность историков в данном случае ясна: обеспечить историческую перспективу для придания современным дискуссиям большей научности, а не обслуживать какую-либо идеологию. Откликнуться на «призыв современности» не значит фальсифицировать или исказить прошлое: это значит воскресить те аспекты прошлого, которые могут больше нам сказать именно сейчас. Африканистов, например, должно волновать объяснение эволюции африканских обществ, а не создание националистических мифов, и одним из последствий тридцати лет исследований стал тот факт, что сейчас нам гораздо проще отличить одно от другого. Наши современные приоритеты должны определять, какие вопросы мы задаем прошлому, но отнюдь не ответы на них. Как мы покажем в дальнейшем, дисциплина исторического исследования наполняет это различие смыслом. В то же время было бы заблуждением считать, что стремление к воссозданию прошлого как такового является предпосылкой объективности: ни один исторический труд не гарантирован от влияния взглядов автора (см. гл. 7).

Но историки, отвергающие связь с современностью под лозунгом объективного знания не просто гонятся за химерой; они еще и уклоняются от ответственности в самом широком смысле. Интеллектуальное любопытство в отношении прошлого как такового, – несомненно, одна из причин, по которой люди читают исторические труды, но не единственная. Общество ждет от ученого и такой интерпретации прошлого, которая бы связывала его с современностью и послужила основой для выработки решений относительно будущего. Историки могут возразить, что их специализация связана с прошлым, а не с настоящим, и не их дело судить о практических результатах своей работы. Но только они обладают необходимой квалификацией, чтобы дать обществу подлинную историческую перспективу и уберечь его от вредного воздействия исторических мифов. Если профессионально подготовленные историки не выполняют этих функций, появятся необоснованные интерпретации, созданные другими, менее информированными и более предвзятыми людьми. Слова, сказанные 35 лет назад Джеффри Барраклау, ветераном борьбы за современные ценности в исторической науке, сохраняют свою силу и сегодня:

«Человек – животное историческое, с глубоким ощущением собственного прошлого; и если он не получит целостной картины прошлого благодаря

ясной и достоверной истории, он обретет ее с помощью истории туманной и лживой. Такой вызов не может проигнорировать ни один историк, хоть скольконибудь убежденный в ценности своей работы; и ответ на этот вызов не в том, чтобы уклоняться от вопроса о «практическом значении», а в том, чтобы принять его как факт и выяснить, что из этого следует»<sup>1</sup>.

Одно из следствий состоит в том, что «современная история», которую можно приблизительно определить как период после 1945 г., требует серьезного внимания ученых. Можно возразить, что нынешних историков отделяет от событий этого периода слишком мало времени, что их работу, помимо прочего, затрудняет ограниченность доступа к архивным документам (см. гл. 3). Но хотя эта работа и не может быть выполнена на том уровне, как хотелось бы историкам, важно, чтобы они сделали все, что могут. Ведь именно из недавнего прошлого люди заимствуют большинство исторических аналогий и прогнозов, и, чтобы избежать серьезных ошибок, знания о нем должны базироваться на серьезном фундаменте. К тому же, недавнее прошлое часто оказывалось благодатной почвой для примитивных мифов, влияние которых лишь усиливалось, если их достоверность не ставилась под сомнение учеными. Поэтому пренебрежение науки к современной истории приводит к опасным последствиям. Но выполнение практических функций исторической науки не означает отказ от исследования более ранних периодов, напротив. От традиционного изучения античности, средневековья и нового времени ни в коем случае нельзя отказываться: столь многие грани нашей жизни уходят корнями в далекое прошлое, и без него историческая перспектива современных проблем будет страдать серьезными изъянами. Кроме того, эти периоды представляют исследователю свидетельства разнообразных достижений и духовной жизни человечества.

Таким образом, необходимость оправдывать ожидания общества не накладывает никаких ограничений на специализацию по периодам или по странам. Но она предполагает внимание к актуальным вопросам современности, требующим исторической перспективы, при выборе тематики исследования; приведенные в данной главе примеры можно с легкостью дополнить. Наконец, четкое выполнение исторической наукой своей социальной роли, требует, чтобы ученые всерьез озаботились задачей сделать результаты своей работы и исходящие из нее практические выводы доступными максимально широкому кругу людей. Исторические исследования не должны предназначаться лишь для научного сообщества, какую бы важность не представляла их критическая оценка со стороны коллег; они касаются всех, кто стремится получить информационную основу для суждений о настоящем. Один

---

<sup>1</sup> Geoffrey Barraclough, *History in a Changing World*, Blackwell, 1955, pp.24-25.

из наиболее справедливых упреков, предъявляемых сегодня профессиональным историкам, состоит в том, что слишком мало научных трудов создается в расчете на широкую аудиторию {см. гл. 6).

## VI

Подведем краткий итог соображениям, изложенным в данной главе, поместив историю в контекст близких ей научных дисциплин. Традиционно история, вместе с литературоведением и искусствоведением, причислялась к гуманитарным наукам. Фундаментальным постулатом этих наук является следующее: все, что человечество придумало и сделало, представляет интерес и имеет непреходящую ценность независимо от любых практических соображений. Воспроизведение эпизодов и атмосферы прошлого требует нашего внимания в такой же степени, как воспроизведение мысли, выраженной в произведении искусства или литературы. Историк, подобно литературоведу и искусствоведу, является стражем нашего культурного наследия, а знакомство с этим наследием позволяет проникнуть в глубь человеческой природы, познавая самого себя и других. В этом смысле история, по выражению Кобба, – это «культурный субъект, обогащающий сам по себе»<sup>1</sup>, и любое историческое исследование имеет смысл.

Существование общественных наук, напротив, связано с практическим применением. Экономисты и социологи стремятся понять, как работают экономика и общество, имея в виду найти решение современных проблем, так же как ученый ищет пути овладения миром природы. Историки, убежденные в практической применимости своей дисциплины, обычно отделяют ее от гуманитарных наук и помещают в разряд общественных. Именно так поступил Э.Х.Карр в труде «Что такое история?» (1961), – возможно, лучшим исследовании историка нашего времени о природе своей науки:

«Ученые, социологи и историки все заняты в различных отраслях одной науки: науки о человеке и окружающей его среде, о воздействии человека на окружающую среду и среды на человека. Цель исследования одна и та же: улучшить понимание человеком окружающей его среды и позволить овладеть ею»<sup>2</sup>.

В таком прочтении воссоздание исторического прошлого имеет ценность прежде всего как предпосылка к его объяснению, и речь идет об объяснениях, связанных с актуальными социальными, экономическими и политическими вопросами.

---

<sup>1</sup> Richard Cobb, *A Sense of Place*, Duckworth, 1975, p.4.

<sup>2</sup> E.H.Carr, *What is History?*, Penguin, 1964, p.86.

В контексте этой дискуссии я уделил основное внимание практическому применению истории, поскольку оно продолжает вызывать сильное сопротивление со стороны многих профессиональных историков. Но истина состоит в том, что историю нельзя определить как гуманитарную или общественную науку, не теряя при этом значительной части ее природы. Слишком часто мы совершаем ошибку, настаивая, что история принадлежит к одной из категорий, отрицая при этом другую. История – это гибридная дисциплина, и своим очарованием и сложностью обязана именно тому, что несет в себе черты обеих категорий. Чтобы историческое исследование сохранило свою жизненную силу, следует признавать эту ключевую двойственность, как бы ни страдала при этом логическая целостность. Исследование истории «ради нее самой» – не просто любовь к древностям. Размышления о прошедших эпохах способствует росту человеческого сознания, а воссоздание исторического прошлого неизменно овладевает нашим воображением, обогащая опосредованным опытом как автора, так и читателя. В то же время историки играют и практическую роль, и история, которую они преподносят студентам в школах и университетах или широкой аудитории через средства массовой информации, должна отражать осознание ими этой роли. Тем самым историческое образование достигает нескольких целей одновременно: оно упражняет ум, воспитывает сопереживание и позволяет увидеть многие насущные проблемы нашего времени в исторической перспективе.

### Глава 3 Сырье для историка

Спектр интересов и разнообразие причин, по которым нас привлекает прошлое, столь широки, что история, можно сказать, охватывает весь опыт человечества – и любом уголке земли и в любой период времени. Любой отрезок прошлого может быть включен в сферу исторического знания. Но степень, в которой этот конкретный отрезок может стать предметом тщательного научного исследования, зависит от наличия исторических данных о нем. Если главной заботой историка является воссоздание и объяснение прошлого ради самого прошлого или в свете его значения с точки зрения современности, то достигнутый им результат определяется прежде всего количеством и характером имеющихся источников. А значит, именно с них следует начинать описание работы историка. В данной главе мы расскажем об основных категориях документальных материалов, покажем, как они возникли, каким образом сохранились до наших дней и в какой форме оказались доступны ученым.

#### I

Исторические источники включают любые свидетельства прошлой деятельности людей – слово написанное и слово произнесенное, характер ландшафтов и предметы материальной культуры, а также произведения искусства, фото- и кинодокументы. История занимает уникальное место среди гуманитарных и социальных наук по

разнообразие источников, каждый из которых требует специальных знаний. Военный историк, занимающийся Гражданской войной в Англии, может изучить сохранившееся оружие и доспехи XVII в., места былых сражений и военные донесения противоборствующих сторон. Воссоздание возможно полной картины Всеобщей стачки 1926 г. требует исследования архивов государственных учреждений и профсоюзов, материалов прессы и радио, а также привлечения свидетельств очевидцев. Для реконструкции устройства какого-нибудь королевства в «Черной Африке» доколониального периода, скорее всего, необходимы не только раскопки на месте его столицы, но и записи посещавших королевство европейцев и арабов, а также устные рассказы, передаваемые из поколения в поколение. Каждый из этих источников требует специальных приемов, овладеть которыми в полной мере одному-единственному историку вряд ли по силам. Методика работы с источниками, которые представляют наибольшую техническую сложность, способствовала появлению сфер узкой специализации. Раскопкой древних памятников и истолкованием найденных остатков материальной культуры занимаются археологи, которым ныне помогают специалисты по аэрофотосъемке и химическому анализу; к их услугам нередко прибегают искусствоведы. Историк часто пользуется данными археологов и искусствоведов, и он может считать себя достаточно подготовленным, чтобы делать выводы на основе изучения широкого круга предметов материальной культуры – например, облика и внутреннего устройства норманнских замков или характера образов, воссозданных на прижизненных портретах Елизаветы I и монетах периода ее царствования; но такие данные рассматриваются большинством историков как «вспомогательные», периферийные элементы их дисциплины. За последние тридцать лет диапазон источников, которыми историки, по их собственному утверждению, овладели, несомненно, расширился. Он теперь включает топонимику, топографию и – что касается новейшей истории – кинодокументы. И, тем не менее, изучение истории почти всегда основывалось непосредственно на том, что историк может вычитать из документов и услышать от очевидцев. С тех пор как исторические исследования были поставлены на профессиональную основу (а этим мы обязаны Ранке), упор, за редкими исключениями, делался на письменные, а не на устные источники, хотя, как мы увидим, в последнее время «устная история» стала вновь привлекать внимание исследователей (см. гл. 2). Для огромного большинства историков исследовательская работа по-прежнему ограничивается архивами и библиотеками.

Причина этого – не только научный консерватизм. Начиная с периода развитого средневековья (примерно 1000-1300 гг.), письменные



документы сохранились в куда большем изобилии, чем любой другой вид источников по истории Запада. В XV-XVI вв. произошел не только существенный прогресс в деле создания архивов государственными органами и иными учреждениями, но и быстрое распространение книгопечатания, поощрявшего рост письменной продукции всех видов и увеличившего шансы их сохранения. Письменные источники, как правило, отличаются точностью в отношении времени, места создания и авторства и раскрывают мысли и действия отдельных людей, как ни один другой вид источников. Достаточно прочесть труд по истории общества, о котором не осталось буквально ни одного письменного свидетельства – о железном веке в Британии или Зимбабве периода средневековья, – чтобы увидеть, до какой степени теряет жизненную силу история, лишенная своей главной источниковой базы. Более того, написанное слово всегда служило множеству разных целей – информации, пропаганде, личным контактам, размышлениям и творческому самовыражению, – каждая из которых может представлять интерес для историка. Интерпретация текстов, выполняющих несколько функций и относящихся к эпохе, духовная жизнь которой резко отличалась от нашей, требует критических навыков самого высокого уровня. Письменным источникам свойственны одновременно наибольшая отдача и (чаще всего) наибольшая полнота, поэтому неудивительно, что историки в основном ими и ограничиваются.

Использование письменных материалов как основного исторического источника осложняется тем фактом, что сами полученные историками данные тоже передаются в письменной форме. И при выборе темы исследования, и в уже законченной работе историка в той или иной степени находятся под влиянием того, что написали их предшественники, принимая значительную часть полученных ими данных, и, после определенного отбора, их интерпретацию этих данных. Но когда мы читаем труд историка, то уже удаляемся на один шаг от оригинальных источников за рассматриваемый период или еще дальше, если автор опирался на уже написанное другими. Первый тест, который должен пройти любой исторический труд: насколько содержащаяся в нем интерпретация прошлого соответствует всей совокупности имеющихся данных; после обнаружения новых источников или нового прочтения старых даже самая престижная книга может оказаться на свалке. Короче, современная историческая наука основана не на достижениях предшественников, а на постоянном переосмыслении оригинальных источников. Именно по этой причине историки рассматривают оригинальные материалы как первичные – *первоисточники*. Все, что они и их предшественники написали, считается *вторичными*

источниками. Данная книга в основном связана с вторичными источниками – с тем, как историки формулируют проблемы и делают выводы и как мы, читатели, должны оценивать их работу. Но сначала необходимо подробнее остановиться на сырьевых материалах для этой работы.

Различие между первичными и вторичными источниками, каким бы фундаментальным оно ни было с точки зрения исторического исследования, не столь ясно очерчено, как может показаться на первый взгляд, и разграничительную линию между ними разные исследователи проводят по-разному. Понятие «оригинальный источник» означает данные, современные событию или идеям, с которыми он связан. Но насколько широко следует толковать термин «современный»? Никто не станет спорить, если речь идет о записи беседы, сделанной через неделю или даже месяц после самого разговора, но что делать с описанием того же эпизода в автобиографии, написанной двадцатью годами позже? И к какой категории отнести рассказ о мятеже, написанный вскоре после события, если автором был человек, при этом не присутствовавший и целиком полагавшийся на слухи? Хотя некоторые «ревнители чистоты» рассматривают свидетельства любого лица, не являвшегося непосредственным очевидцем, как вторичные источники<sup>1</sup>, более оправданным представляется расширенное определение первоисточника, но при этом следует признать, что некоторые источники все же более «первичны», чем другие. Историк обычно предпочитает те источники, что находится по месту и времени «ближе всего» к интересующим его событиям. Но источники, «удаленные» от места действия, имеют собственную ценность. Зачастую то, как современники оценивали происходящее, интересует исследователя не меньше, чем сами события: реакция в Британии на Французскую революцию, например, оказала сильное влияние на политический климат в стране, и с этой точки зрения часто искаженные сообщения из Парижа, циркулировавшие в Британии в то время, являются неоценимым источником. Как мы видим из этого примера, включение источника в категорию «первичных» не связано с оценкой его надежности и достоверности. Многие первоисточники неточны, запутаны, основаны на слухах или являются преднамеренной дезинформацией, поэтому (как мы покажем в следующей главе) важной частью работы историка является тщательное исследование источника на предмет подобных искажений. Различие между первичными и вторичными источниками еще более усложняется тем фактом, что иногда первичные и вторичные

---

<sup>1</sup> Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Knopf, 1950, pp.53-55.

материалы присутствуют в одном и том же труде. Средневековые летописи обычно начинались с обзора мировой истории от сотворения мира до Рождества Христова, основанного на работах известных авторов; современные же историки ценят в них прежде всего ежегодные записи о текущих событиях. Кроме того, один и тот же труд может быть первоисточником в одном контексте и вторичным – в другом: «История Англии» Маколея (1848-1855) является вторичным источником, репутация которого серьезно подорвана современными исследованиями; но для любого специалиста по политическому и историческому мышлению викторианской элиты книга Маколея, ставшая в свое время бестселлером, является важным первоисточником. Подобные примеры могут привести к распространенному выводу, что «официальными», авторитетными свидетельствами о прошлом являются «исторические документы». Действительно, архивные документы такого рода имеют больше шансов сохраниться, но сам термин следует толковать в максимально широком смысле. Каждый день все мы создаем потенциальные исторические документы – финансовые отчеты, частную переписку, даже списки магазинных покупок. Они действительно станут историческими документами, если уцелеют и будут использованы учеными будущего в качестве первоисточников.

Чтобы разобраться в огромной массе сохранившихся первоисточников, в первую очередь необходима некая система классификации. Обычно здесь используются два принципа. Первый проводит различие между опубликованными – что, начиная с нового времени, как правило, означает печатными – и неопубликованными или рукописными источниками. Согласно второму принципу, упор делается на происхождение, и различие проводится между источниками, созданными государственными учреждениями, и теми, что возникли в результате деятельности корпораций, объединений и частных лиц. Оба этих принципа приходят на помощь при создании каталогов, где необходима точность, на их основе историк обычно составляет библиографию, публикуемую в конце книги. Однако критерии, применяемые исследователем в работе, хотя и основаны на этих двух типах классификации, носят далеко не столь четкий характер. В выстраиваемой историком иерархии источников наибольший вес имеют те, что возникли напрямую из повседневной деловой или общественной деятельности, оставляя простор для истолкования. В любой относительно недавний период люди пытались понять свое время, уловить суть происходящего при помощи книг, брошюр и газет. Их содержание помогает проникнуть в духовную жизнь эпохи, но для историка они не могут заменить непосредственные, повседневные свидетельства о мыслях и действиях людей, которые дает знакомство с письмами,

дневниками и служебными записками; именно они представляют собой *непревзойденные* «анналы» прошлого. Историки стремятся в максимальной степени стать «непосредственными наблюдателями» интересующих их событий; они не желают оставаться заложниками рассказчиков или комментаторов. Лучше всего действительность освещает источник, не предназначенный для будущих читателей. Марк Блок назвал их «невольными очевидцами»<sup>1</sup>; они завораживают, как подслушанный разговор.

## II

Начнем, однако, с источников, написанных в расчете на будущее. Они, пожалуй, наиболее доступны, так как об их сохранении больше всего заботились. Часто они обладают литературными достоинствами и читаются с удовольствием. Они содержат готовую хронологию, осмысленный отбор событий, в них сильно ощущается атмосфера эпохи. Главный недостаток таких источников: они рассказывают лишь о том, что люди того времени считали достойным упоминания, а сегодня нас может интересовать совсем другое. До «ранкеанской революции» XIX в. историки зачастую полагались именно на такие первоисточники. По римской истории они обращались к Цезарю, Тациту и Светонию, а медиевисты использовали Англосаксонскую хронику и труды летописцев вроде Матвея Парижского в XIII в. или Жана Фруассара в XIV в. Да и современные историки не пренебрегают такими нарративными источниками. Своим непреходящим значением они обязаны тому, что относятся к периодам, от которых до нас дошел лишь ограниченный объем архивных источников. В средние века большинство ранних хроник были написаны монахами, которые вели затворнический образ жизни, но с XII в. среди них становилось все больше представителей белого духовенства, служивших королю на ответственных постах и способных описывать события политической истории изнутри. Геральд Валлийский был королевским капелланом, он познакомился с Генрихом II в 1180-х гг., в конце правления последнего. Нижеследующий отрывок хорошо передает неумную энергию одного из самых выдающихся английских королей:

«Генрих II, король Англии, был мужчиной с красным, веснушчатым лицом, большой круглой головой, серыми глазами, в гневе яростно сверкавшими и наливавшимися кровью, пылким нравом и резким, скрипучим голосом. Его шея была слегка вытянута вперед, грудь широкая и квадратная, руки сильные и могучие. Сложение он имел плотное, с явной склонностью

---

<sup>1</sup> Marc Bloch, *The Historian's Craft*, Manchester University Press, 1954, p.61.

к полноте, скорее от природы, нежели из-за излишеств, которые смирял упражнениями...

Во времена войн, которые часто угрожали нам, он едва ли давал себе хоть малейшую передышку, чтобы заняться оставшимися делами, но и в мирное время не позволял себе ни покоя, ни отдыха. Заядлый охотник, он с первым лучом солнца уже был в седле, пересекая пустоши, продираясь сквозь чащи и взбираясь на горные вершины, проводя без передышки так целые дни. Вечером по возвращении его редко можно было увидеть сидящим ни до, ни после обеда. После столь великих и утомительных усилий он еще мог вымотать весь двор, постоянно оставаясь на ногах»<sup>1</sup>.

Автобиография – это, в сущности, современный вариант хроники, причем на авансцену выводится личность самого автора. Изобретенный предусмотрительными итальянцами эпохи Возрождения<sup>2</sup>, этот жанр полюбили артисты, писатели, и, пожалуй, больше всего политики. Очарование ему придает тот факт, что это воспоминания посвященных. Часто такие мемуары являются единственным доступным описанием событий «из первых рук», ведь во всех странах документы государственных архивов, относящиеся к недавнему периоду, закрыты для публики (см. ниже, с. 77); в Британии бывшим членам кабинета министров при написании мемуаров разрешается знакомиться с официальными бумагами за период их пребывания у власти, но не позволено их цитировать. Но цель автора состоит не столько в объективном изложении, сколько в оправдании своих действий задним числом и стремлении представить «свидетельства защиты» перед судом истории. Автобиографии могут очень полно раскрывать менталитет и взгляды автора, но как рассказ о происшедшем они часто изобилуют неточностями и пробелами на грани искажения фактов. Исследователь, занимающийся Суэцким кризисом 1956 г., окажется в незавидном положении, если его единственным источником будет третий том мемуаров сэра Энтони Идена («Завершая цикл», 1960).

В XVIII в. термин «мемуары» понимали иначе: он относился к личной хронике, написанной действующим участником событий и предназначенной для опубликования лишь после – иногда намного позже – его смерти; целью мемуаров было желание рассказать о фактах и мнениях, обнаружить которые немедленно казалось неблагоприятным или опасным делом, а потому они читаются куда увлекательнее, чем политические автобиографии, как правило, изложенные осторожно и уклончиво. Мастером этого жанра был герцог Сен-Симон,

<sup>1</sup> Отрывок из: Gerald of Wales, *Expugnatio Hibernica*, переведен с латыни в: D.C.Douglas and G.W.Greenaway (eds.) *English Historical Documents, 1042-1189*, Eyre & Spottiswoode, 1953, p.386.

<sup>2</sup> Наилучшим примером здесь является автобиография Папы Пия II, написанная в 1460-х гг. См.: Leona C. Gabel (ed.), *Memoirs of a Renaissance Pope: the Commentaries of Pius II*, Allen & Unwin, 1960.

чьей целью было оставить, по удачному выражению, «отчет с позиции меньшинства или несогласного»<sup>1</sup> о Версальском дворе времен Людовика XIV и Людовика XV; его «Мемуары», написанные великолепной прозой, охватывают периоде 1691 по 1723 г. В Англии его ближайшим соперником на этом поприще был лорд Гервей, фаворит супруги Георга II королевы Каролины, с едким сарказмом описавший дворцовые интриги с 1727 по 1737 г.<sup>2</sup>

В то же время было бы ошибкой считать опубликованные мемуары привилегией высших классов. В Британии к середине XIX в. они стали признанным средством самовыражения и для владевших грамотой мастеровых. Как показал Дэвид Винсент, автобиографии писались, чтобы передать человечность простого труженика (реже труженицы), а также опровергнуть распространенные заблуждения о жизни рабочего класса. Гордость и негодование сквозят в первых строчках автобиографии радикала Томаса Харди, опубликованной в 1832 г.:

«Поскольку всякий человек, чьи действия, неважно по какой причине, получили известность, уверен, что они во многом будут неверно истолкованы, такой человек имеет несомненное право, нет, это становится его долгом, оставить вечности правдивый рассказ о подлинных мотивах, повлиявших на его поведение. Предлагаемые мемуары, таким образом, не требуют ни от кого извинения, и не служат таковым»<sup>3</sup>.

Только за период с 1790 по 1850 г. до нас дошло более 140 таких трудов.

Хроники и мемуары, написанные для будущих поколений, представляют собой, конечно, лишь малую часть того, что публикуется в конкретный период. Большинство публикаций издаются без особой оглядки на вечность; их целью скорее является информировать, влиять, вводить в заблуждение или развлекать современников. Изобретение книгопечатания в XV в. в огромной мере облегчило распространение таких произведений, а рост грамотности среди обывателей увеличил спрос на них. Власти быстро воспользовались преимуществами этой «коммуникационной революции», и к началу XIX в. политические заявления, пропаганда, обзоры и данные о торговле, доходах и расходах потоком хлынули из государственных типографий. В Британии, наверное, самыми впечатляющими публикациями такого рода были данные о переписях населения, издававшиеся раз в десять лет начиная с 1801 г., и доклады королевских комиссий, создававшихся с 1830-х гг. для сбора сведений и выработки рекомендаций по важнейшим

<sup>1</sup> Д.У.Броган в предисловии к: Lucy Norton (ed.) *Historical Memoirs of the Duc de Saint-Simon*, Vol.I, Hamish Hamilton, 1967, p.xix.

<sup>2</sup> Romney Sedgwick (ed.), *Lord Hervey's Memoirs*, William Kimber, 1952.

<sup>3</sup> Цит. по: David Vincent, *Bread, Knowledge and Freedom: a Study of Nineteenth-Century Working Class Autobiography*, Methuen, 1981, p.26.

социальным проблемам, таким, как здравоохранение и условия труда. Другим официальным изданием, представляющим огромный интерес, являются материалы парламентских заседаний. В 1812 г. Томас Хансард по собственной инициативе начал публикацию дебатов в обеих палатах (хотя такие попытки делались и до него). Издание обрело свой нынешний вид в 1909 г., когда правительство в лице Издательства Его Величества взяло дело в свои руки; стенографическая, буквальная публикация выступлений стала правилом. Лишь немногие другие источники дают столь же полное представление о публичной стороне политической жизни.

Но самым важным из опубликованных первоисточников для историка является пресса, которая в Британии существует с начала XVIII в. – первая ежедневная газета была основана в 1702 г. Газеты представляют ценность по трем причинам. Во-первых, они отражают политические и социальные идеи, имевшие в свое время наибольшее влияние; ведь вначале газеты, возникшие на основе развитой традиции памфлетов периода Гражданской войны и Содружества (1642-1660), состояли в основном – и именно этим памятны сейчас – из блестящих полемических статей Аддисона, Стила и Свифта. И в наши дни передовицы и рубрики писем в крупнейших ежедневных газетах Лондона дают наилучшее представление о взглядах истеблишмента в данный момент – конечно, с учетом необходимых поправок на тенденциозность каждой из них. Во-вторых, газеты ежедневно фиксируют происходящие события. В XIX в. эта их функция стала выполняться гораздо полнее, особенно с изобретением в 1850-х гг. электрического телеграфа, позволившего газете получать статьи журналистов сразу после написания, как бы далеко они ни находились. У.Х.Рассел из «Таймс» одним из первых использовал преимущества нового средства связи. Его знаменитые корреспонденции с театра военных действий в Крыму в 1854-1856 гг. с шокирующими подробностями царящего в британских войсках беспорядка оказали немалое влияние на общественное мнение в стране и по сей день остаются захватывающим чтением<sup>1</sup>. Как источник информации газеты, скорее всего, приобретут в будущем еще большую ценность для историков. Ведь несмотря на растущий объем государственных и корпоративных архивов, важные решения все чаще передаются по телефону, а не в письменной форме, и данные, полученные журналистами неофициальным путем, могут оказаться единственным современным письменным свидетельством о том, что решение имело место. Наконец, время от времени газеты публикуют результаты тщательных расследований, выходящих за рамки ежедневных новостей. Основателем этой традиции

---

<sup>1</sup> См.: Kellow Chesney, *Crimean War Reader*, Severn House, 1975.

стал Генри Мэйхью, нищий писатель, получивший временную работу в «Морнинг кроникл» в 1849-1850 гг. В качестве «специального столичного корреспондента» он написал серию статей о социальном положении лондонской бедноты после крупной эпидемии холеры в 1849 г., которые в дальнейшем легли в основу его книги «Лондонские трудящиеся и лондонская беднота» (1851). Лишь немногие позднейшие журналистские расследования могут сравниться с работой Мэйхью по своей тщательности и степени воздействия на современников<sup>1</sup>. Есть еще один вид источников, рассчитанный на современников (впрочем, зачастую и на потомков), который историки должны иметь в виду, хотя это особый случай: речь идет о художественной литературе. Романы и пьесы, конечно, нельзя использовать для получения фактических данных, каким бы существенным ни был в них элемент автобиографии или социальных наблюдений. И уж конечно, исторические романы (или исторические пьесы Шекспира, например) не представляют научной ценности в отношении описываемого периода. Но художественная литература позволяет проникнуть в интеллектуальную и социальную среду, в которой жил автор, а зачастую содержит и яркие описания его окружения. Успех автора часто связан с умением выразить чаяния и заботы его литературных современников. Поэтому вполне допустимо цитировать Чосера как выразителя отношения обывателя XIV в. к злоупотреблениям церкви или Диккенса – как свидетеля об умонастроениях викторианского среднего класса по вопросу о «положении Англии».

### III

Поскольку газеты, официальные публикации и парламентские речи учитывают прежде всего возможное воздействие на современников, историки придают им больший вес, чем хроникам и мемуарам, предназначенным для потомков. Однако сам факт публикации ограничивает ценность всех подобных источников. Они содержат лишь то, что считалось подходящим для всеобщего внимания, то, что правительства готовы обнародовать, журналисты – почерпнуть от скрытных информаторов, то, что, по мнению редакторов, должно понравиться читателям, а по мнению парламентариев – избирателям. В каждом из этих случаев присутствует основополагающая задача, способная ограничить, исказить или сфальсифицировать сказанное. Историк, стремящийся, по выражению Ранке, «показать, как все происходило на самом деле» (см. выше с.17), не может ограничиться

---

<sup>1</sup> E.P.Thompson and Eileen Yeo (eds.), *The Unknown Mayhew: Selections from the Morning Chronicle, 1849-50*, Penguin, 1973.



опубликованными источниками, и именно поэтому величайшие прорывы в современной исторической науке основывались на работе с «архивными материалами» – конфиденциальными документами, такими, как письма, служебные записи и дневники. Именно в них люди фиксируют свои решения, несогласие, а порой и потаенные мысли, не думая о том, что в будущем их прочтут историки. Постоянно ученые убеждались, что тщательное исследование архивных источников рисует совсем иную картину, чем уверенные обобщения наблюдателей-современников. Английский писатель-медик XIX в. Уильям Эктон заявил, что респектабельные женщины не испытывают абсолютно никаких сексуальных чувств, и его точка зрения часто приводилась в качестве доказательства угнетения женщин в викторианскую эпоху; лишь после изучения дневников и переписки супругов стало очевидным наличие широкого спектра сексуальных эмоций у замужних женщин<sup>1</sup>. Идет ли речь о побудительных мотивах участников Гражданской войны в Англии, влиянии промышленного переворота на уровень жизни или масштабах трансатлантической работорговли, ничто не заменит трудоемкого сбора данных из архивных источников за рассматриваемый период.

В большинстве стран основной массив неопубликованных архивных документов принадлежит государству, и со времен Ранке государственным архивам уделялось больше внимания, чем любым другим источникам. На Западе древнейшие из сохранившихся архивов сформировались в XII в., когда организация государственного аппарата по всей Европе существенно усложнилась. В Англии архивные записи о государственных доходах – «Свитки Казначейства» – велись непрерывно с 1155 г., а архивы королевских судов (Суда королевской скамьи и Суда обычных тяжб) – с 1194 г. Начало систематического архивохраниения датируется точно – 1199 г. В этом году Хьюберт Уолтер, канцлер короля Иоанна Безземельного, ввел практику копирования на пергаментных свитках всех наиболее важных писем, отправленных канцелярией от имени короля. Даже после появления других учреждений в XIII и XIV вв. канцелярия оставалась «нервным центром» королевской администрации, и ее свитки являются самым важным архивным источником по английскому средневековью.

В 1450-1550 гг. средневековую систему сменил более бюрократизированный административный аппарат во главе с Тайным советом. Самым могущественным чиновником и этой структуре являлся королевский секретарь (позднее названный государственным секретарем),

---

<sup>1</sup> Peter Gay; *The Bourgeois Experience: Victoria to Freud*, Vol. II, *The Tender Passion*, Oxford University Press, 1986; John Tosh, *A Man's Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England*, Yale University Press, 1999, ch.3.

и начиная с царствования Генриха VIII его архив, известный как Государственные бумаги, становится самым богатым источником по вопросам политики и деятельности правительства. В отличие от архивов канцелярии Государственные бумаги, по выражению Гэлбрейта, – «это не рутинная продукция учреждения, а личная и разнообразная переписка чиновника, чьи обязанности не знали фиксированных границ... Завеса, скрывавшая от нас в средние века характер и личность, теперь сорвана»<sup>1</sup>.

В Государственных бумагах за 1536 г. сохранилось следующее письмо к одному злосчастному священнику из Лейстершира с требованием явиться на допрос (возможно, в связи с изменой), написанное явно в угрожающем тоне:

«Обращаюсь к тебе. Внемли желанию Короля, и по его приказу, без всяких отговорок и промедлений, должен ты немедленно по прочтении сего явиться ко мне, где бы мне ни случилось находиться, по делу, о коем узнаешь по прибытии. Исполни без ослушания, ибо рискуешь за оное ответить. Из Свитков, июля восьмого дня. Томас Крамвель (*так в тексте*)»<sup>2</sup>.

Эта категория документов получала все большее распространение в последующие столетия, по мере того как новые госсекретари назначались руководить новыми министерствами, создаваемыми для обеспечения расширяющихся функций управления. К XIX в. каждое министерство имело архив, куда систематически поступали полученные письма и бумаги, копии исходящих писем и записки, циркулировавшие внутри министерства. На вершине этой сложной бюрократической пирамиды находился кабинет министров. В первые двести лет его существования обсуждения шли «без протокола», но с 1916 г. секретариат кабинета ведет стенограммы еженедельных заседаний правительства и готовит материалы к ним.

Другим аспектом расширения госаппарата при Тюдорах стала реформа дипломатической службы – внешнеполитическая деятельность теперь осуществлялась через послов-резидентов, постоянно находящихся в стране пребывания. Впервые эту систему внедрили итальянские государства в 1480-1490-х гг., их примеру вскоре последовали другие страны, в том числе и Англия, создавшая к 1520-м гг. сеть дипломатических представительств за рубежом. С самого начала главной обязанностью послов стали регулярные доклады из мест нахождения, хотя далеко не все из них были столь усердны как венецианский посол в Риме, отправивший за 12 месяцев 1503-1504 гг. 472

<sup>1</sup> V.H.Galbraith, *An Introduction to the Use of Public Records*, Oxford University Press, 1934, pp.54-55.

<sup>2</sup> Томас Крамвель – Джону Хардингу, 8 июля 1536 г., цит. по: G.R.Elton, *Policy and Police*, Cambridge University Press, 1972, pp.342-343.

донесения<sup>1</sup>. Эти донесения не только документируют внешнеполитическую деятельность «своего» правительства полнее, чем когда-либо раньше; они содержат также оценки дипломатами обстановки в стране и при дворе, где они были аккредитованы. Ранке активно использовал их в качестве источника как по дипломатической, так и политической истории, а многие историки специализировались исключительно на дипломатических документах. К концу XIX в. – периоду, который часто называют «золотым веком» дипломатической истории – документальные материалы приобрели такую полноту, что историк может реконструировать весь процесс осуществления конкретной внешнеполитической инициативы от первоначального предложения, сформулированного министерским чиновником, до окончательного отчета о переговорах.

Еще две категории архивных источников имеют столь же официальный характер, как и материалы центрального правительства. Во-первых, это церковные документы. В средние века церковь обладала такой же, если не большей, властью, что и государство, и в большинстве европейских стран многие ее полномочия в светских делах сохранились до начала XIX в. История церкви с достаточной полнотой освещается огромным количеством ее собственных документов, доступных теперь исследователям, причем многие из них практически нетронуты. Королевские хартии о пожаловании церкви земли и привилегий сохранились начиная с раннего средневековья, а объемистые архивы служат документальным свидетельством деятельности епископальной и монастырской администрации. Материалы церковных судов представляют больший интерес, чем может показаться на первый взгляд, ведь под их юрисдикцию попадали многие проступки простых людей, связанные с нарушением норм нравственности. В Англии XVI – начала XVII вв., например, когда позициям церкви стали угрожать пуританские секты, она предприняла немалые усилия с целью дисциплинировать паству посредством церковных судов, и потому архивы этих судов являются важным источником для специалистов по социальной истории, особенно в части, касающейся проступков и наветов на сексуальной почве<sup>2</sup>. Кроме того, юрисдикция церковных судов распространялась на вопросы завещаний, и это положение сохранялось до 1858 г.; со времен Елизаветы I эти суды настаивали на составлении детальных описей всего движимого имущества, которые многое могут поведать нынешнему историку о благосостоянии, статусе и уровне жизни различных слоев населения.

---

<sup>1</sup> Garrett Mattingly, *Renaissance Diplomacy*, Cape, 1962, pp.110, 306.

<sup>2</sup> См., например: Laura Cowing, *Domestic Dangers: Women's Words and Sex in Early Modern London*, Oxford University Press, 1996.

Во-вторых, существуют архивы местных органов управления. В XIII в. в Англии владельцы поместий последовали примеру короля и завели архивы – прежде всего для хранения юридических документов, ведь по закону они обладали властью над своими арендаторами и слугами. В результате мы имеем относительно полные документальные данные об изменениях в системе землевладения, как с точки зрения богачей, так и бедняков. В XIV в. короной были назначены первые мировые судьи, а при Тюдорах на них нагружали все новые и новые обязанности по таким разнообразным вопросам, как полицейский надзор, помощь бедным, регулирование жалования и вербовка рекрутов для армии. Многие из этих функций осуществлялись в ходе ежеквартальных сессий, проводившихся раз в три месяца в каждом округе, протоколы которых вел секретарь. Мировые суды оставались основой местного управления в Англии вплоть до учреждения современной системы окружных и городских советов в XIX в. До этого времени большой объем в местных архивах занимают юридические документы: одни и те же лица – помещики и мировые судьи – выполняли часто как юридические, так и административные функции. Из всех государственных архивов текущие материалы судов, порой связанные с тривиальными спорами и проступками, проливают больше всего света на жизнь широких слоев общества за пределами узкого мирка правительственных чиновников.

В западном обществе церковь и государство являются старейшими архивохранилищами. Но начиная с XV в. историк наряду с ними может использовать постоянно растущий массив документов, создаваемых частными корпорациями и ассоциациями – гильдиями, университетами, профсоюзами, политическими партиями и группами давления. За период до XIX в. в наибольшем количестве сохранились хозяйственные архивы землевладельческих фамилий – юридические акты, бухгалтерские книги, карты и деловая переписка – неоценимый материал для специалиста по аграрной истории. Еще один источник из этой категории привлек большое внимание, особенно исследователей промышленной революции, – архивы фирм и корпораций. К примеру, бумаги текстильного фабриканта из Стокпорта Сэмюэла Олдноу были обнаружены совершенно случайно в 1921 г. в помещении заброшенной мануфактуры. Они охватывают период с 1782 по 1812 г. и являются ярким документальным свидетельством перехода от домашнего производства к фабричному<sup>1</sup>. Многие компании сохраняют кассовые книги, описи и гроссбухи того же времени или даже за более ранний период; как пишет один исследователь английской пивоваренной промышленности:

---

<sup>1</sup> George Unwin, *Samuel Oldknow and the Arkwrights*, Manchester University Press, 1924.

«Семейные династии в этой отрасли были столь сильны, что в большинстве случаев я работал с письмами и счетами предков нынешних владельцев или управляющих концернами, читая их документы в том же самом месте, где они варили пиво еще в XVIII в.»<sup>1</sup>.

В документах, которые он смотрел, встречались такие известные фамилии, как Уитбрэд, Чаррингтон и Трумэн.

#### IV

Как правило, больше всего свидетельств остается об *организованной* деятельности, особенно осуществляемой учреждениями, чье существование продолжается дольше, чем служебная карьера отдельных лиц, работающих там в какой-то конкретный период – будь то сфера управления, церкви или бизнеса. На протяжении известной нам истории большинство сохранившихся текстов появились в ходе профессиональной или административной деятельности людей. Тем не менее, сохранился и огромный массив письменных материалов частного характера, не связанных с делопроизводством или с бухгалтерией. Среди них значительное место занимают личные письма. Одним из наиболее ранних примеров, относящихся к XIV в., является переписка между удачливым купцом из г. Прато (в Тоскане, центре суконного производства) и его женой. В течение 18 лет (1382-1400) дела удерживали Франческо Датини вдали от дома, во Флоренции и Пизе, и дважды в неделю он писал Маргарите, а она почти так же часто отвечала ему. По указанию Датини большинство этих писем, наряду с его обширной деловой перепиской, сохранялись после его смерти в его доме в Прато. В результате появилась уникальная хроника средневековой семьи. Отрывок из письма, написанного Маргаритой в 1389 г., в какой-то степени передает напряжение в отношениях супругов, вызванное частыми разлуками:

«Что до того, что тебя не будет здесь до четверга, поступай как хочешь, ведь ты наш хозяин – прекрасное положение, но пользоваться им надо благоразумно... Я же склонна жить вместе, как велел Господь... и в этом я права, и криком ты ничего не изменишь.

Думается мне, незачем посылать мне весточку каждую среду о том, что будешь здесь в воскресенье, ведь верно каждую пятницу ты в том раскаиваешься. Довольно будет сказать мне в субботу, чтоб я купила больше продуктов на рынке, тогда по крайней мере по воскресеньям у нас всего будет в достатке»<sup>2</sup>.

Ни один другой источник не отражает столь жизненно семейные и социальные отношения между людьми прошлого. Без частной

<sup>1</sup> Peter Matthias, *The Brewing Industry in England, 1700-1830*, Cambridge University Press, 1959, p.xii.

<sup>2</sup> Мона Маргарита – Франческо ли Марко Датини, 29 августа 1389 г., цит. по переводу в: Iris Origo, *The Merchant of Prato*, Cape, 1957, p.166.

переписки биографу пришлось бы довольствоваться общественной или деловой жизнью героя – чем обычно и ограничиваются средневековые биографии. Одна из главных причин, почему мы имеем относительно полное представление о частной жизни в викторианскую эпоху, состоит в том, что эффективная и быстрая почтовая служба позволяла людям вести обширную переписку – женщина из высших слоев общества, оказавшаяся после замужества вдали от родных, могла отправлять им более четырехсот писем в год<sup>1</sup>. Эта практика бытовала вплоть до распространения телефона после первой мировой войны. Но частные письма являются важным источником и по политической истории. Дело в том, что государственные документы касаются скорее принятия и выполнения решений, чем мотивов людей, принимавших их. Частная переписка общественных деятелей раскрывает многие факты, на которые официальные документы в лучшем случае намекают. Именно 522 тома бумаг герцога Ньюкаслского (дополняемые рядом других частных собраний), а не Государственные бумаги или протоколы дебатов в палате общин легли в основу классических исследований Нэмира о выборных и парламентских технологиях середины XVIII в.<sup>2</sup> В XIX – начале XX в. частная переписка достигла своего расцвета: люди, тесно связанные общественной деятельностью, писали друг другу ежедневно. Немалая часть этой переписки проходила, минуя официальные каналы и предназначалась лишь для глаз адресата. Некоторые политики доверяли многое друзьям, не занимавшим никакого официального положения. Так, находясь на посту премьер-министра, Г.Г.Асквит в течение трех лет (1912-1915) один-два раза в день писал молодой даме по имени Венеция Стэнли. В этих письмах он откровенно делился всеми своими тревогами и выражал разочарования, связанные с политикой (наряду с другими не столь значительными мыслями), будучи уверен, что никто другой о них не узнает. Вот какую характеристику Уинстону Черчиллю, в то время 1-му лорду Адмиралтейства, он дает в марте 1915 г.:

«Вам известно, что я, как и вы, его по-настоящему люблю; но его будущее внушает мне большие опасения... Он никогда не достигнет вершины английской политики, при всех его удивительных талантах; способность говорить языком людей и ангелов и трудиться в министерстве дни и ночи напролет бесполезна, если человек не внушает доверия»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Pat Jalland, *Women, Marriage and Politics, 1860-1914*, Oxford University Press, 1988, pp.3-4.

<sup>2</sup> L.B.Namier, *the Structure of Politics at the Accession of George III*, Macmillan, 1929, и его же: *England in the Age of the American Revolution*, Macmillan, 1930.

<sup>3</sup> H.H.Asquith, *Letters to Venetia Stanley*, M. and E. Brock (eds.), Oxford University Press, 1982, p.508.

С частными письмами связана еще одна категория источников, пожалуй, еще больше раскрывающих характер и мысли человека, – это дневники. Привычка вести дневник появилась в XVI в., вскоре превратившись в распространенное литературное занятие образованных людей, особенно в Англии, давшей миру двух непревзойденных мастеров этого жанра – Джона Эвелина и Сэмюэла Пеписа. Автора дневника, в отличие от летописца, собственная субъективная реакция на происходящие вокруг события волнует не меньше, чем сами события. Причины, побуждающие человека уделять несколько часов в неделю ведению дневника отнюдь не случайны. Для писателей дневник – это способ удовлетворения потребности в наблюдении и анализе, свободном от ограничений, налагаемых формальными требованиями к роману, поэме или пьесе. О политиках порой говорят, что дневник для них – прежде всего заметки для памяти, которыми можно будет воспользоваться, когда придет время писать мемуары. Но для большинства из них эти соображения имеют второстепенное значение; главное – возможность выплеснуть на страницах дневника эмоции и снять напряжение, вызванное необходимостью все время быть на виду. Дневник, который вел Гладстон с 1825 по 1896 г. имеет почти исповедальный характер: записи ежедневных встреч и политические комментарии перемежаются монологами, полными болезненного самоанализа, неослабного стремления к душевной чистоте<sup>1</sup>. Историк, не прочитавший этого дневника, не имеет ни малейшего шанса понять личность этого политического гиганта викторианской эпохи. Для политика-лейбориста Хью Далтона дневник, похоже, служил психологической потребности, напрямую связанной с его политической деятельностью. Как объясняет Бен Пимлот, дневник, охватывающий период с 1916 по 1960 г., был одновременно и «выразителем идей», и предохранительным клапаном против присущего Далтону «сильнейшего инстинкта к политическому саморазрушению». Больше всего записей приходится на те моменты, когда Далтона охватывало чувство неприязни и раздражения в отношении ближайших политических соратников<sup>2</sup>.

Для специалиста по политической, истории XX в. письма и дневники представляют особую важность, несмотря на почти неохватный массив официальных архивов. В последние несколько десятков лет министры и государственные служащие менее откровенны в официальной переписке. В XIX в. подобная корреспонденция порой

---

<sup>1</sup> M.R.D.Foot and H.C.G.Matthew (eds.), *The Gladstone Diaries*, Oxford University Press, готовится к печати.

<sup>2</sup> Ben Pimlott, “Hugh Dalton’s Diaries”, *The Listener*, 17 July 1980. Отредактированный вариант дневников (в двух томах) был опубликован Лондонской школой экономики совместно с Джонатаном Кейпом в 1986 г.

публиковалась государством, например в «Синих книгах», представляемых министрами парламенту; но это, как правило, происходило незамедлительно, в насущных пропагандистских целях, и публикуемые донесения порой составлялись с учетом этой задачи. Однако в 1920-х гг. публикация подборок официальных документов приобрела несоразмерные масштабы – правительства пытались снять ответственность с себя и обвинить других в развязывании первой мировой войны, часто не думая о репутации конкретных чиновников, занимавших ответственные посты двадцать-тридцать лет назад. Министры и государственные служащие, особенно причастные к формированию внешнеполитического курса, стали куда сдержаннее в официальной переписке; а следовательно, особый интерес приобретают их частные письма друг другу и дневниковые записи. Не стоит забывать и о другом – многое из того, что политики *говорят*, находясь на государственной службе, не оставляет никаких следов в официальных документах. Чиновники, ведущие протоколы заседаний кабинета, уделяют внимание в первую очередь принятым решениям; эмоциональные политические аргументы, высказанные в ходе обсуждения и больше всего интересующие историков, в основном в них не фиксировались. Ричард Кроссмен, министр в правительстве Гарольда Вильсона в 1964-1970 гг., вел еженедельные дневниковые записи с целью, по его собственному выражению, в какой-то степени «осветить темные закоулки британской политики», среди которых важное место занимали и заседания кабинета<sup>1</sup>. Необычность дневника Кроссмена в том, что он чуть ли не с самого начала планировал опубликовать его через несколько лет; его можно сравнить с «мемуарами» в том смысле, как их понимали Сен-Симон и Гервей. Подавляющее же большинство доступных историку писем и дневников, напротив, не рассчитаны на широкий круг читателей. Из всех источников они являются самыми непосредственными и неприукрашенными, раскрывая как стратегические расчеты, так и подспудные мысли общественных деятелей.

## V

Из нашей оценки различных категорий источников ясно, что сохранению немалой части исторических документов способствовало множество факторов. Личные письма и дневники дошли до нас благодаря стремлению авторов к посмертной славе или сыновней почтительности потомков – а возможно, им просто было лень рыться в сундуках и шкафах. В случае государственных архивов причины выглядят

---

<sup>1</sup> Richard Crossman, *The Diaries of a Cabinet Minister*, vol.I, Hamish Hamilton and Cape, 1975, p.12.



яснее и убедительнее: они связаны с главной ролью, которую начиная с развитого средневековья играл письменный прецедент в юридических и административных делах. Проще говоря, правительство нуждалось в четкой документации о причитающихся ему налогах, сборах и услугах, а подданные короля как зеницу ока берегли доказательства предоставленных им ранее привилегий и послаблений. По мере того как королевская бюрократия разрасталась, приобретала громоздкость, чиновники все более нуждались в сведениях о том, что было сделано их предшественниками. Когда в XV в. дипломатическая практика приобрела официальный характер, министры получили возможность анализировать историю отношений своей страны с другими иностранными державами и получать информацию о ее правах и обязанностях по международным договорам. Эти же причины действуют и в отношении церкви, крупных торговых компаний и банкирских домов. Единственный способ для таких долговечных институтов не лишиться «памяти» – тщательное сохранение документов о прошлой деятельности.

Однако практическими соображениями дело не исчерпывается. Письменные документы – довольно хрупкий материал, они могут погибнуть от огня, воды и небрежного обращения, и тот факт, что они уцелели в таком количестве, требует своего объяснения. Для этого необходима преемственность власти и основ правопорядка. В большинстве стран Европы развитие цивилизации, обладающей письменностью, ни разу не прерывалось начиная с раннего средневековья. В Европе неравномерность в сохранении документов объясняется в основном частыми войнами и революционными потрясениями. Обилие уцелевших документов за период средневековья в Англии объясняется тем, что здесь и то и другое случалось редко. Рост исторического сознания также сыграл не последнюю роль в том, что многие документы, утратившие практическое значение, не уничтожались, а сохранялись. В этом отношении поворотным моментом стала эпоха Возрождения. Интерес к классической древности породил антикварный менталитет, понимание ценности любых реликвий прошлого. В связи с этим возникла археология, начали систематически сохранять рукописи и книги. Сочетанию этих факторов мы обязаны большому количеству документальных материалов по истории западного общества, в то время как письменное наследие других великих культур – Китая, Индии и мусульманского мира – не столь богато. Однако лишь сравнительно недавно выявление источников и получение доступа к ним стало относительно простым делом. Если бы не начавшаяся в середине XIX в. «эпоха исторических исследований» и растущее понимание политической необходимости сохранять «сырьевые материалы», нынешним

историкам пришлось бы куда труднее. Легче всего работать с опубликованными источниками. В Англии историк при помощи библиографов и каталогов имеет хорошие шансы найти то, что ему нужно, в одной из главных национальных библиотек, которые по предписанию парламента должны получать бесплатный экземпляр любой книги или брошюры, изданной в Соединенном Королевстве. Наиболее полным является собрание Британского музея {реорганизованное в 1973 г. в Британскую библиотеку), для которого это правило вступило в силу с 1757 г., а с 1840-х гг. оно соблюдается неукоснительно. А как же неопубликованные источники? С сохранением государственных и частных документов, многие из которых создавались без учета необходимости хранения и систематизации, дело обстоит куда сложнее.

В некоторых случаях эти проблемы частично решались за счет публикации. В XIX в., когда историческая ценность документов впервые получила всеобщее признание, усилий для этого не жалели. Образцом стала многотомная серия “*Monumenta Germaniae Historica*”, издание которой началось в 1826 г. при поддержке государства и под руководством лучших историков того времени. К 1860-м гг. большинство «сырьевых материалов» по истории германского средневековья было издано<sup>1</sup>. Этому примеру вскоре последовали другие страны, в том числе и Британия, где в 1858 г. было начато аналогичное издание «Серия свитков». Инициаторы этих проектов намеревались опубликовать все имеющиеся первоисточники. Даже в отношении средневекового периода это было нелегкой задачей; что же касается более поздних, обильно документированных периодов, сделать это было просто невозможно. Поэтому в конце XIX в. все больше внимания уделялось публикации «календарей» – подробных путеводителей по архивам. Календари, конечно, оказывают ученым огромную помощь, но лишь в отборе документов, относящихся к теме исследования; они не могут заменить изучения оригиналов. Так что историку никак не избежать долгого и порой утомительного чтения рукописей – первоисточников.

Во многих странах задача историка существенно облегчается наличием развитой архивной службы. Но такие службы возникли относительно недавно, и документы из далекого прошлого сохранились скорее благодаря удаче, чем целенаправленным усилиям. Многие архивные коллекции погибли во время стихийных бедствий: пожар в Уайтхолле в 1619 г. уничтожил многие документы Тайного совета, а в 1834 г. при пожаре в Вестминстерском дворце в огне погибла большая часть архива палаты общин. В других случаях документы уничтожались намеренно, по политическим мотивам: характерной чертой

---

<sup>1</sup> David Knowles, *Great Historical Enterprises*, Nelson, 1963, pp.65-97.

крестьянских восстаний, вспыхнувших во французской глубинке в июле 1789 г., стало сожжение поместных архивов, на основании которых крестьяне облагались тяжелыми поборами<sup>1</sup>. В Африке в 1960-х гг. колониальные чиновники, покидая страны, получившие независимость, порой уничтожали бумаги из опасения, что документы весьма деликатного свойства попадут в руки африканцев.

В Англии, как и по всей Европе, появление государственных архивов относится к XII в. Но вплоть до XIX в. каждое правительственное учреждение имело собственный архив. Они располагались по всему Лондону в самых различных зданиях, многие из которых были совершенно не приспособлены для хранения документов. В XVII-XVIII вв. документы Канцелярии держали в одном из помещений Тауэра, а прямо под ним складировали запасы пороха артиллерийского арсенала<sup>2</sup>. Другие хранилища были отданы на милость сырости и грызунов. Такая ситуация не только приводила в отчаяние участников судебных тяжб (и немногочисленных историков), пытающихся выявить прецеденты, но и ставила в неловкое положение само правительство: случалось, что самые тщательные поиски оригинала важного договора оканчивались неудачей<sup>3</sup>. Середина XIX в. стала периодом реформ в этой сфере, как и во многих других отраслях управления. В 1838 г. по постановлению парламента был создан Государственный архив, куда в последующие двадцать лет были переданы все основные категории правительственных документов. Без этой реорганизации гигантский прогресс в изучении истории английского средневековья – величайшее достижение британских ученых в конце XIX – начале XX в. – вряд ли был бы возможен. Сегодня Государственный архив Великобритании – крупнейший в мире (общая протяженность его стеллажей составляет более 80-ти миль), а его новое здание в Кью оснащено самым современным оборудованием. На протяжении XIX в. архивы большинства европейских стран были реорганизованы и открыты для исследователей. Подобный же процесс произошел в молодых государствах Азии и Африки, получивших независимость в 1940-70-х гг. Объединение документов колониальной администрации в рамках единого национального архива являлось одним из первых шагов по созданию документальной базы национальной истории.

---

<sup>1</sup> Georges Lefebvre, *The Great Fear of 1789*, New Left Books, 1973, pp.100-121.

<sup>2</sup> Elizabeth M. Hallam and Michael Roper, "The capital and the records of the nation: seven centuries of housing the public records in London", *The London Journal*, IV, 1978, pp.74-75.

<sup>3</sup> R.B.Wernham, "The public records in the sixteenth and seventeenth centuries", in Levi Fox (ed.), *English Historical Scholarship in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Oxford University Press, 1956, pp.21-22.

По мере того как в сфере интересов историков все больше попадала социально-экономическая проблематика (см. гл. 5), система хранения и организация местных архивов также подвергалась реорганизации. Это непростое дело не получило должного признания общественности. По законам, принятым в 1963 г., каждый округ в Англии и Уэльсе создает свой окружной архив, задачей которого является объединение различных категорий материалов местного значения – записей ежеквартальных сессий, приходских, городских и поместных архивов и т.д. Многие местные архивы были созданы по инициативе снизу еще до второй мировой войны, и их поиски, помимо полуофициальных документов, распространялись на архивы деловых компаний, крестьянских хозяйств и ассоциаций. На сегодняшний день собрания всех окружных архивов вместе взятые, несомненно, превышают объем документов Государственного архива. Профессиональные историки впервые получили практическую возможность заняться местными и региональными исследованиями.

Нигде, однако, историки не получили абсолютно свободного доступа к государственным архивам. Если бы им разрешили знакомиться с документами сразу по истечении срока их практической надобности, они бы получили доступ к материалам, созданным лишь несколько лет назад. Любое правительство независимо от политической окраски нуждается в определенной степени секретности, и все они стремятся истолковывать эту секретность в крайне жестком духе. Государственные служащие хотят быть уверенными, что их официальная деятельность не станет предметом публичных обсуждений в обозримом будущем. В Британии «период секретности» в отношении государственных архивов существенно варьировался в зависимости от происхождения документов, пока в 1958 г. не был установлен единый 50-летний срок. Еще через 9 лет, после энергичных требований историков, этот срок был сокращен до 30-ти лет. В 1970 г. этому примеру последовала Франция, но в некоторых странах, например в Италии, 50-летний срок остается в силе. Впрочем, все правительства без колебаний навечно закрывают доступ к документам, связанным с особо «чувствительными» моментами в истории – в Британии это, к примеру, Ирландский кризис 1916-1922 гг. и отречение Эдуарда VIII в 1936 г., во Франции – ряд вопросов, относящихся к периоду упадка Третьей республики в конце 1930-х гг. В США по Закону о свободе информации, принятому в 1975 г., доступ историков и всех желающих к архивам был существенно расширен, но в остальных странах сокращение периода секретности до 30-ти лет – максимально возможная степень либерализации. Конечно, это чревато серьезными последствиями для изучения современной истории. Здесь исследователи вынуждены полагаться на

опубликованные источники, мемуары и дневники больше, чем им хотелось бы.

Но как бы ни были неприятны эти ограничения, правительственные архивы по крайней мере централизованы и доступны. То же самое можно в целом сказать и о местных архивах. Но с документами, находящимися в частных руках, дело обстоит совершенно иначе. Они отличаются крайней разрозненностью, а условия доступа к ним варьируются – вплоть до самых извращенных форм. Если государство все-таки признает необходимость сохранения архивов, пусть на самом примитивном уровне, то семейные и деловые архивы по истечении их практической надобности часто оказываются в полном небрежении. В то же время историк, интересы которого связаны с официальными документами, не может позволить себе роскошь проигнорировать эти частные собрания. До 1916 г., когда секретариат кабинета установил строгие правила, министры и чиновники, уходя в отставку, имели привычку забирать с собой официальные бумаги; именно так начиная с XVI в. часть Государственных бумаг непрерывно уплывала в частные руки<sup>1</sup>. И по сей день большинство Государственных бумаг за период пребывания у власти сэра Роберта Сесила (1596-1612) находится в Хэтфилд Хаусе.

В большинстве европейских стран одной из функций созданных в XIX в. национальных библиотек было приобретение наиболее ценных частных рукописных коллекций. В Британии национальная библиотека существует со дня основания Британского музея в 1753 г. Из рукописных коллекций, хранящихся в музее изначально, наибольшую важность, с точки зрения историка, имеет собрание сэра Роберта Коттона, коллекционера и антиквара начала XVII в. Среди ее сокровищ находится огромное количество Государственных бумаг, один из вариантов «Англосаксонской хроники» и два из четырех уцелевших «образцов» Великой хартии (т.е. копий, относящихся к тому же времени, что и само соглашение, заключенное в 1215 г. между королем Иоанном и баронами). Сделанные с тех пор приобретения и дары превратили Британский музей в крупнейшее хранилище исторических рукописей в стране, если не считать Государственный архив. И тем не менее количество важных документов, не попавших в эти хранилища, не поддается исчислению. Многие частные коллекции были подарены или переданы на вечное хранение в публичные библиотеки или окружные архивы. Но значительная часть остается у частных лиц, компаний и ассоциаций. Более ста лет британская Комиссия по историческим рукописям содействует их сохранению в частных собраниях Великобритании и выявляет их местонахождение, но для историка,

---

<sup>1</sup> Ibid., pp.20-23.

имеющего вкус к детективной работе, здесь всегда найдется место. Несколько частных документальных коллекций, на которые опирался Нэмир в своих исследованиях политической жизни Британии в XVIII в., были обнаружены в ходе того, что он называл «погоней за бумагами по пересеченной местности»<sup>1</sup>.

Хуже всего дело обстоит с личными и текущими материалами, находящимися у обычных людей: бухгалтерскими книгами мелких фирм, книгами для записей в местных клубах, ежедневной личной перепиской и тому подобным. Ни местные архивы, ни Комиссия по историческим рукописям не забрасывают свой невод столь глубоко, а ведь сохранение повседневной документации представляет важность, если историки все-таки намерены выполнить свое обещание изучать не только верхушку, но и массы. Их сбор является задачей специалистов в любых областях «локальной истории», но она редко выполняется с должной энергией. Поскольку люди обычно не сознают, что у них в руках находится потенциально важный исторический материал, историку не следует ждать, пока ему принесут документы; он должен развернуть агитацию и в своих поисках опираться только на себя. В 1975 г. Подразделение по исследованию истории Манчестера при Манчестерском Политехническом университете развернуло смелую программу сбора архивных документов. Соответствующие призывы появились в местных газетах и на радио, был назначен ответственный за «полевые исследования», который обращался к потенциальным владельцам бумаг и обходил дом за домом в некоторых кварталах: результат получился впечатляющий<sup>2</sup>.

Можно предположить, что между архивистами и историками существует четкое разделение труда – первые выявляют материалы, вторые их используют. Но приведенные примеры показывают, что на практике историк не может полагаться на других в деле поиска документов. А значит, первым шагом в любой программе исторических исследований является установление круга имеющихся источников во всей полноте. Даже на этой ранней стадии от ученого требуется немалое упорство и изобретательность.

---

<sup>1</sup> Julia Namier, *Lewis Namier: a Biography*, Oxford University Press, 1971, p.282.

<sup>2</sup> Andrey Linkman and Bill Williams, "Recovering the people's past: the archive rescue programme of Manchester Studies", *History Workshop Journal*, VIII, 1979, pp.111-126.

## Глава 4

### Работа с источниками

Если задачей историка считать интерпретацию прошлого на основе сохранившихся материалов, то проблема использования громадного и разнообразного объема документальных источников, описанных в предыдущей главе, просто обескураживает. Кто может надеяться стать знатоком хотя бы одной страны, даже ограниченного периода ее истории, если попытка достичь синтеза требует такого объема предварительных изысканий? Если под словом «знаток» мы подразумеваем овладение всей совокупностью источников, ответ будет простым – надеяться на это может только специалист по далеким эпохам, оставившим после себя мало документальных свидетельств. К примеру, прилежный и преданный своему делу исследователь в состоянии овладеть всеми сохранившимися письменными материалами по ранненорманнскому периоду английской истории. Неумолимое время резко ограничило их количество, а уцелевшие тексты – особенно архивные источники – зачастую изложены сжато, скупым языком. Однако в отношении любого позднейшего периода подобная задача становится недостижимым идеалом. Начиная с периода зрелого средневековья все больше сведений переносится на бумагу или пергамент, а их шансы сохраниться до сегодняшнего дня все время возрастали. С начала XX в. объем документов растет с головокружительной скоростью. С 1913 по 1938 г. количество донесений и прочих бумаг, ежегодно поступающих в британский Форин Офис<sup>1</sup>, увеличилось с примерно 68 тыс.

---

<sup>1</sup> Министерство иностранных дел.

до 224 тыс.<sup>1</sup> Общая протяженность стеллажей для размещения ежегодных поступлений в Государственный архив Великобритании составляет сейчас около одной мили<sup>2</sup>. С чего же должен начать историк при таком обилии документальных материалов?

## I

В итоге, количество принципов, определяющих направление собственно исторического исследования, сводятся к двум основным. В соответствии с первым из них, историк берет один источник или группу источников, связанных с общей сферой его интересов – скажем, архивы двора определенного монарха или конкретный объем дипломатической корреспонденции, – и извлекает оттуда все ценное, позволяя содержанию источника определять характер исследования. Вспоминая свое первое знакомство с архивами периода Французской революции, Ричард Кобб описывает удовольствие, которое доставляет подобный источниковедческий подход:

«Я все больше наслаждался увлекательным процессом исследования и обнаружения материала как такового, порой даже по вопросам, не относящимся к основным целям исследования. Я позволял себе отвлекаться на неожиданные направления, случайно обнаружив какое-нибудь объемистое досье – будь то любовные письма человека, погибшего на гильотине, или перехваченная корреспонденция из Лондона, бухгалтерские книги и товарные образцы коммивояжера – торговца хлопком, или судьба английской колонии в Париже, рассказы очевидцев о «сентябрьской бойне» или о каком-нибудь рауте»<sup>3</sup>.

Второй подход – проблемный – является полной противоположностью первому. Сначала формулируется конкретная тема исследования, обычно на основе изучения вторичных источников, а затем анализируются относящиеся к ней первоисточники; информация, которую они содержат по другим вопросам, игнорируется – исследователь по возможности продвигается в заданном направлении, пока не оказывается в состоянии прийти к определенным выводам. Оба метода связаны с известными трудностями. Результатом источниковедческого подхода, при всей его целесообразности применительно к вновь обнаруженному источнику, может стать лишь бессвязный и запутанный набор разнообразных сведений. Проблемный подход на

<sup>1</sup> Anthony P. Adamthwaite, *The Making of the Second World War*, Allen & Unwin, 1977, p.20.

<sup>2</sup> Elizabeth M. Hallan and Michael Roper, “The capital and the records of the nation: seven centuries of housing the public records in London”, *The London Journal*, IV, 1978, p.91.

<sup>3</sup> Richard Cobb, *A Second Identity: Essays on France and French History*, Oxford University Press, 1969, p.15.



первый взгляд кажется наиболее здравым и, возможно, отвечает представлениям большинства людей о том, какими должны быть научные исследования. Но зачастую бывает трудно заранее определить, какие источники действительно относятся к данной теме. Как мы увидим позднее, наименее вероятные источники порой оказываются самыми ценными, а пользуясь наиболее очевидными источниками, историк рискует попасть под их влияние, отождествляя себя с интересами создавшей их организации. Более того, источники даже по самой узкой теме из истории Запада XIX или XX в. с самыми узкими временными рамками столь многочисленны, что их дальнейший отбор становится почти неизбежным, а это связано с риском упустить ценные сведения.

На практике каждый из двух подходов обычно не исключает другого, но соотношение между ними может существенно варьироваться. Некоторые историки начинают свою деятельность с узко сформулированной темы, основанной на ограниченном наборе источников; другие «набрасываются» на крупный архив при минимуме предварительных ориентиров. Первый подход в целом более распространен из-за необходимости добиться быстрых результатов, связанной с получением докторской степени – формальным экзаменом на профпригодность, через который проходит большинство ученых-историков. Значительная часть исследований, – возможно, даже преобладающая – связана не с поисками новых источников, а с обращением к хорошо известным материалам под другим углом зрения. Но слишком целеустремленный интерес к узкому кругу вопросов может привести к тому, что полученные сведения будут вырваны из контекста и неправильно истолкованы – к «добыванию источников», по выражению одного критика<sup>1</sup>. Поэтому представляется крайне важным, чтобы отношения между исследователем и источником строились по принципу взаимных уступок. Многим историкам случалось начинать работу, сформулировав один набор вопросов и обнаруживая затем, что источники, которые, по их мнению, должны были дать на них ответ, направляют их исследования в совершенно иное русло. Эммануэль Леруа Ладюри первоначально обратился к регистрам земельных налогов сельских районов Лангедока, намереваясь проследить по документам процесс зарождения капитализма в регионе, но вместо этого пришел к изучению его социальной структуры в самом широком плане, в особенности результатов демографических изменений:

«Меня постигла классическая неудача; я хотел овладеть источником для подтверждения моих юношеских убеждений, но в конечном счете источник

---

<sup>1</sup> J.N.Hexter, *On Historians*, Allen Lane, 1979, p.241. Этот ярлык был без всякого основания навешен на Кристофера Хилла.

овладел мной, навязав мне свой собственным ритм, свою собственную хронологию, и свою собственную конкретную истину»<sup>1</sup>.

Исследователь, по меньшей мере, должен быть готов скорректировать свою первоначальную цель в свете вопросов, которые непосредственно возникают из работы с источниками. Отсутствие подобной гибкости может привести к подгонке данных под концепцию и неспособности использовать весь заложенный в них потенциал. Настоящим мастером своего дела может считаться тот исследователь, чье умение ставить нужные вопросы отточено долгими годами работы с источниками во всем их многообразии. Овладение всеми источниками – тот идеал, к которому следует стремиться при всей невозможности его полного достижения.

Причиной того, что идеал по большей части остается недостижимым, является не только объем источников, но и необходимость тщательного анализа каждого из них. Ибо первоисточники – отнюдь не открытая книга, дающая немедленный ответ на все вопросы. Они могут быть не тем, чем кажутся; их значение – куда серьезнее, чем можно определить на первый взгляд, формы изложения – неясные и архаичные, лишенные смысла для нетренированного глаза. Прежде чем историк сможет правильно оценить значение документа, он должен выяснить, как, когда и зачем этот документ был создан. Такой анализ требует как дополнительных знаний, так и скептического склада ума. «Архивы» – как это было однажды сказано, – «подобно маленьким детям прошлых времен, заговорят с вами, только если вы к ним обратитесь, и никогда не станут говорить с незнакомцем»<sup>2</sup>. Можно добавить, что, кроме того, они вряд ли пойдут навстречу тому, кто очень торопится. Исследование первоисточников отнимает немало времени даже у опытного, умелого историка; для новичка же оно может показаться мучительно медленным.

Историки давно осознали ценность первоисточников – и не только более доступных источников нарративного характера. Очень многие из средневековых летописцев проявили живой интерес к государственным документам своего времени, воспроизводя их в своих хрониках. Уильям Кемден, ведущий английский историк времен Шекспира, получил доступ к государственным бумагам для написания истории царствования Елизаветы I. Однако научная критика источников является намного более поздним достижением. При всей искушенности историков эпохи Возрождения, она была в основном за гранью их возможностей. Кемден, например, рассматривал свои архивные источники

---

<sup>1</sup> Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasants of Languedoc*, Illinois University Press, 1974, p.4.

<sup>2</sup> C.R.Cheney, *Medieval Texts and Studies*, Oxford University Press, 1973, p.8.

как «непогрешимые свидетельства»<sup>1</sup>. Многие инструменты и методы, которые легли в основу современной критики источников, были разработаны в XVII в. – прежде всего великим ученым монахом-бенедиктинцем Жаном Мабийоном. Но их применение первоначально ограничивалось историей монастырей и житиями святых, а историки и источниковеды (эрудиты) продолжали существовать в разных измерениях. Эдуард Гиббон, величайший историк XVIII в., широко использовал находки *эрудитов*, в своей «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776-1788), но не перенял их методов.

Внедрение критического подхода к источникам в обиход исторической науки стало важнейшим достижением Ранке. Своей ранней известностью и карьерой он обязан безжалостному разоблачению научных ошибок Гвиччардини. Его аппетит к архивным исследованиям был поистине неутолим. А семинар, который он вел в Берлинском университете, способствовал появлению новой «породы» ученых-историков с опытом критического анализа первоисточников, особенно многочисленных архивных источников, впервые открытых для исследователей в XIX в. Поэтому можно простить некоторое преувеличение лорду Актону, назвавшему Ранке «подлинным зачинателем героического изучения архивов»<sup>2</sup>. Ранке добился всеобщего признания идеи о том, что анализ источников и написание исторических трудов неотделимы друг от друга. В Британии метод Ранке получил распространение сравнительно поздно, прежде всего благодаря усилиям Уильяма Стаббса, профессора истории Оксфордского университета, чья репутация основывалась не только на трудах по конституционной истории Англии, но и скрупулезной работе со средневековыми историческими текстами. То, что Марк Блок назвал «борьбой с документами»<sup>3</sup>, и ныне отличает историка-профессионала от любителя.

## II

Первым этапом анализа документа является проверка его подлинности, иногда называемая *внешней* критикой источника. Действительно ли автор, место и дата создания документа таковы, какими кажутся? Эти вопросы особенно уместны в отношении юридических документов, таких, как хартии, завещания и контракты, от которых зависит в большей степени богатство, статус и привилегии. В средние века

---

<sup>1</sup> Уильям Кемден. Предисловие к *Britannia* (1586), цит. по: J.R.Hale (ed.), *The Evolution of British Historiography*, Macmillan, 1967, p.15.

<sup>2</sup> Lord Acton, *Lectures on Modern History*, Fontana 1960 (впервые опублик. в 1906 г.), p.22.

<sup>3</sup> Marc Bloch, *The Historian's Craft*, Manchester University Press, 1954, p.86.

подделывались очень многие королевские или церковные хартии либо для замены утраченных подлинников, либо с целью получения никогда в действительности не предоставлявшихся прав и привилегий. Одной из наиболее известных подделок такого рода является «Константинов Дар», документ VII в., якобы предоставлявший папе Сильвестру I и его преемникам светскую власть над Италией на вечные времена. Подобные документы можно назвать «историческими подделками», и их выявление может рассказать нам очень многое об обществе, в котором они были сфабрикованы. Но нельзя забывать и о современных подделках. Любой недавно обнаруженный документ большой важности вызывает подозрения, что он был подделан кем-то, желающим хорошо заработать или заткнуть за пояс самых авторитетных ученых-современников. Ярким примером тому является случай с «картой Винланда». В 1959 г. анонимный спонсор Йельского университета заплатил изрядную сумму за карту, сделанную, как он считал, в XV в. Поскольку на карте было явно изображено северо-восточное побережье Северной Америки («Винланд»), можно было сделать вывод, что в период, когда Колумб готовился к первому плаванью через Атлантику, в Европе было известно о давних открытиях викингов. Несколько экспертов успели недвусмысленно высказаться в пользу подлинности карты, пока в 1974 г. не было с полной достоверностью доказано, что это фальшивка.

Если источник вызвал у историка подозрения, он задает себе ряд основополагающих вопросов. Во-первых, ставится вопрос о происхождении источника: можно ли проследить прямую связь документа с учреждением или лицом, которое считается его автором, и мог ли он быть подделан? В случае важнейших находок, которые вдруг возникают неизвестно откуда, этот вопрос приобретает особое значение. Во-вторых, необходимо изучить содержание документа на предмет соответствия известным фактам. В какой степени заявленные в документе претензии или выраженные в нем чувства соответствуют нашим знаниям о данном периоде? Если документ противоречит данным, полученным из других, несомненно, подлинных первоисточников, то он скорее всего является фальшивкой. В-третьих, важное значение имеют и формальные признаки документа. Историк, работающий в основном с рукописными источниками, должен обладать знаниями палеографа, чтобы решить, соответствует ли графическая форма письма заявленному в документе месту и времени, и филолога, чтобы проанализировать стиль и язык подозрительного текста. (Уже в 1439 г. именно филологический анализ позволил подтвердить подозрения Лоренцо Валлы в отношении «Константинова Дара».) Кроме того, официальные документы обычно характеризуются особым порядком

изложения и набором стереотипных формулировок, которые являются отличительным признаком создавшего их учреждения. Этими специальными признаками занимается особая дисциплина – дипломатика. Наконец, для анализа материалов, использованных при создании документа, историк может обратиться за помощью к техническим специалистам. Возраст пергамента, бумаги и чернил можно установить химическим путем; факт подделки «карты Винланда» был доказан благодаря микрофобическому анализу состава чернил, который выявил существенное присутствие в них искусственного пигмента, не известного до 20-х гг. нашего столетия<sup>1</sup>.

Было бы, однако, неверно предполагать, что историки постоянно сталкиваются с подделками или что им приходится методично проверять подлинность каждого документа, с которым они работают. Эта процедура, несомненно, целесообразна в отношении некоторых разделов истории средних веков, где многое может зависеть от одной-единственной хартии неясного происхождения. Но большинство историков – особенно специалисты по новой и новейшей истории – вряд ли могут рассчитывать на перспективу блестящего детективного расследования. Скорее они занимаются последовательным изучением многочисленных писем и меморандумов, анализом однообразной ежедневной переписки, которую вряд ли кто-нибудь захочет подделать. Кроме того, в государственных архивах с хорошим режимом хранения документов возможность подделки крайне маловероятна.

Для медиевиста, впрочем, некоторые из перечисленных аналитических методов могут сослужить и другую службу – помочь в воссоздании аутентичного текста из нескольких сохранившихся искаженных вариантов. До изобретения книгопечатания в XV в. единственным способом тиражирования книг было их многократное переписывание от руки; на протяжении большей части средневековья скриптории при монастырях и соборах являлись главными центрами книгоиздания. При копировании неизбежно допускались ошибки, усугублявшиеся каждый раз, когда книга переписывалась вновь. Если оригинал (или «автограф») не сохранился, что часто случалось с важными средневековыми текстами, историк зачастую сталкивается со странными расхождениями между уцелевшими вариантами. Некоторые крупнейшие средневековые хроники дошли до нас именно в таком неудовлетворительном виде. Однако тщательное сравнение текстов – особенно самих рукописей и фразеологических расхождений – позволяет историку установить преемственность уцелевших вариантов и с большей точностью воссоздать формулировки оригинала. Подготовка

---

<sup>1</sup> Helen Wallis and others, “The strange case of the Vinland Map: a symposium”, *Geographical Journal*, CXL, 1974, pp.183-214.

«правильного» текста является важной частью работы медиевиста, требующей специальных знаний в области палеографии и филологии. Теперь эта задача облегчается тем, что с текстов, хранящихся в разных библиотеках, можно сделать фотокопии и непосредственно сравнить их друг с другом.

### III

Установление подлинности документа и – в случае необходимости – очистка текста от искажений являются лишь первым этапом исследования. Второй, куда более сложный составляет внутренняя критика источника, то есть истолкование содержания документа. Если авторство, место и время создания документа соответствуют действительности, то возникает вопрос: что мы можем извлечь из лежащего перед нами текста? С одной стороны, это вопрос о том, что он означает. И дело здесь не просто в переводе текста с иностранного или архаичного языка, хотя сама попытка понять средневековую латынь с сокращениями – немалый труд для начинающего. Историк требует не только свободное владение языком, но и знание исторического контекста, позволяющее понять, о чем идет речь. «Книга Страшного суда» (Кадастровая книга) – классический пример возникающих здесь трудностей. Она представляет собой записи о землепользовании и распределении богатств в английских землях в 1086 г., еще до того как созданные англосаксами (и датчанами) институты претерпели существенные изменения под властью нормандцев. Но сама книга была составлена писцами из Нормандии, говорившими в быту по-французски, но записывавшими все увиденное и услышанное по латыни. Неудивительно, что порой трудно определить, к какой форме землевладения относится понятие *manerium* (обычно означающее «усадьбу»)<sup>1</sup>. Даже если мы ограничимся документами, написанными по-английски, это не избавит нас от проблем. Ведь и сам язык является продуктом истории. Некоторые слова, особенно технические термины, устаревают и выходят из обращения, а другие – приобретают новое значение. Следует быть начеку, чтобы не вложить современный смысл в устаревшие обороты. Когда речь идет о сложных в культурном отношении источниках, таких, как современные исторические труды или трактаты по политической теории, в одном и том же тексте может быть заложено несколько смысловых уровней, превращающих истолкование текста в трудную задачу. Пытаясь справиться с нестабильностью языка, историки испытывают на себе влияние новейших

---

<sup>1</sup> Bloch, *The Historian's Craft*, p.165; J.J.Bagley, *Historical Interpretation, Vol.I: Sources of English Medieval History, 1066-1540*. Penguin, 1965, pp.24, 29-30.

процессов в литературоведении, особенно постмодернистских теорий языкознания (см. ниже, гл. 7).

Перед историками, основательно изучившими источники по своему периоду и овладевшими характерными для него оборотами речи и технической терминологией, проблема смысла встает гораздо реже. Но есть и другой, куда более насущный вопрос, связанный с содержанием документа: можно ли на него положиться? Ни один источник нельзя использовать для воссоздания прошлого, не оценив надежность изложенных в нем исторических данных. Этот вопрос находится вне рамок любой из вспомогательных дисциплин, таких, как палеография или дипломатика. Ответ на него требует знания исторического контекста и психологии человека. Здесь профессия историка проявляется в чистом виде.

Там, где документ принимает форму сообщения об увиденном, услышанном или сказанном, необходимо задать себе вопрос, был ли автор в состоянии достоверно передать информацию. Присутствовал ли он (или она) при описываемом событии, был ли он спокоен и внимателен? Если же он получил информацию из вторых рук, то не идет ли речь просто о слухах? Надежность сведений, представленных средневековым монахом-хронистом зависит в основном от того, насколько часто его аббатство посещали высокопоставленные и влиятельные лица<sup>1</sup>. Взялся ли автор за перо немедленно после события, или позднее, когда острота его (ее) памяти притупилась – вопрос, о котором не стоит забывать при чтении дневников. Когда речь идет об устных высказываниях, очень многое может зависеть от точности формулировок, но до распространения стенографии в XVII в. сделать дословную запись было просто невозможно. Первый механический инструмент для звукозаписи – фонограф – был изобретен лишь в 1877 г. Поэтому крайне трудно установить, что именно сказал интересующий вас государственный деятель в той или иной из своих речей: даже при наличии заранее написанного текста, он мог отойти от него в устном выступлении, а газетные репортеры, как правило, вооруженные лишь карандашом и блокнотом, неизбежно передают ее содержание выборочно и неточно, в чем можно убедиться, сравнив отчеты об одной и той же речи в разных газетах. Существуют надежные буквальные записи дебатов в британском парламенте, но и они появились лишь после реформы Хансардовского издания в 1909 г.

Однако больше всего на надежность источника влияют намерения и предвзятости автора. Особенно подозрительны в этом отношении

---

<sup>1</sup> См., например, впечатляющий список информаторов и собеседников, составленный Ричардом Воганом, в: Richard Vaughan, *Matthew Paris*, Cambridge University Press, 1958, pp.11-18.

произведения, предназначенные для будущих поколений, на основе которых зачастую составляется общее представление об эпохе. Искажения такого рода, содержащиеся в автобиографиях, порой настолько очевидны, что не нуждаются в комментариях. Средневековые хронисты часто откровенно принимали чью-то сторону в конфликтах между правителями или между церковью и государством: растущая антипатия Геральда Валлийского к Генриху II была связана с неоднократным отказом короля присвоить ему сан епископа; тенденциозность освещения Матвеем Парижским споров между Генрихом III и английскими баронами предопределялась тем, что во взаимоотношениях дворянства с королем или папой он был непримиримым сторонником всех форм сословных привилегий<sup>1</sup>. Кроме того, хронисты зачастую находились под влиянием предрассудков, характерных для образованных людей их эпохи – отвращения к ереси или неприязни к адвокатам и ростовщикам. Культурно обусловленные допущения и стереотипы, присущие практически всем грамотным людям определенной эпохи, требуют особенно тщательного анализа. Для исследователя обществ, не знавших письменности, например тропической Африки XIX в., весьма важным источником являются записки европейских путешественников того времени, однако почти все они носят отпечаток расизма и погони за сенсацией: казни по приговору суда (например, в государстве Ашанти) представлялись как «человеческие жертвоприношения», полигамия рассматривалась как санкция на сексуальные излишества. Художественная литература в этом плане также не является исключением. Писатели, драматурги и поэты столь же подвержены предрассудкам, как и все остальные, и это надо иметь в виду при цитировании их произведений в качестве исторических свидетельств. Книга Э.М.Фостера «Путь в Индию» (1924) содержит среди прочего необычайно убедительное и крайне нелестное описание британской администрации на местах, но при этом следует принять во внимание неприязнь самого Фостера к тому типу людей – чопорных и надменных выпускников привилегированных школ, – что составляли верхушку британской администрации в Индии.

Привлекательность архивных источников – «невольных свидетелей» (см. с. 61), – напротив, состоит в том, что через них историк наблюдает или выявляет последовательность повседневных событий, независимых от целей, поставленных автором. Однако это снимает лишь один, наиболее очевидный слой искажений. Ибо, каким бы непосредственным или авторитетным ни был источник, редкий письменный текст появляется лишь благодаря стремлению рассказать

---

<sup>1</sup> Antonia Gransden, *Historical Writing in England, c. 550 to c. 1307*, Routledge & Kegan Paul, 1974, pp.242-245, 367-372.



чистую правду. Даже автор дневника, не предназначенного для публикации, возможно, старается потешить свое самолюбие или представить свои намерения в благоприятном свете. Документ, производящий впечатление непосредственного сообщения об увиденном, услышанном или сказанном, вполне может оказаться тенденциозным – либо неосознанно, из-за глубоко укоренившихся предрассудков автора, либо намеренно, из его стремления доставить удовольствие или повлиять на адресата. Посол в донесениях на родину может попытаться создать преувеличенное впечатление о своей энергии и инициативности; он также может привести свои оценки правительства, при котором он аккредитован, в соответствие с политическим курсом или взглядами начальства. Сегодня историки куда более скептически, чем это было в прошлом, относятся к претензиям на объективность крупнейших исследований социальных вопросов викторианской эпохи; теперь считается общепризнанным, что проводившийся ими отбор данных был искажен в угоду стереотипным представлениям среднего класса о бедняках и «проталкивания» определенных методов решения проблем.

Впрочем, обнаруженная предвзятость автора не означает, что «провинившийся» документ следует «отправить на свалку». Тенденциозность сама по себе может иметь научное значение. Если речь идет об общественном деятеле, она может свидетельствовать о неверной оценке определенных людей или ситуаций с катастрофическими последствиями для проводимой политики. Что касается опубликованных большим тиражом документов, то их предвзятый характер позволяет объяснить важные сдвиги в общественном мнении. Хорошим примером в этом плане могут служить доклады королевских комиссий в XIX в. Другим примером того же рода является пресса: отчеты о военных действиях, публиковавшиеся в 1915-1916 гг., в ряде британских газет, оппозиционных правительству Асквита, не отражают подлинную ситуацию на фронтах, но, несомненно, помогают понять причины резкого падения популярности премьер-министра в собственной стране<sup>1</sup>. Автобиографии особенно славятся ошибками и тенденциозностью. Но в субъективности как таковой часто и заключается их главная ценность, ведь созданная автором картина собственной жизни является в равной степени порождением личных качеств и культурного контекста. Эта субъективность тоже дает представление об умонастроении автора не только при написании мемуаров, но и на протяжении всей его жизни. Даже самый сомнительный источник может способствовать воссозданию прошлого.

---

<sup>1</sup> Stephen Koss, *Asquith*, Allen Lane, 1976, pp.181-182, 217.

Как видно из предыдущего описания, анализ исторического источника напоминает перекрестный допрос свидетеля в суде: в обоих случаях главное – установить надежность показаний. Но такая аналогия неверна, если предполагает, что первоисточники всегда анализируются подобным образом. Один из самых плодотворных способов проникновения в прошлое заключается в том, чтобы сосредоточиться на конкретном источнике и реконструировать процесс его возникновения с применением всех имеющихся методов – текстуального анализа, привлечения других документов, оценок современников и т.д., – как это блестяще продемонстрировал В.Х.Гэлбрейт применительно к «Книге Страшного суда»<sup>1</sup>. Фактически эту же методику ныне взяли на вооружение и специалисты по истории идей. Традиционно их главной целью было выявление «родословной» важнейших концепций, таких, например, как независимость парламента или свобода личности, с помощью анализа произведений крупнейших теоретиков разных эпох. Невольным следствием такого подхода было то, что «великие тексты» рассматриваются лишь в контексте «наших» проблем: тем самым затушевывалось значение таких источников для их современников. Но первостепенная задача историка состоит в том, чтобы понимать и интерпретировать подобные произведения так же, как и любые другие документы эпохи, по возможности, не упуская конкретный интеллектуальный и социальный контекст, сопровождавший их создание. Это означает, что следует учитывать и конкретный жанр, или *дискурс*, к которому относится данная работа, и ее связь с другими жанрами, знакомыми тогдашнему читателю. Такие ученые, как Квентин Скиннер и Дж.Покок подчеркивают, что современники воспринимали, скажем, «Левиафана» (1651) совершенно в ином смысле, чем тот, что вкладывал в него Томас Гоббс<sup>2</sup>. Для того чтобы понять первоначальный замысел мыслителя прошлого, контекст по меньшей мере столь же важен, как и само произведение.

Метод «перекрестного допроса» не годится и для анализа документов государственных учреждений. Эти документы – традиционный «хлеб» большинства исследователей – чаще всего изучаются под одним из двух углов зрения: во-первых, каким образом развивалось учреждение, создавшее данные документы, и какова была его функция в системе государственных органов? И во-вторых, каким образом

---

<sup>1</sup> V.H.Galbraith, *The Making of Domesday Book*, Oxford University Press, 1964. Подобный же подход рекомендуют Т.Г.Эшплант и Эдриан Уилсон в: T.G.Ashplant and Adrian Wilson, "Present-centred history and the problem of historical knowledge", *Historical Journal*, XXXI, 1988, pp.253-274.

<sup>2</sup> Quentin Skinner, "Meaning and understanding in the history of ideas", *History and Theory*, VIII, 1969, pp.3-53; J.G.A.Pocock. *Politics, Language and Time*, Methuen, 1972, особенно гл.1.

вырабатывался и осуществлялся конкретный политический курс? В данном случае вопрос о надежности вряд ли уместен, ведь документы рассматриваются не как сообщения (т.е. свидетельства о событиях, происходящих «снаружи»), а как часть процесса (административного, юридического или процесса принятия решений), который сам по себе является объектом исследования. Их авторство в равной степени принадлежит отдельному лицу, составившему документ, и учреждению в целом, отсюда необходимость исследовать их в контексте данного учреждения – его интересов, административных порядков, процедуры хранения архивных материалов; работа с документами юридического или финансового характера в особенности требует специальных знаний. Изучая документы не существующих более учреждений вне комплекса материалов, к которому они принадлежат, историк почти наверняка придет к неправильным выводам. Поэтому архивные коллекции Государственного архива Великобритании следует прежде всего воспринимать «не как мешок с подарками, откуда можно извлечь практически любые сведения, а как то, что они представляют из себя в действительности – систему данных о развитии органов управления от режима личной власти до национального правительства»<sup>1</sup>.

Чтобы полностью осознать значение этих документов, исследователь должен по возможности изучать их в виде исторически сложившихся комплексов (в Государственном архиве Великобритании этот принцип в целом соблюдается), а не после упорядочения каким-нибудь педантом-архивистом. Кроме того, в идеале их следует изучить во всей совокупности. К сожалению, государственные архивные документы в Англии примерно до 1700 г. сохранялись не полностью. Архив средневековой королевской канцелярии состоит в основном из копий исходящей правительственной корреспонденции, а писем, постоянно поступавших туда от подданных, сохранилось очень мало. И наоборот, «государственные бумаги» эпохи Тюдоров в основном включают входящую переписку, и лишь немногие исходящие письма уцелели в частных коллекциях рукописей. Поэтому трудно установить, каким образом политика проводилась в жизнь или что именно становилось толчком для ее выработки. Недостатки в системе хранения министерских архивов были устранены лишь после Реставрации<sup>2</sup>. Но там где это возможно, историки стараются изучать документы в комплексе и в совокупности, чтобы свести к минимуму опасность неверной интерпретации конкретного документа, взятого в отрыве от контекста.

---

<sup>1</sup> V.H.Galbraith, *Studies in the Public Records*, Nelson, 1948, p.6.

<sup>2</sup> G.R.Elton, *England, 1200-1640*, The Sources of History, 1969, pp.41, 70-73

Знание административных и архивных процедур также важно для историка, сталкивающегося с наиболее серьезным случаем искажения сохранившихся архивов – намеренным сокрытием фактов. Поместить подделку среди официальных бумаг – дело крайне трудное, но утаить «неудобный» или компрометирующий документ значительно проще. В «государственных бумагах», например, отсутствует большая часть входящей и исходящей корреспонденции лорда-канцлера Джеффриса за период правления Якова II. Поскольку сам Джеффрис умер в Тауэре в 1689 г., после Славной революции, предполагается, что эти бумаги были удалены неким лицом, переметнувшимся в решающий момент и желавшим скрыть свои контакты с пресловутым судьей «кровавого трибунала»<sup>1</sup>. В сегодняшней Британии централизованное хранение большинства государственных документов в Главном архиве Великобритании, введенное в середине XIX в., является надежным заслоном против подобных краж, однако высокопоставленный чиновник все еще в состоянии добиться того, чтобы «чувствительный» документ никогда не покинул стен ведомства, где он был создан. Поскольку сохранять все документы на практике невозможно, существует установленная процедура уничтожения материалов, находящихся на временном хранении, признанных не имеющими исторической ценности, и здесь существует возможность злоупотреблений<sup>2</sup>. Например, ряд дел министерства колоний, относящихся к Палестине конца 1940-х гг. был уничтожен, вероятно, с целью скрыть действия Британии в ходе последнего бурного этапа подмандатного управления; похоже, что и наиболее важные британские документы по Суэцкому кризису 1956 г. были немедленно уничтожены или перемешены в другое место<sup>3</sup>. Несомненно, имели место случаи несанкционированной «чистки» архивов, не поддающиеся выявлению, однако историка, знакомого с административными порядками в конкретном ведомстве, гораздо труднее обвести вокруг пальца.

Если некоторые документы тщательно утаиваются от исследователей, то другие, наоборот, выставляются на всеобщее обозрение. По некоторым темам новой и новейшей истории существуют сборники документов, опубликованных вскоре после их создания. Этим сборникам не следует придавать особого значения лишь потому, что они так доступны. Они чаще всего имеют выборочный характер, и их публикация преследует какие-то практические цели, обычно

---

<sup>1</sup> G.W.Keeton, *Lord Chancellor Jeffreys and the Stuart Cause*, Macdonald, 1965, p.23.

<sup>2</sup> Michael Roper, “Public records and the policy process in the twentieth century”, *Public Administration*, LV, 1977, pp.153-168.

<sup>3</sup> Colin Holmes, “Government files and privileged access”, *Social History*, VI, 1981, p.342.

конъюнктурно-политического свойства. Известная серия публикаций «Процессы государственных преступников» долгое время считалась достоверным источником о ряде крупных уголовных дел в Англии начиная с XVI в. Но первые четыре тома этой публикации были подготовлены в 1719 г. группой пропагандистов – сторонников вигов: поэтому в качестве источника сведений о крупных политических процессах эпохи Стюартов они вызывают серьезные сомнения<sup>1</sup>. В XIX в. Публикация – часто в большом количестве – корреспонденции политического деятеля рассматривалась его семьей и последователями как достойный памятник его заслугам, однако в таких изданиях, как правило, присутствовал элемент цензуры, чтобы скрыть неприятные эпизоды, сохранить или упрочить репутацию участников событий, которые на тот момент были еще живы. Для правительств того же периода публикация избранной дипломатической переписки (например, британские «синие книги») была законным средством обеспечить своей политике поддержку общественности; с этой целью некоторые «донесения» просто выдумывались. В подобных случаях историк, несомненно, постарается найти оригиналы документов. Если это невозможно, опубликованный вариант следует подвергать тщательному изучению и постараться получить из других источников максимум информации об обстоятельствах его появления.

#### IV

Таким образом, процесс исторического исследования состоит не в том, чтобы выявить *один* авторитетный источник и извлечь из него все ценное, ведь большинство источников в какой-то мере страдает неточностью, неполнотой или искажено под воздействием предрассудков и корыстных интересов. Скорее он представляет собой сбор максимального количества данных на основе изучения широкого круга источников – желательно *всех* источников, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме. Такой метод дает больше возможностей для выявления неточностей и искажений в конкретных источниках, позволяет более обстоятельно подтвердить выводы ученого. Каждый вид источников имеет свои слабые и сильные стороны; при их изучении в совокупности и сравнительном анализе есть надежда, что они откроют вам истинные факты – или хотя бы позволят максимально приблизиться к истине.

Поэтому овладение широким кругом источников является одним из признаков подлинно научного исследования – трудной, порой недостижимой целью. Одна из причин пренебрежительного отношения

---

<sup>1</sup> G. Kitson Clark, *The Critical Historian*, Heinemann, 1967, pp.92-96, 109-114.

историков-профессионалов к произведениям биографов состоит в том, что последние слишком часто ограничиваются лишь изучением личных бумаг своего героя, вместо того чтобы сравнить их с документами его коллег, знакомых и (в случае необходимости) архивными источниками за определенный период. Даже Ранке подвергался критике за то, что слишком полагался на депеши венецианских послов в своих работах по XVI в. При всей их наблюдательности и добросовестности, отношение послов к происходящему слишком совпадало с точкой зрения правящей элиты. Кроме того, они были иностранцами, что наряду с преимуществом – отсутствием политических пристрастий в стране пребывания – лишало их подлинного ощущения ее культуры<sup>1</sup>. Привлечение первоисточников, отражающих взгляд как «изнутри», так и «снаружи», является важным требованием к историческим исследованиям по самому широкому кругу проблем. Недостатки западных исследований по истории Африки до 1960-х гг. можно вкратце свести к тому, что их авторы опирались на свидетельства европейских путешественников, миссионеров и администраторов, не занимаясь серьезными поисками собственно африканских источников<sup>2</sup>. Когда речь идет о Ближнем Востоке, аналогичные искажения возникают, если исследователи основываются исключительно на «востоковедческом дискурсе» (пользуясь выражением Эдварда Сайда) – свидетельствах западных путешественников и «экспертов», чьи стереотипные высказывания буквально заглушали голоса «туземных» народов<sup>3</sup>. Кэррол Смит-Розенберг вспоминает, что, начав заниматься историей женщин в Америке XIX в., она поймала себя на том, что изображает женщин в качестве жертв, поскольку основывалась на хорошо известной образовательной и теологической литературе, написанной мужчинами для женщин и о женщинах. Взгляд Смит-Розенберг на проблему изменился, когда она обнаружила «внутренние» источники: письма и дневники простых женщин – документальное подтверждение их активного самосознания<sup>4</sup>.

Сегодня к историкам предъявляются довольно жесткие требования относительно используемого ими круга источников. В области истории международных отношений, например, непреложным правилом является исследование записей дипломатических бесед, сделанных обеими сторонами, только после этого можно с уверенностью утверждать, в чем состоял предмет беседы и какая из сторон успешнее

---

<sup>1</sup> Herbert Butterfield, *man on His Past*, Cambridge University Press, 1955, p.90.

<sup>2</sup> J.D.Fage (ed.), *Africa Discovers Her Past*, Oxford University Press, 1970.

<sup>3</sup> Edward W. Said, *Orientalism*, Routledge & Kegan Paul, 1978.

<sup>4</sup> Carrol Smith-Rosenberg, *Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian America*, Oxford University Press, 1986, pp.25-27.

отстаивала свою точку зрения; именно поэтому недоступность советских архивов до начала горбачевской «перестройки» приводила в отчаяние западных исследователей, занимавшихся проблемами, связанными с возникновением второй мировой войны. Историки, изучающие политику правительств Великобритании XX в., могут испытать соблазн ограничиться в своих исследованиях документами государственных архивов, ведь они сохранились в большом количестве, и этот массив возрастает с каждым годом за счет новых документов, впервые вводящихся в научный оборот по истечении 30-летнего срока секретности (см. с. 77-78). Но такой метод вряд ли приведет к взвешенным выводам. В документах правительственных учреждений слишком большое значение придается ведомственной точке зрения (что отражает основной интерес государственных служащих, создававших эти документы), и куда меньше отражен политический прессинг, который министрам приходилось испытывать; отсюда необходимость расширения круга источников за счет материалов прессы, протоколов парламентских дебатов, частных писем и дневников, политических мемуаров и – если дело идет о недавнем прошлом – устных свидетельств непосредственных участников событий<sup>1</sup>.

Вышеприведенные примеры – история международных отношений или правительственная политика – это темы, по которым имеется более чем достаточно материалов первичных источников. В обоих случаях существуют четко обозначенные массивы документов, находящихся на государственном хранении, а также многочисленные вспомогательные источники, позволяющие проверить и дополнить полученные данные. Но существуют исследовательские темы, где дело обстоит не столь благополучно: либо мало материалов уцелело, либо то, что интересует нас сейчас, не представляло интереса для людей исследуемой эпохи и соответственно не получило отражения в документах. Если историка волнует нечто большее, чем сиюминутные заботы тех, кто создал интересующие его источники, он должен научиться проводить их всесторонний анализ, выявлять их косвенное значение. Существует два основных метода подобного анализа. Во-первых, главную ценность во многих источниках представляют сведения, зафиксированные автором почти механически, не имеющие прямого отношения к цели его свидетельства. Дело в том, что люди неосознанно переносят на бумагу данные о своих взглядах, представлениях и образе жизни, которые могут представлять немалый интерес для историка. Тем самым конкретный документ может использоваться в

---

<sup>1</sup> Более подробное обсуждение этого вопроса с примерами см. в: Alan Booth and Sean Glynn, “The public records and recent British economic historiography”, *Economic History Review*, 2nd series, XXXII, 1979, pp.303-315.

самых разных целях, в зависимости от подхода, порой давая ответы на вопросы, которые и в голову не могли прийти ни автору документа, ни его современникам. В этом, несомненно состоит одна из причин, почему историк, с самого начала четко сформулировавший интересующие его вопросы, а не просто «плывущий по течению» туда, куда его выведут документы, порой получает преимущество: такой подход позволяет выявить сведения, о существовании которых никто не подозревал. С этой точки зрения само слово «источник» представляется не совсем подходящим: если его толковать буквально, то один «источник» может дать начало лишь одному «ручейку» знания. Даже высказывалась идея вообще отказаться от этого термина в пользу «следа» или «тропы»<sup>1</sup>.

Способность находить новое применение источникам является одним из характерных достижений современного исторического метода. Она с особой полнотой проявилась в работах исследователей, решивших сойти с проторенной столбовой дороги политической истории и обратиться к таким областям, как социальная история и история культуры, по которым не так-то просто найти непосредственно относящиеся к делу документальные материалы. Примером может служить проблема религиозных верований простых людей в Англии периода Реформации. Если изменения доктринальных пристрастий среди элиты получили сравнительно полное отражение в документах, то об остальном населении сведений очень мало. Однако Маргарет Спаффорд, исследуя вопрос на примере трех деревень Кембриджшира, обратилась к неожиданному источнику – завещаниям, – чтобы показать, как менялась религиозная принадлежность людей. Каждое завещание начиналось с обращения к Богу, позволявшего сделать некоторые выводы о доктринальных предпочтениях автора завещания или писца. Изучив эти обращения, Спаффорд показала, насколько глубоко укоренилась среди местного населения к началу XVII в. личная вера в посредничество Христа – отличительная черта протестантской религии<sup>2</sup>. Предоставление сведений о своих религиозных убеждениях, конечно, не входило в намерения авторов завещаний: их волновало лишь то, чтобы нажитым ими добром распорядились согласно их воле. Однако историк, готовый обратить внимание на невольные свидетельства, содержащиеся в источнике, способен заглянуть глубже, чем того желали создатели документа.

История права в настоящее время не привлекает особого интереса исследователей, однако судебные архивы являются, возможно,

---

<sup>1</sup> G.J.Renier, *History: Its Purpose and Method*, Allen & Unwin, 1950, pp.96-105.

<sup>2</sup> Margaret Spufford, *Contrasting Communities: English Villagers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Cambridge University Press, 1974, pp.320-344.



наиболее важным из имеющихся в нашем распоряжении источников по социальной истории периода средневековья и раннего нового времени, когда подавляющее большинство населения было неграмотным и не могло оставить после себя никаких личных архивов. Работа Эммануэля Леруа Ладюри «Монтайю» (1978) может служить классической иллюстрацией этого факта. В библиотеке Ватикана сохранилась большая часть Регистра – протоколов инквизиторских расследований, проводившихся с 1318 по 1325 г. Жаком Фурнье, епископом Памьерским. Из 114 человек, обвиненных в ереси, 25 были уроженцами Монтайю – деревни в Пиренеях с населением не более 250-ти жителей. На допросах устанавливались их религиозные убеждения, круг друзей (особенно среди еретиков) и моральный облик. Епископ позаботился о том, чтобы пространные заявления, сделанные у него в суде, были тщательно записаны и заверены самими свидетелями; а поскольку он был неутомимым мастером допроса и человеком дотошным – «смесью карателя и комиссара Мегрэ»<sup>1</sup>, – в результате получился необыкновенно яркий и насыщенный документ. С помощью дополнительных сведений Леруа Ладюри сумел воссоздать повседневную жизнь крестьян из Монтайю – их общественные связи, религиозные и магические обряды, представления о сексе и даже во многом саму их сексуальную жизнь. По словам самого Леруа Ладюри, высокая концентрация еретиков-катаров в Монтайю «дает нам возможность исследовать не сам катаризм – это не входит в мою задачу, – но духовный мир сельских жителей»<sup>2</sup>. Когда историк подобным образом дистанцируется от того смысла, который вкладывали в документ современники, его надежность не имеет особого значения: важны случайные детали. Во Франции XVIII в. существовала практика, когда беременные незамужние женщины делали заявление в магистрате, чтобы возложить ответственность на своих соблазнительей и спасти, хотя бы отчасти, свою репутацию. Ричард Кобб изучил 54 таких заявления, сделанных в Лионе в 1790-1792 гг., и, какой отмечает, личности соблазнительей сами по себе ничего не представляют по сравнению с тем, какой свет проливают эти документы на сексуальное поведение городской бедноты, условия их труда и отдыха и распространенные в то время представления о нравственности<sup>3</sup>. Именно в таких исследованиях с особой силой проявляется призыв Марка Блока к коллегам-историкам изучать показания «невольных очевидцев» (см. с. 62).

---

<sup>1</sup> Emmanuel Le Roy Ladurie, *Montaillou: Cathars and Catholics in a French Village, 1294-1324*, Penguin, 1980, p.xiii.

<sup>2</sup> Ibid., p.231.

<sup>3</sup> Richard Cobb. "A view on the street", в его книге *A Sense of Place*, Duckworth, 1975, pp.79-135.

Другой, гораздо более спорный метод косвенного использования исторических источников был также предложен Марком Блоком. Он стремился реконструировать жизнь французского сельского общества в средние века. Документы того периода содержат огромное количество информации, но не дают представления о том, как сопоставить все эти детали для получения общей картины. Такая картина возникла лишь в XVIII в., когда жизнь французской деревни была всесторонне описана агрономами и комиссиями по расследованию; тогда же в большом количестве появились и точные местные карты. Блок считал, что только тот, кто хорошо знает структуру французского сельского общества, сложившуюся в XVIII в., в состоянии разобраться в данных периода средневековья. Он, конечно, не считал, что за это время в ней ничего не изменилось; смысл его утверждения состоял скорее в том, что в подобной ситуации историку следует постепенно «продвигаться назад», основываясь на том, что уже известно, с тем, чтобы разобраться в отрывочных и бессвязных сведениях из более раннего периода:

«Историк, особенно специалист по аграрной истории, находится в постоянной зависимости от документов; если он надеется разгадать тайные шифры прошлого, ему по большей части придется прочитывать историю «в обратном порядке»<sup>1</sup>.

Такой подход, называемый *регрессивным* методом, активно применяется при изучении истории Африки, где документальные источники о доколониальном обществе отличаются низким качеством. Например, Ян Вансина в своей книге «Королевство Тио» (1973) использует данные, полученные им в ходе этнографических экспедиций в 1960-х гг., для истолкования наблюдений европейцев, посетивших королевство в 1880-х гг., зафиксировавших ряд характерных особенностей жизни туземцев, но не понимавших ни их значения, ни их места в структуре общества. Иначе было бы просто невозможно дать целостную картину жизни общества в королевстве Тио накануне установления европейского господства. Регрессивный метод, несомненно, имеет свои недостатки и противоречит общепринятым правилам работы с первоисточниками, однако при разумном применении и учете изменений, происходящих в жизни того или иного общества, он дает хорошие результаты

## V

Работая с источниками, историк ни в коем случае не должен оставаться пассивным наблюдателем. Он должен искать необходимые

---

<sup>1</sup> Marc Bloch, *French Rural History*, Routledge & Kegan Paul, 1966, p.xxviii.

сведения в самых неожиданных местах, казалось бы, не связанных с предметом исследования. Чтобы оценить весь спектр возможностей использования конкретного источника, требуются изобретательность и интуиция. Необходимо проводить сравнительный анализ противоречащих друг другу источников, разоблачать фальшивки и объяснять причины возникновения пробелов. Ни один документ, каким бы авторитетным он ни казался, не должен восприниматься как бесспорный; данные источников, как удачно выразился Э.П.Томпсон, «должны подвергаться настоящему допросу умами, искушенными в науке внимательного недоверия»<sup>1</sup>. Возможно, эти правила и не заслуживают того, чтобы называться методом, если под методом понимать намеренное применение конкретного набора научных процедур для проверки фактических данных. Конечно, со времен Ранке в помощь начинающему исследователю было написано несметное количество учебников по историческому методу, а в континентальной Европе и США обучение технике научного исследования давно стало неотъемлемой частью подготовки аспирантов-историков<sup>2</sup>. С другой стороны, именно британские ученые до недавних пор считались главными «умельцами» в области критики источников. Дж.М.Янг, выдающийся историк, работавший в межвоенный период, заявлял, что его цель – «вчитываться» в период до тех пор, пока он не услышит, как жившие тогда люди начинают говорить. В том же духе позднее выразился и Ричард Кобб:

«Наиболее талантливые исследователи демонстрируют готовность *прислушиваться* к словам документа, идти вслед за каждой его фразой, даже неразборчивой... с тем, чтобы *услышать*, что именно было сказано, с каким ударением и каким тоном»<sup>3</sup>.

Значит, важна не столько методика, сколько склад ума – почти инстинкт, – выработать который можно лишь методом проб и ошибок.

Тем не менее, было бы неверным, подобно Коббу, заходить в этом утверждении слишком далеко, считая, что принципы исторического исследования вообще не поддаются определению<sup>4</sup>. На практике претензии, предъявляемые к монографии, часто связаны с неспособностью

---

<sup>1</sup> E.P.Thompson, *The Poverty of Theory*, Merlin Press, 1978, pp.220-221.

<sup>2</sup> Классической работой такого рода является: C.V.Langlois and C.Seignobos, *Introduction to the Study of History*, Greenwood, 1979 (впервые опубликована в 1898 г.). Из более современных трудов следует предпочесть: Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Knopf, 1950; Jacques Barzun and Henry F. Graff, *The Modern Researcher*, Harcourt, Brace Jovanovich, 3d edn, 1977.

<sup>3</sup> Richard Cobb, *Modern French History in Britain*, Oxford University Press, 1974, p.14.

<sup>4</sup> Richard Cobb, “Becoming a historian” в его работе *A Sense of Place*, pp.47-48; Jacques Barzun, *Clio and the Doctors*, Chicago University Press, 1974. p.90.

ее автора применить к используемым источникам тот или иной метод анализа. Я готов признать, что правила исследования нельзя свести к единой формуле, а конкретные процедуры анализа варьируются в зависимости от характера источника; однако большинство методов, которые опытный исследователь применяет почти неосознанно, могут быть выражены – что я и попытался сделать – в терминах, понятных и непосвященному. Сформулированная таким путем методика исторического исследования на первый взгляд мало чем отличается от простого здравого смысла. Однако в данном случае здравый смысл используется более систематически и с большей долей скептицизма, нежели это происходит в повседневной жизни, дополняется четким пониманием исторического контекста и, во многих случаях, высоким уровнем специальных знаний. Именно с точки зрения этих жестких стандартов и следует оценивать требования, предъявляемые к историческому исследованию.

## Глава 5

### Основные темы исторических событий

Чрезвычайное разнообразие первоисточников, о котором мы говорили в гл. 3, и трудоемкие методы их оценки, описанные в гл. 4, жестко лимитируют предмет специализации историков в рамках научной дисциплины. Их компетенция, как правило, ограничивается одним конкретным периодом: отсюда характеристика исследователя как медиевиста, специалиста по новой или новейшей истории. На практике же период, по которому они могут надежно овладеть источниками, еще более ограничен – для медиевистов это может быть одно столетие, а для ученых, специализирующихся по XIX в. он редко превышает десять лет. Кроме того, почти всегда предметом исследования в рамках этого периода является одна страна или регион. Например, специалиста по Английской революции XVII в., несомненно, заинтересуют процессы, происходившие в западноевропейских странах, таких, как Франция и Нидерланды, которые примерно в то же время пережили похожие кризисы. Однако его знания о них скорее всего ограничатся прочтением научной литературы, и во многих случаях, к сожалению, только литературы на английском и еще каком-нибудь европейском языке. Историки, обладающие опытом исследований по нескольким странам и периодам, составляют незначительное меньшинство.

Помимо специализации по периоду и региону, существует еще и тематическая специализация. Несомненно, любой аспект человеческой мысли, деятельности и достижений в любую эпоху может претендовать на внимание историков, но изучить их все сразу просто

невозможно, если не ограничивать масштаб исследований географическими рамками небольшой местности (этот подход мы обсудим ниже, на с. 126-127). Для историка, стремящегося расширить географию исследования до масштабов региона или страны, выбор одной конкретной темы или направления моментально сводит объем необходимых первоисточников к более разумной величине. Сам выбор темы для исследования во многом связан с личными мотивами – увлечением или даже капризом. Но поскольку «конечная продукция» исторической науки, насколько позволяют имеющиеся источники, распределяется более или менее равномерно по всем периодам и странам, выбор исследовательской тематики куда более подвержен воздействию меняющейся моды. Социальная значимость темы, разработка новых методов исследования, теоретические достижения в рамках других дисциплин – все это влияет на историка, определяющего, к каким аспектам прошлого следует обратиться в первую очередь. Поэтому тема исследования дает куда более четкое представление о его содержании, чем страна или период. В данной главе исследуются три наиболее популярных традиционных направления: политическая, экономическая и социальная история. Новые темы, прежде всего историю культуры, мы обсудим позднее (см. гл. 10).

## I

Под *политической историей* обычно подразумевается изучение всех аспектов прошлого, связанных со структурой власти в обществе – с тем, что в большинстве известных нам форм организации человеческого общества определяется понятием «государство». Сюда входят институциональная организация государства, соперничество фракций и партий за власть, межгосударственная политика. Для многих спектр исторического исследования этим и исчерпывается. Учебные программы, принятые в британских школах до самого недавнего времени, списки бестселлеров, составляемые издательствами, и телепередачи создают впечатление, что политическая история является если не единственным, то, несомненно, наиболее важным направлением исторической науки. Среди самих историков, однако, подобного единства мнений не наблюдается. Политическая история заслужила статус основного направления не потому, что ее значение превосходит все остальные – хотя сторонники политической истории, естественно, утверждают обратное<sup>1</sup>, – а потому, что обладает старейшей

---

<sup>1</sup> См., например: S.T.Bindoff, “Political history”, в кн.: H.P.R.Finberg (ed.), *Approaches to History*, Routledge & Kegan Paul, 1962, и G.R.Elton, *Political History*, Allen Lane, 1970, pp.57-72.

родословной. Если труды по политической истории создавались и читались начиная с античных времен, другие направления заняли постоянное место в научном «репертуаре» лишь в последние сто лет.

Причины традиционного преобладания политической истории вполне очевидны. Исторически само государство было куда теснее связано с написанием истории, чем с любым другим видом литературной деятельности. С одной стороны, те, кто обладали политической властью или стремились к ней, обращались к прошлому в поисках путей достижения своих целей. В то же время политические элиты были заинтересованы в распространении той версии истории, которая отстаивала бы легитимность их положения, подчеркивая прошлые достижения или демонстрируя древность законов, согласно которым они получили власть. Более того, политическая история всегда пользовалась предпочтением у непрофессиональной аудитории. Взлет и падение государственных деятелей и целых стран или империй – хороший сюжет для величественной драмы. Политическая власть пьянит, и человек, не обладающий властью, наслаждается ей опосредованно, перелистывая, например, страницы книг Кларендона или Гвиччардини. Последствия этого явления резко осудил Артур Янг, английский агроном, прославившийся описанием французской деревни в канун революции:

«Для ума, хоть сколько-нибудь склонного к философскому взгляду, чтение современных исторических трудов, кик правило, становится самым мучительным занятием из всех возможных: вас заставляют следить за действиями самой отвратительной породы людей, называемых завоевателями, героями и великими полководцами; и мы плетемся по страницам, загроможденным детальным описанием войн; но если вы хотите узнать о достижениях сельского хозяйства, коммерции, промышленности, об их взаимовлиянии в разных странах и в разные эпохи... вас ждет сплошное белое пятно»<sup>1</sup>.

Вообще-то, в XVIII в., в эпоху Просвещения, философский склад ума проявлялся куда ярче, чем признавал Артур Янг. Исторические работы Вольтера охватывали все сферы культуры и общества, и даже Гиббон не ограничивался династическими и военными событиями в жизни Римской империи. Но происшедшая в XIX в. революция в исторической науке чрезвычайно усилила традиционное внимание к проблемам государства, политических организаций и войн. Германский историзм был тесно связан с определенной школой политической мысли (а ее лучшим выразителем стал Гегель), наделившей идею государства моральной и духовной силой, преобладающей над материальными интересами ее субъектов; из этого следовало, что государство

---

<sup>1</sup> Письмо Артура Янга из Флоренции, 1789 г., цит. по: J.R.Hale (ed.), *The Evolution of British Historiography*, Macmillan, 1967, p.35.

– главный двигатель исторических перемен. Кроме того, национализм, вдохновлявший столь многие исторические труды того времени, акцентировал внимание на соперничестве великих держав и борьбе угнетенных наций за политическое самоопределение. Мало кто из историков стал бы оспаривать утверждение Ранке, что «дух нашего времени... действует лишь посредством политических инструментов»<sup>1</sup>. Э.А.Фримен, историк, живший в викторианскую эпоху, выразился еще проще: «История – это политика прошлого»<sup>2</sup>. Особое внимание к критическому исследованию первоисточников лишь подтверждало эту тенденцию, ведь государственные архивы – богатейший и наиболее доступный массив источников – содержали в первую очередь данные о политическом процессе и развитии соответствующих институтов. Новые университетские профессора «ранкеанского склада» были, в сущности, специалистами по политической истории.

Однако, как следует из вышеприведенного определения, политическая история включает много разных тем, и ее содержание варьировалось и подвергалось влияниям моды немногим меньше по сравнению с другими направлениями исторической науки. Самого Ранке прежде всего интересовало то, каким образом великие европейские державы приобрели ярко выраженные индивидуальные черты в период от эпохи Возрождения до Французской революции. Объяснения он искал не столько во внутренней эволюции этих государств, сколько в их нескончаемом соперничестве друг с другом. Таким образом, важной частью наследия Ранке стал высокопрофессиональный подход к изучению внешней политики. С тех пор *история дипломатии* стала основным компонентом профессии, привлекательность которого периодически усиливалась, когда историки, откликаясь на «социальный заказ», старались понять причины очередной войны. В особенности после окончания первой мировой войны эта работа во многом скатилась на грань националистической пропаганды, а историки чересчур полагались на архивные документы только своей страны. Временами история дипломатии превращалась, по сути, в фиксацию того, что один дипломат или министр иностранных дел сказал другому, оставляя почти без внимания влияние более широких факторов, которые так часто формируют внешнеполитический курс, – финансовых, военных, настроений в обществе и т.д. Сегодня в лучших трудах по дипломатической истории международные отношения трактуются в их наиболее полном значении, а не как дипломатия отдельной страны. В этом смысле замечательным примером является книга Кристофера

---

<sup>1</sup> Leopold von Ranke, *History of Servia*, 1828, цит. по: Theodore H. von Laue, *Leopold Ranke: the Formative Years*, Princeton University Press, 1950, p.56.

<sup>2</sup> Edward A. Freeman, *The Methods of Historical Study*, Macmillan, 1886, p.44.



Торна «В какой-то мере союзники» (1978), где политика и стратегия западных держав в ходе войны с Японией в 1941-1945 гг. исследуется на основе документов из государственных и частных архивов США, Великобритании, Нидерландов и Австралии. Другие историки преодолели ограниченность традиционной истории дипломатии, продемонстрировав влияние внутривластных факторов на внешнюю политику<sup>1</sup>.

Многие современники и последователи Ранке в отличие от него самого сосредоточились на внутренней эволюции европейских национальных государств, став основными создателями *конституционной истории*. Такой подход особенно проявился в Британии, где история в 1860- 1870-х гг. заслужила статус уважаемой научной дисциплины почти целиком благодаря конституционной истории. Ее главный поборник Уильям Стаббс не жалел усилий, чтобы показать, какой интеллектуальный прорыв означает такой подход в сравнении с прежним уровнем исторической науки:

«Историей Институтов нельзя овладеть – к ней едва ли можно приблизиться без усилий. Она почти не содержит романтических эпизодов или живописных обобщений, придающих очарование Истории в целом, и не слишком искушает тот ум, что нуждается в этом для исследования Истины. Но она представляет огромную ценность и неизменный интерес для тех, кто осмелится ей заняться... Конституционная История обладает собственным взглядом, глубиной, языком; она позволяет видеть дела и характеры людей в ином свете, чем тот, что проливает на них фальшивый блеск оружия, и передает мнения и факты словами, недоступными слуху тех, кто способен различить лишь победные звуки фанфар»<sup>2</sup>.

Главной темой конституционной истории является, конечно, эволюция парламента, который викторианцы считали самым бесценным вкладом Англии в мировую цивилизацию и потому заслуживающим центрального места в национальной истории. Конституционная история Англии виделась как ряд крупных конфликтов, чередующихся с периодами постепенных изменений, уходящий в период раннего средневековья. Она нашла воплощение в серии важнейших государственных документов (таких, как Великая хартия и ей подобные), требующих углубленного текстуального исследования. В течение пятидесяти лет после выхода трехтомной «Конституционной истории Англии» Стаббса (1873-1878), научный престиж конституционной истории в стране был наиболее высоким; работа по ее переосмыслению ведется по сей день. В руках последователей Стаббса – в основном медиевистов, как

---

<sup>1</sup> См., например: Paul Kennedy, *The Rise of the Anglo-German Antagonism 1860-1914*, Allen & Unwin, 1980.

<sup>2</sup> William Stubbs, *The Constitutional History of England*, Vol.I, Oxford University Press, 1880, p.v.

и он сам, – предмет исследования разделился на две тесно взаимосвязанные специализации: историю права и административную историю. Первая в наши дни не привлекает особого интереса, но зато другая демонстрирует все признаки «второго дыхания»: историки стремятся истолковать лавинообразный рост функций и аппарата государственных органов, который все западные общества испытали в XX в.

## II

Неотъемлемой частью рассмотренных нами подходов является интерес к выдающимся личностям – государственным деятелям, формировавшим внешнеполитический курс, проводившим конституционные изменения или выступавшим против них лидерам революционных движений. Но даже помимо важной роли, которую играли эти люди, интерес к любым трудам по политической истории всегда был во многом связан с тем, что жизнь государственных деятелей представлена в документальных свидетельствах куда полнее и ярче, чем любой другой категории людей прошлого. С момента появления первых письменных трудов по истории ученые нашли способ удовлетворения подобного человеческого любопытства, прибегая к жанру *биографий*. Однако этот жанр зачастую подвержен чрезмерному воздействию мотивов, не совместимых с твердой приверженностью исторической правде. В средние века и эпоху Возрождения многие биографии имели откровенно дидактический характер, создавались с целью представить то или иное лицо как образец христианской морали и общественных добродетелей. Для викторианской эпохи характерны «мемориальные» биографии: наследники и почитатели того или иного общественного деятеля считали наиболее подходящим способом увековечить его память созданием развернутого жизнеописания, основанного почти исключительно на его собственных бумагах (многие из них тщательно сохранялись именно для этой цели) и собственных оценках своей деятельности. К деятелям далекого прошлого относились, пожалуй, с таким же почтением. Лишь немногие авторы осмеливались создавать честные, неприукрашенные биографии. Таким образом, читателю викторианской эпохи оставалось выбирать из галереи «достойных примеров», призванных поддерживать уважение к политической и интеллектуальной элите страны.

Хотя такого рода биографии время от времени появляются и сейчас, явные искажения, допускавшиеся биографами XIX в., в основном отошли в прошлое. Для историков важнейшим требованием к биографии является способность оценить персонаж в контексте его (или ее) эпохи. Историк-биограф должен быть не только хорошим специалистом по означенному периоду, но и исследовать все основные

коллекции документов, имеющие отношение к жизни персонажа, включая свидетельства подчиненных и противников, а не только родных и друзей. Короче говоря, писать исторические биографии – дело непростое. Работа «Георг I: курфюрст и король» (1978) потребовала от Рагнхильды Хаттон семилетнего исследования документов Королевского архива в Виндзорском замке, Государственного архива Великобритании, ганноверских архивов в Западной Германии и личных архивов ведущих политиков того времени как в Ганновере, так и в Англии. Для персонажей из более ранних периодов объем материалов будет скорее всего меньше, но круг поисков может оказаться гораздо шире; одна из причин полного отсутствия более или менее полных биографий хотя бы одного из римских пап эпохи Возрождения состоит в том, что их деятельность на раннем этапе и спектр их интересов в этом качестве могли охватывать всю Европу и отразиться в таком количестве разных архивов, что одному историку просто не под силу их исследовать.

Но даже в его нынешнем виде, удовлетворяющем научным требованиям, биографический жанр зачастую подвергается критике. Многие ученые отказывают ему в праве считаться серьезным историческим исследованием. Кроме того, постоянно возникает вопрос о тенденциозности. Хотя с того момента, как Литтон Стрэчи выставил напоказ человеческие слабости «выдающихся викторианцев» в одноименной иронически озаглавленной книге (1918), возникла своего рода мода на «разоблачительные» биографии; любой, кто посвятил годы изучению конкретной личности – что, кстати, не входило в задачу Стрэчи, – вряд ли сумеет избежать некоторого отождествления со своим героем и соответственно будет в какой-то степени оценивать эпоху его глазами. Более того, биографический жанр поощряет упрощенное, «линейное» истолкование событий. Морис Каулинг, ведущий специалист по новейшей политической истории Британии, утверждал, что политические события можно понять, лишь показав, как представители правящей элиты реагировали друг на друга.

«С этой точки зрения, – пишет он, – биографии почти всегда недостоверны. В них [политическая] система отражается лишь частично. Они рассматривают личность изолированно, тогда как ее общественная деятельность является неотъемлемой частью целого. Они предусматривают наличие прямых связей одной ситуации с другой. На самом деле эти связи таковыми не были. Система действовала по принципу круговой взаимосвязи: изменение положения одного из элементов влекло за собой изменение всех других»<sup>7</sup>.

Трудно отрицать тот факт, что и при самых лучших намерениях авторов биографический жанр почти всегда связан с некоторыми искажениями, но это ни в коем случае не означает, что им следует пренебрегать. Во-первых, замечания Каулинга не столь весомы применительно к политическим системам, где власть сосредоточена в руках одного человека; фундаментальные биографии Гитлера и Сталина имеют неоценимое значение для понимания истории нацистской Германии или Советской России. И, во-вторых, биографии людей, которых никак не назовешь выдающимися, могут при наличии достаточно богатой документальной базы пролить свет на неизученные аспекты прошлого: «Купец из Прато» Айрис Ориго (1957) воспроизводит «домашний мир» тосканского торговца XIV в., чьей единственной выдающейся чертой была тщательность, с которой он обеспечил сохранение для потомства своей объемистой переписки (см. с. 71). В-третьих, «гонители» биографии порой забывают, что критическое использование первоисточников требует систематических биографических исследований. Содержание таких источников поддается объективному истолкованию лишь при изучении жизненного пути и повседневной деятельности их авторов, хотя бы по этой причине историкам необходима хорошая биография Гладстона, чье письменное наследие за 50-летний период является столь важным источником по политической истории Британии XIX в.<sup>1</sup>

Наконец, и это, пожалуй, самое важное, биографии неоценимы для понимания мотивов и намерений. Среди историков идет много споров о том, какое место личные мотивы – наряду с экономическими и социальными силами – должны занимать в исторической интерпретации, и сейчас им уделяется куда меньше внимания, чем в XIX в.; но, несомненно, они играют определенную роль в объяснении исторических событий. Если мы признаем это, важное значение биографии становится очевидным. Действия личности можно полностью понять, лишь принимая во внимание эмоциональный настрой, темперамент и предрассудки. Конечно, сколько бы документов ни сохранилось о жизни того или иного человека, многое приходится домысливать: письменные свидетельства, особенно общественных деятелей, пронизаны самообманом, а также намеренным расчетом. Но биограф, изучивший становление своего персонажа с детских лет до зрелого возраста, скорее всего, выскажет правильные предположения. Именно по этой причине в нашем столетии биографы уделяют все больше внимания частной и внутренней жизни своих героев, а не только общественной карьере. С этой точки зрения изучение становления личности выдающегося деятеля прошлого само по себе имеет законное право на существование как предмет исторического исследования.

---

<sup>1</sup> Derek Beales, *History and Biography*, Cambridge University Press, 1981.

### III

Однако было бы ошибочно предполагать, что политическая история на практике остается «привязанной» к категориям, выработанным в XIX в., – дипломатической истории, конституционной истории и жизнеописаниям великих людей. Реакция против традиционных форм политической истории, в особенности в Британии, привела к выводу, что ни одна из них не адресуется прямо к тому, что следует считать центральным вопросом в исследовании политики, а именно проблемам приобретения и осуществления политической власти и повседневного управления политическими системами. С этой точки зрения традиция Стаббса, с ее упором на конституционные принципы и официальные властные институты, представляется бесполезной, хотя поднятые им центральные вопросы конституционной истории по-прежнему живо обсуждаются.

Наиболее влиятельным выразителем этой реакции был Л.Б.Нэмир, чьи работы по истории Англии XVIII в. стали своего рода поворотным моментом. Нэмира интересовали прежде всего не крупнейшие политические проблемы того времени и не жизненный путь ведущих государственных деятелей, а состав политической элиты, процесс проникновения в ее ряды и то, как это сказывалось на карьере рядовых членов парламента. Его метод, по сути, являлся коллективной биографией (для этого существует технический термин «просопография», впрочем, сам Нэмир его не употреблял). В своей книге «Политическая система в начале царствования Георга III» (1929) и более поздних работах Нэмир задавался вопросом, почему люди стремились к депутатскому креслу в палате общин, как они его добивались и какие соображения определяли их политическое поведение в парламенте. Ему удалось прорваться сквозь идеологические покровы, за которыми политики скрывали свои действия (чему в дальнейшем способствовали и обращавшиеся к этому периоду историки), и оказалось, что их мотивы и методы довольно неприглядны. В результате рухнула большая часть общепринятых представлений о политической жизни Англии XVIII в. – двухпартийная система, наводнение палаты общин правительственными ставленниками, атака молодого Георга III на конституцию. Подход Нэмира быстро освоили историки, занимавшиеся другими периодами, и к концу своей жизни он был увековечен в официальном издании «История парламента», которое в итоге предполагает включение биографий всех членов палаты общин с 1485 по 1901 г.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Первым этапом этого широкомасштабного проекта стал труд: sir Lewis Namier and John Brooke, *The House of Commons 1754-1790*, 3 vols, HMSO, 1964.

Хотя взгляд Нэмира на политическую историю, возможно, страдает узостью, его заслугой, по крайней мере, является коррекция искажений, допущенных апологетами «великих исторических личностей». Кроме того, он как нельзя лучше нашел подходы к освещению политической жизни Англии середины XVIII в., с ее фракционной раздробленностью и отсутствием сложных поворотных моментов. Однако в нескольких недавних работах, относящихся к другим периодам британской истории, когда подобные вопросы играли куда более важную роль, угол зрения еще более сужается. По мнению авторов этих работ, реальное значение имеет лишь «высокая политика» – то есть маневрирование с целью приобретения власти и влияния среди нескольких десятков людей, контролирующих политическую систему<sup>1</sup>. Крайним проявлением такого подхода является работа А.Б.Кука и Джона Винсента, оправдывающих свое истолкование ирландского кризиса по вопросу о гомруле 1885-1886 гг., который, несомненно, перерос рамки парламентского кризиса, в следующих выражениях:

«Объяснение функционирования Вестминстера состоит не в том, что он является вершиной единой организованной пирамиды власти, нижний ярус которой составляет народ, а в его характере как высокоспециализированного сообщества наподобие Сити или Уайтхолла, чьим главным интересом неизбежно становилась собственная абсолютно частная институциональная жизнь»<sup>2</sup>.

Результатом такого подхода, дающего полный карт-бланш анализу мотивов и маневров, является увлекательное исследование психологии политических конфликтов. Но при этом затрагивается лишь поверхностный слой событий. Стоит лишь признать, что политика – удел не только личностей, но также и результат столкновения противоположных экономических интересов и соперничество идеологий, становится ясна чрезвычайно важная роль широких кругов общества за пределами разреженной атмосферы королевских дворов или парламентов. Этот факт особенно очевиден в периоды революционных перемен, когда политическая система рушится в результате изменений в структуре экономики или общества. В более стабильной политической ситуации классовые и идеологические аспекты могут быть не столь явно выражены, но, тем не менее, они никуда не исчезают и анализ политических тенденций в сколько-нибудь долгосрочной перспективе требует их понимания. Историки должны, по меньшей мере, учитывать социальное и экономическое происхождение политической элиты и роль общественного мнения.

---

<sup>1</sup> Концепция «высокой политики» выдвигается в: Cowling, *The Impact of Labour*, pp.3-12.

<sup>2</sup> A.B.Cook and John Vincent, *The Governing Passion: Cabinet Government and Party Politics in Britain, 1885-1886*, Harvester, 1974, p.22.

Сам Нэмир осознавал это куда лучше, чем порой о нем говорят. Его сосредоточенность на «маленьких людях» в политике позволила показать палату общин XVIII в. как своего рода модель землевладельческих и «денежных» слоев общества того времени; но при этом он в основном оставался равнодушен к свидетельствам глубинных изменений в политике и обществе, порожденным внепарламентской политической борьбой. Поскольку в наше время политическая жизнь обычно представляется как особый замкнутый мир со своими ритуалами и обычаями, специалисты по политической истории весьма склонны рассматривать свой предмет изучения в чересчур узком смысле. Жизнеспособность политической истории – более, чем любого другого направления исторической науки, зависит от тесных связей со своими духовными «соседями» – экономической и социальной историей.

#### IV

Каждое из описанных выше направлений уже к концу XIX в. занимало солидное место на научной сцене. А значит, современные исследования в этих областях основаны на прочном фундаменте разработанных методик и прошлых открытий. Но результатом этих достижений историографии XIX в. стал тот факт, что исследования в основном ограничивались деятельностью отдельных личностей или узко понимаемых элит. В XX в. самым важным шагом в расширении масштаба исторических исследований стало переключение интереса с личностей на массы – от драматизма «публичных» событий, где особенно ясно проявлялись достижения и просчеты отдельных людей, к подспудным структурным изменениям, на протяжении веков влиявшим на судьбы простых людей.

Экономическая и социальная история, в которой выразились эти новые интересы, для ученых из поколения Ранке, можно сказать, просто не существовала. Однако к концу XIX в. в Западной Европе и Соединенных Штатах заканчивался период экономических преобразований, которые историческая наука того времени была просто не способна объяснить. Хотя на Западе учение Маркса лишь в последние сорок лет стало широко применяться в исторической науке (см. гл. 8), его теории об историческом значении средств производства и межклассовых отношений к началу XX в. получили распространение среди политически грамотных людей. Более того, рост профсоюзного движения и появление массовых социалистических партий настойчивей, чем когда-либо, выдвигали на политическую авансцену вопросы экономических и социальных реформ. События начала XX в. шли, в общем, в том же направлении. Для многих первая мировая война означала крушение идеала национального единства, который был главной

темой историографии XIX в., а серия поразивших мировую экономику кризисов и депрессий подтверждала необходимость более систематического изучения экономической истории.

На рубеже XIX-XX вв. сосредоточенность науки на политической истории стала все больше подвергаться критике со стороны самих историков. В некоторых странах стали раздаваться голоса, призывающие к новому, более широкому подходу, причем застрельщиками были американцы, выступавшие под знаменем «новой исторической науки». В Британии связь между историческими исследованиями и насущными социальными вопросами особенно ярко воплотилась в деятельности Сиднея и Беатрисы Вебб, социальных реформаторов и историков британского профсоюзного движения; в программе основанной ими в 1895 г. Лондонской школы экономики с самого начала присутствовала экономическая история.

Однако наиболее полно теория расширения спектра исторических исследований была разработана во Франции. Это было заслугой медиевиста Марка Блока и специалиста по XVI в. Люсьена Февра, чья школа сегодня пользуется, пожалуй, наибольшим авторитетом в международных исторических кругах. В 1929 г. Блок и Февр основали научный журнал «Анналы социальной и экономической истории», обычно называемый просто «Анналы»<sup>1</sup>. В первом же номере они призвали коллег не просто к более широкому подходу к истории, но и к привлечению к исследовательской работе историков других дисциплин, особенно общественных наук – экономики, социологии, социальной психологии и географии (последняя вызывает особый энтузиазм у сторонников школы «Анналов»). Признавая, что специалисты по этим дисциплинам занимаются прежде всего современными проблемами, Блок и Февр утверждали, что только с их помощью историки смогут выявить весь спектр важных вопросов, которые необходимо поставить при анализе источников. В то время как предыдущие реформаторы лишь ратовали за междисциплинарный подход, сторонники «Анналов» систематически внедряли его в практику, создав внушительный массив публикаций, из которых за пределами Франции наиболее известно, пожалуй, «Феодальное общество» Блока (1940). На этой основе ученые школы «Анналов» продолжали расширять и совершенствовать содержание и методологию исторической науки, и ряд новых направлений, разработанных в последние тридцать лет, во многом обязаны им своим существованием. В то же время принципиальные апологеты школы «Анналов» обрушились с насмешками на традиционные жанры политической истории и индивидуальной биографии –

---

<sup>1</sup> В 1946 г. журнал был переименован в «Анналы: экономика, общество, цивилизации».



такое отношение разделялось многими британскими специалистами по экономической и социальной истории: по выражению Тоуни, политика – это «убогая обложка более серьезных вещей»<sup>1</sup>.

## V

В новом интеллектуальном климате первой получила признание экономическая история. К 1914 г. в нескольких странах, включая Британию, она уже представляла собой четко очерченную область исследований. Связь экономической истории с проблемами современности во многом объясняет полученную ею фору; в большинстве университетов, особенно в Америке, экономическая история даже преподавалась не как часть исторической науки, а в сочетании с экономикой, дисциплиной, чьи претензии на научную респектабельность получили всеобщее признание немногим раньше – к концу XIX в. В Британии и континентальной Европе большинство первых исследований касались экономической политики государства – этот подход требовал минимальной адаптации от исследователя, прошедшего школу политической истории. Но эта основа была явно недостаточной, чтобы понять исторический феномен индустриализации, который с самого начала вызывал наибольший интерес специалистов по экономической истории во всем мире. Результатом стало особое внимание к Британии – первой страны, испытавшей промышленную революцию, – как со стороны самих англичан, так и других западноевропейских историков. Наибольшего успеха они добились в изучении различных отраслей местной промышленности, таких, как хлопкопрядильная в Ланкашире или сукноделение в Йоркшире; в их исследованиях подчеркивается значение личной инициативы и технических усовершенствований. Слабое отражение такого подхода можно и сейчас обнаружить в старомодных учебниках, представлявших британскую промышленную революцию как ряд изобретений, сделанных в конце XVIII в.

Сегодня специалисты по экономической истории могут с полным основанием утверждать, что их исследования охватывают все аспекты экономической жизни прошлого, то есть любой деятельности, связанной с производством, обменом и потреблением. Но характер и неравномерное распределение сохранившихся первоисточников по периодам и регионам жестко ограничивают возможность изучения экономической истории во всей полноте – в гораздо большей степени, чем политической истории. Сбор информации об экономике своего времени, во что сегодня вкладывается столько труда и денег, начался – самое

---

<sup>1</sup> Р.Х.Тоуни, из некролога Джорджу Анвину (1925), цит. по: N.B.Harte (ed.), *The Study of Economic History*, Frank Cass, 1971, p.xxvi.

раннее – в XVII в., и лишь в XIX в. государственные учреждения и частные организации занялись этим делом сколько-нибудь систематически. Знания по более ранним периодам истории добывают путем тщательного сопоставления документов, в которых учреждения или отдельные лица фиксировали свои финансовые операции, а сохранение такого рода документов можно объяснить только случайностью. В Англии поместные хозяйственные архивы в большом количестве сохранились начиная с XIII в., особенно документы церковных владений, которые, в отличие от светских, реже переходили из рук в руки, и, кроме того, уровень грамотности служителей церкви был выше<sup>1</sup>. Но единственным дошедшим до нас большим архивом средневековой английской торговой компании являются документы семьи Сели, которая была крупным экспортером шерсти в Нидерланды в 1470-1480-х гг.<sup>2</sup> Лишь в XVIII в. коммерческая документация становится по-настоящему обильной. Государственные архивы, конечно, сохранились лучше, но интерес властей к экономической деятельности подданных почти полностью ограничивался той ее частью, что облагалась налогами. Так, об основных направлениях английской внешней торговли начиная с XIII в. достаточно определенно можно судить, имея в распоряжении таможенные архивы<sup>3</sup>, но мы до обидного мало знаем о торговле внутри страны, которая практически не облагалась налогом. По средневековью и раннему новому времени круг вопросов экономической истории, на которые исследователи могут дать ответ с достаточной долей уверенности, резко ограничивается скудостью данных.

Экономическая история во многом представляет собой полную противоположность политической. У нее совершенно иная периодизация. Она часто преуменьшает различия в политической культуре и национальных традициях, особенно если речь идет об исследованиях современной глобальной экономики. Классическим же темам историков – личности и мотивации – она уделяет минимум внимания; вместо них на авансцене экономической истории – «объективные» факторы, такие, как инфляция или инвестиции. Более того, историки-экономисты с наслаждением подрывают концепции, воспринимаемые их коллегами-неспециалистами как аксиомы; самым «провокационным» примером могут служить несколько работ, отрицающих сам факт промышленной революции в Англии<sup>4</sup>. По всем этим причинам

---

<sup>1</sup> Полезной работой по этому вопросу является: J.Z.Titow, *English Rural Society, 1200-1350*, Allen & Unwin, 1969.

<sup>2</sup> Alison Hanham (ed.), *The Cely Letters 1572-1488*, Oxford University Press, 1975.

<sup>3</sup> См., например: E.M.Carus-Wilson and O.P.Coleman, *England's Export Trade 1275-1547*, Oxford University Press, 1963.

<sup>4</sup> R.C.Floud and D.McCloskey (eds.), *The Economic History of Britain since 1700*, 2 vols, Cambridge University Press, 1981.

многие специалисты по политической истории предпочитают держаться подальше от экономических исследований. Но на практике их собственная тематика испытала немалое позитивное влияние открытий, сделанных в рамках экономической истории. Например, финансовые трудности правительств эпохи Тюдоров – и политические осложнения с парламентом как следствие этого – можно понять, лишь приняв во внимание сильнейшую инфляцию в XVI в.<sup>1</sup> Интерпретация происхождения англо-бурской войны в 1899 г. между Британией и Трансваалем с его богатыми месторождениями золота также подвергается сейчас пересмотру благодаря наличию точной информации о колебаниях международного золотого стандарта в то время<sup>2</sup>.

В современной экономической истории можно выделить две основные тенденции, хотя они, конечно, не исчерпывают ее масштаба. Первой является история бизнеса – систематическое изучение отдельных фирм на основе их деловых архивов. Источниковая база обычно вполне приемлема, а фирмы, предоставляющие доступ к своим документам, порой оплачивают и расходы на исследования. Независимо от того, разделяет ли историк «капиталистические» ценности, лучшие из таких работ позволяют глубже понять механизмы экономического успеха, порой достигнутого в критический момент для истории данной отрасли. Это, несомненно, относится к новаторской работе Чарльза Уилсона «История Юнилевер» (1954). Проследив историю британских и голландских компаний – родоначальниц этого концерна, он показал, как производство мыла и маргарина достигло нынешних гигантских масштабов. Впрочем, значение работ по истории бизнеса может быть еще шире. Так, ответ на вопрос, в какой степени начало экономического упадка Британии в 1870-1914 гг. связано с несостоятельностью предпринимательских методов, во многом зависит от историков бизнеса<sup>3</sup>.

Историю бизнеса можно назвать экономической историей «снизу». Вторая тенденция в современной экономической материи, наоборот, ставит целью раскрыть динамику роста или упадка экономики в целом. Сегодня это важнейший из связанных с экономикой вопросов, волнующий как профессионалов-экономистов, так и общественность; а поскольку он примерно в том же виде присутствует на повестке дня уже двести лет, с начала индустриализации, то неудивительно, что он заинтересовал и историков. Но для того чтобы принять участие

---

<sup>1</sup> R.V.Outhwaite, *Inflation in Tudor and Early Stuart England*, 2nd edn, Macmillan, 1982.

<sup>2</sup> J.J.Van-Helten, "Empire and high finance: South Africa and the international gold standard, 1890-1914", *Journal of African History*, XXIII, 1982, pp.529-548.

<sup>3</sup> Обзор литературы по этой проблеме см. в: P.L.Payne, *British Entrepreneurship in the Nineteenth Century*, Macmillan, 1974.

в этом общем споре, им пришлось «отточить» свой аналитический инструментарий. Более ранние труды по экономической истории, такие, как «Экономическая история современной Британии» Дж.Клэпхэма (1926-1938), носили в основном описательный характер: они воссоздавали картину экономической жизни в определенный период, иногда ярко и подробно, но при этом объясняя, почему одна фаза развития сменялась другой, не проявляли особого интереса к собственно механизмам экономических перемен. Нынешние же споры на эту тему касаются прежде всего этих механизмов и проходят в контексте весьма сложных теоретических исследований проблем экономического роста, которые ведут ученые начиная с 1950-х гг. Чтобы должным образом представить собранный ими материал в этой области, историки должны гораздо лучше разобраться в существующих на этот счет различных теоретических концепциях; а поскольку проверка этих теорий зависит от точного исчисления индексов роста, то им следует овладеть количественными методами. Как мы увидим в гл. 9, начиная с 1960-х гг. все больше историков-экономистов избирают количественный подход в качестве основного – для них вопросы и методы исследования во многом предопределяются не историей, а экономической теорией. В этой области слом междисциплинарных барьеров, к которому полвека назад призвала школа «Анналов», достигнут в большей степени, чем во всех остальных.

## VI

Сущность и тематика *социальной истории* не так четко выражена, как у рассмотренных выше направлений. Лишь в последние тридцать лет специалисты в этой области достигли некоторой степени согласия относительно предмета своих исследований. До этого сам термин «социальная история» имел три различных толкования, каждое из которых находилось на периферии общих интересов исторической науки и рассматривалось (по крайней мере, в Британии) как маловажный придаток экономической истории. Первым толкованием была собственно история социальных проблем, таких, как бедность, невежество, сумасшествие и болезни. Историки сосредоточивали внимание не столько на людях, испытавших на себе эти бедствия, сколько на связанных с ними «проблемах» для общества в целом; они изучали реформаторскую деятельность частных филантропов по созданию благотворительных учреждений, в частности школ, сиротских приютов и больниц, а также возрастающую эффективность государственного вмешательства в социальную сферу начиная с середины XIX в. Ограниченность этой области социальной истории хорошо видна на примере двухтомной работы Айви Пинчбек и Маргарет Хьюитт «Дети в

английском обществе» (1969, 1973); они подробно, на основе документов, проследили достижения организованной благотворительности и государственной помощи на протяжении четырехсот лет, но самим адресатам всей этой помощи и внимания слово дается лишь изредка, а о детях, которые в помощи не нуждались, вообще не упоминается.

Во-вторых, под социальной историей подразумевалась история повседневной жизни – дома, на рабочем месте, в привычном окружении. По выражению Дж.М.Тревельяна, «социальную историю можно определить «от противного» – как историю народа за вычетом политики»<sup>1</sup>. В его книге «Английская социальная история» (1944), долгое время считавшейся образцовым исследованием, мало что говорится об экономике, и она во многом напоминает «сборную солянку» разнообразных тем, не подошедших для включения в его более ранний (в основном связанный с политическими проблемами) труд «История Англии» (1929); книга изобилует живописными деталями, но ей не хватает тематического единства. Многие из подобных работ выдержаны в эллигических тонах: чувствуется сожаление о доиндустриальной эпохе, когда повседневная жизнь не подавляла человека своими масштабами и соответствовала естественному ритму, не вызывая отвращения перед anomией и уродствами городского бытия, присущими современности.

И наконец, существовала история «простых людей» или трудящихся классов, которые оставались почти за рамками политической истории, а в экономической выступали лишь в инертном и обобщенном качестве – «рабочая сила» или «потребители». В Британии в этой области социальной истории с конца XIX в. преобладали историки, сочувственно относившиеся к рабочему движению. Зачастую, несмотря на пламенную приверженность «рабочему делу», их труды почти не испытывали влияния марксизма, а главной целью было привить рабочему движению коллективное самосознание; они добивались ее не в рамках новых теорий (для чего марксизм, конечно, был бы весьма пригоден), а в историческом опыте самого рабочего класса на протяжении предыдущего столетия – материальной и социальной обездоленности, традиции самопомощи и борьбе за повышение зарплаты и улучшение условий труда. Для Дж.Коула, ведущего лейбористского историка в Британии 1930-1940-х гг., самым главным было, чтобы «рабочий класс, когда он сможет выступить в полную силу, смотрел не только вперед, но и оглядывался назад и проводил политику в свете собственного исторического опыта»<sup>2</sup>. История рабочего класса имела тенденцию к

---

<sup>1</sup> G.M.Trvelyan, *English Social History*, Longman, 1944, p.vii. Почти такое же определение дается в: G.J.Renier, *History: Its Purpose and Method*, Allen & Unwin, 1950, p.72.

<sup>2</sup> G.D.H.Cole, *A Short History of the British Working-Class Movement, 1789-1947*, Allen & Unwin, 1948, pp.v-vi.

существованию с своим особым мире, мало влияя на тех, кто не был связан с самим рабочим движением. Но благодаря этому политическому контексту труды по истории рабочего класса продолжают создаваться, правда, под новыми названиями вроде «истории снизу» или «народной истории». Изначально история рабочих играла важнейшую роль в движении «Историческая мастерская», возникшем в 1970-х гг. как форум академических и местных историков на базе Раскин-Колледж в Оксфорде, тесно связанных с профсоюзным движением.

Сейчас, однако, «Историческая мастерская» отводит не менее, если не более важное место другому новому течению «оппозиционной» истории – истории женщин. Исследования этого направления появились в начале 1970-х гг. как один из аспектов движения за освобождение женщин. История рабочего движения вызывала у ученых-феминисток не меньше раздражения, чем традиционная политическая, поскольку рабочие, объединявшиеся в профсоюзы или расслаблявшиеся в пивных и клубах, несомненно, ассоциировались со словом «мужчины». С тех пор историческая справедливость во многом восстановлена: предметом исследования стала роль женщин как работниц на фабриках и шахтах, как активисток оуэнистского и чартистского движений, не говоря о борьбе за эмансипацию, как жен и матерей и как предшественников многих нынешних медицинских и социальных профессий<sup>1</sup>. Но наибольшее влияние история женщин оказала на общую социальную историю в области изучения семьи. Еще в 1960-х гг. началась узкоспециальная дискуссия историков о размерах семьи и уровнях рождаемости<sup>2</sup>. С появлением истории женщин усилилось внимание исследователей к внутренней динамике развития семьи, которая рассматривалась в тесной взаимосвязи с такими вопросами, как власть, воспитание и зависимость. Реальность, скрывавшаяся за традиционным викторианским образом «матери-ангела», потребовала также пересмотра наших представлений о жизни мужчин и детей внутри семейного круга<sup>3</sup>. В результате появления этих разнообразных трудов вся область частной жизни – в отличие от «публичного» мира традиционной истории – стала сферой научного анализа.

Но ни один из вышеперечисленных подходов не способен исчерпывающе объяснить, почему социальная история, столь долго остававшаяся

---

<sup>1</sup> Из растущего массива первоклассных работ можно выделить две: Barbara Taylor, *Eve and the New Jerusalem: Socialism and Feminism in the Nineteenth Century*, Virago, 1983; Anne Summers, *Angels and Citizens: British Women as Military Nurses 1854-1914*, Routledge & Kegan Paul, 1988.

<sup>2</sup> Peter Laslett and Richard Wall (eds.), *Household and Family in Past Time*, Cambridge University Press, 1972.

<sup>3</sup> John Tosh, *A Man's Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England*, Yale University Press, 1999.

«бедной родственницей», играет ныне столь важную роль. Дело в том, что в последние годы ее тематика была пересмотрена в сторону существенного расширения. Ныне социальная история претендует ни больше ни меньше, чем на изучение социальной структуры общества. Понятие «социальная структура» является социологической абстракцией, настолько неопределенной, что ее легко можно – и это неоднократно делалось – завернуть в любое количество теоретических упаковок. Но по сути она означает совокупность социальных связей между множеством различных групп общества. Под влиянием марксизма львиная доля внимания уделялась классам, но этим количество изучаемых групп ни в коей мере не исчерпывается: существуют также «сквозные» понятия возраста, пола, расовой принадлежности и рода занятий. Социальная структура на первый взгляд кажется статичным, вневременным понятием частично из-за того, что именно так оно трактуется в трудах ряда социологов. Однако историки не считают, что оно установилось раз и навсегда и, естественно, тяготеют к более динамичному подходу. По выражению Кита Райтсона, ведущего специалиста по социальной истории Англии раннего нового времени:

«Общество – это процесс. Оно никогда не бывает статичным. Даже его наиболее стабильные структуры являются проявлением равновесия динамических сил. Для специалиста по социальной истории самая трудная задача – «ухватить» этот процесс, одновременно выявляя долгосрочные изменения в организации общества, в социальных отношениях, а также в смысловых оценках, которыми пронизаны социальные отношения»<sup>1</sup>.

На фоне стабильной социальной структуры особое значение часто приобретают те личности или группы, чья роль возрастает или падает, и поэтому социальная мобильность стала объектом серьезного внимания историков. В определенный момент социальная мобильность вступает в противоречие с поддержанием существующей структуры, и тогда может возникнуть новая форма общественного устройства – такие фундаментальные изменения произошли в ходе промышленной революции. Урбанизация также требует специального изучения не только в ее экономическом аспекте, но и как процесс социальных перемен, включающий ассимиляцию иммигрантов, появление новых форм социальной стратификации, углубление различия между работой и отдыхом и т.д.; важные новаторские исследования на этот счет были проведены в Америке, да и в Британии «городская история» стала теперь важной специализированной отраслью<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Keith Wrightson, *English Society 1580-1680*, Hutchinson, 1982, p.12.

<sup>2</sup> См.: Stephan Thernstrom, “Reflections on the new urban history”, *Daedalus*, C, 1971, pp.359-375. О ситуации в британской науке см.: H.J.Dyos, *Exploring the Urban Past*, Cambridge University Press, 1982.

Изучения социальной структуры и социальных изменений может иметь существенное значение для экономической и политической истории, и специалисты по социальной истории в последние годы уже «застолбили» немалые «делянки» в этих областях. Чрезмерно затянувшийся «спор о джентри» представлял собой в основном дискуссию относительно связи между меняющейся социальной структурой и политическим конфликтом в Англии в течение столетия, предшествовавшего Гражданской войне<sup>1</sup>. Истоки промышленной революции теперь ищут не только в экономических и географических факторах, но и в социальной структуре английского общества XVIII в., особенно в «открытой аристократии» – социальном слое, характеризующемся одновременно притоком и оттоком людей и богатств<sup>2</sup>. Здесь социальная история приближается к «истории общества» в самом широком смысле, чем, как многие считают, ей и следует заниматься<sup>3</sup>.

Многое из того, что было сделано социальной историей раньше в рамках более узких тем, вполне соответствует этим новым задачам, стоит лишь изменить систему координат. Среди «новых социальных историков» много таких, которые начинали с более узкой специализации в рамках традиционных направлений. Работы Э.П.Томпсона, наиболее известного специалиста по социальной истории в 1960-1970-х гг., уходят корнями в лейбористскую историческую традицию, однако в книге «Формирование английского рабочего класса» (1963) он пошел дальше; рост сознания рабочего класса в ходе промышленной революции рассматривается в максимально широком контексте, включая, наряду с фабричной системой и происхождением тред-юнионизма, также и аспекты, связанные с религией, досугом и народной культурой. Кроме того, вопреки установке на «исключение» политики, в книге постоянно ощущается грозное присутствие государства как инструмента классового контроля.

При расширении тематики социальной истории возросли и требования к исследовательским технологиям. Пожалуй, ни в одном другом направлении исторической науки первоисточники не отличаются таким разнообразием, разбросанностью и качественной неравномерностью. Подавляющее большинство существующих исторических документов было создано, в конечном счете, крупными структурами и институтами, такими, как государство, церковь и бизнес. И если такое положение допустимо для политических исследований, а отчасти и для

---

<sup>1</sup> Обзор литературы по этому вопросу см. в: Lawrence Stone, *The Causes of English Revolution, 1529-1642*, Routledge & Kegan Paul, 1972.

<sup>2</sup> Harold Perkin, *The Origins of Modern English Society, 1780-1880*, Routledge & Kegan Paul, 1969.

<sup>3</sup> E.J.Hobsbawm, "From social history to the history of society", *Daedalus*, C, 1971, pp.20-45.



экономических, то для специалиста по социальной истории здесь возникает масса проблем. Узкоспециализированный подход, характерный для социальных исследований в прошлом, частично объясняется стремлением историков идти по пути наименьшего сопротивления, обращаясь к документам учреждений с ярко выраженной «социальной» функцией – школ, больниц, профсоюзов и т.п.; в результате их работа чаще всего и ограничивалась историей тех или иных институтов. Однако новая социальная история требует куда большего. Социальные группы не имеют собственных архивов. Их состав и положение в социальной структуре необходимо анализировать на основе широкого круга источников, созданных в совершенно других, зачастую сугубо практических целях. Представление о трудоемкости такой работы дает «Кризис аристократии, 1558-1641» Лоуренса Стоуна (1965). Его выводы основаны в первую очередь на анализе хозяйственных документов и частной переписке дворянских семей, часть этих источников хранится в библиотеках и архивах графств, но многие и по сей день находятся в частных рукописных собраниях хозяев старинных замков. Кроме того, он обращается к записям судебных процессов и переписке с государственными органами, находящимися в Паблик Рекорд Офис, к литературным источникам того времени и огромному количеству трудов по местной и семейной истории, созданных за последние двести лет.

Еще больше проблем связано с историей народных масс за пределами избранного круга грамотного меньшинства. Их положение и взгляды стали объектом систематического изучения лишь в XIX в. Наши представления о «низших сословиях» в более ранний период формируются на основе тех поступков, что привлекали внимание властей: тяжб, мятежей, и особенно уголовных преступлений и нарушений церковных правил. В моменты народных выступлений это внимание становилось просто всепроникающим, и тогда документы судебных и полицейских архивов проливают свет на целые сегменты общества, которые в обычное время остаются «невидимыми». Одним из характерных примеров являются волнения, периодически возникавшие в Лондоне на протяжении XVIII в.<sup>1</sup> Кроме того, страх перед революцией мог заставить власти обостренно воспринимать все, что исходило от низших классов, как это было в Англии во время наполеоновских войн: утверждение Э.П.Томпсона, что «если бы не шпионы, стукачи и перлюстраторы, история английского рабочего класса осталась

---

<sup>1</sup> См., например: George Rudé, *Paris and London in the Eighteenth Century: Studies in Popular Protest*, Fontana, 1970. Критический обзор литературы по этому вопросу см. в: Joanna Innes and John Styles, “The crime wave: recent writing on crime and criminal justice in eighteenth-century England”, *Journal of British Studies*, XXV, 1986, pp.380-435.

бы неизвестной», является не таким уж большим преувеличением<sup>1</sup>. Ценность таких материалов особенно велика, поскольку в другие периоды информация о простом народе куда скуднее. Судебные архивы тоже полезны, но в стабильной ситуации правовая активность снижается, а значит – куда труднее нарисовать «портрет» той или иной общины. Для обоснованных обобщений необходимо просмотреть огромное количество судебных документов, обычно в сочетании с другими источниками: поместными архивами, записями об оплате налогов, завещаниями и материалами благотворительных учреждений. В Британии, как и в других странах такой работы еще практически непочатый край.

## VII

Специализацию историков обычно определяют в рамках одного из описанных в этой главе направлений. Такая сортировка, вероятно, неизбежна. Во всех отраслях знаний большинство открытий делают узкие специалисты, и базовая градация истории на политическую, экономическую и социальную, по крайней мере, отражает значительные, узнаваемые аспекты человеческой мысли и деятельности. Проблема здесь в том, что действия людей невозможно четко разложить по полочкам без ущерба для полноты картины – политические конфликты зачастую являются отражением материальных противоречий, темп экономических перемен определяется жесткостью или гибкостью социальной структуры общества и т.д. Историки, специализирующиеся лишь в определенной научной сфере, рискуют преувеличить значение какой-то одной категории факторов в своих концепциях исторического развития. Экономическая история, не выходящая за пределы производственных факторов, политическая, ограниченная нэмировским подходом, история международных отношений, фиксирующая лишь нюансы дипломатии, – все это примеры того, что Дж.Хекстер удачно назвал «взглядом из туннеля»<sup>2</sup>. Социальная история уже далеко ушла в сторону от широкомасштабных амбиций 20-летней давности. Кит Райтсон сетует на «отгороженность английской социальной истории», понимая под этим ограничение ее научного потенциала узкой периодизацией и раздроблением на изолированные подразделы вроде истории народной культуры и преступности<sup>3</sup>. «Взгляд из туннеля» – профессиональная болезнь историков (как и

---

<sup>1</sup> E.P.Thompson, *Writing by Candlelight*, Merlin Press, 1980, p.126.

<sup>2</sup> J.H.Hexter, *Reappraisal in History*, Longman, 1961, pp.194-195.

<sup>3</sup> Keith Wrightson, “The enclosure of English social history”, в кн.: Adrian Wilson (ed.), *Rethinking Social History: English Society 1570-1920 and its Interpretation*, Manchester University Press, 1993, pp.59-77.

других ученых); особенно сильно она проявляется у тех, кто стремится применить в своих исследованиях теории и методы общественных наук, обычно экономики или социологии.

Казалось бы, эти недостатки можно устранить в обзорных трудах – общих работах, синтезирующих результаты исследований многих специалистов в единое целое. Но достижения историков в этом жанре прискорбно малы. Традиционно подготовка таких трудов поручалась специалистам по политической истории на том основании, что именно она является стержневой. Это порой приводило к странным результатам. Даже вышедший в 1960 г. том оксфордской серии по истории Англии, охватывающий период с 1760 по 1815 г., был почти целиком посвящен политическим событиям; лишь 10 % книги касались экономических вопросов, хотя ни одна из тем по данному периоду не может сравниться по значению с началом промышленной революции<sup>1</sup>. Нынешние работы обзорного характера отличаются большей сбалансированностью, а специалисты по политической истории уже не занимают монопольного положения. Но общие работы, реально достигающие синтеза, до сих пор являются скорее исключением из правил<sup>2</sup>. Их структура зачастую жестко соответствует общепринятому разграничению на политику, экономику и общество, поскольку историки, страдающие «взглядом из туннеля» в собственных исследованиях, неизменно придерживаются такого же подхода и при попытке обобщения.

Таким образом, существуют убедительные причины для отказа от тематической специализации в исторических исследованиях. В этом плане влияние школы «Анналов» было особенно благотворным. Ее основатели призывали не столько к созданию новых специализированных направлений – хотя они, несомненно, выступали против господства политической истории в тогдашней французской науке, – сколько против раздробленности: направление исследований должно определяться не ярлыком, присвоенным историку и не характером избранного массива источников, а интеллектуальными задачами решения конкретной исторической проблемы. Конечной целью историка является познание жизни людей во всем ее разнообразии, или, если воспользоваться выражением, ставшим девизом школы «Анналов», создание «тотальной истории» (*histoire totale* или *histoire integrale*). Воплощение этого идеала часто приписывается Фернану

---

<sup>1</sup> А точнее, 58 из 573 страниц книги Дж. Стивена Уотсона «Царствование Георга III, 1760-1815». См.: J. Steven Watson, *The Reign of George III, 1760-1815*, Oxford University Press, 1960.

<sup>2</sup> Два таких выдающихся исключения – J.R.Hale, *Renaissance Europe, 1480-1520*, Fontana, 1971, и Jacques Le Goff, *Medieval Civilization, 400-1500*, Blackwell, 1988.

Броделю, преемнику Февра на посту редактора «Анналов» и дуайену профессиональных историков Франции. В своем «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (1947) Бродель осветил все аспекты этой огромной темы ярко и подробно: физическую географию и демографию, экономическую и социальную жизнь, политические структуры и политику Филиппа II и его соперников в Средиземноморье. Эта книга является, пожалуй, высочайшим достижением школы «Анналов», но и она не дотягивает до уровня «тотальной истории», поскольку, по утверждению многих критиков<sup>1</sup>, различные подходы не интегрированы друг с другом: политическая часть, составляющая третий, заключительный, раздел книги, во многом оторвана от географического и экономического обзора в первых двух.

Опыт Броделя позволяет предположить, что идеала «тотальной истории» нельзя достичь на таком огромном пространстве, как Средиземноморский регион. Вряд ли это получится и в масштабе отдельной страны. Чтобы овладеть всеми источниками и добиться тематической интеграции, необходимо резко сузить географические рамки исследования. Поэтому, при всей парадоксальности такого утверждения, «тотальная история» на практике означает локальную историю. Традиционно такая история оставалась заповедником для любителей-краеведов, чье видение ограничивалось местным патриотизмом и их социальным положением в конкретной общине (обычно они были сквайрами или приходскими священниками). Им куда лучше удавалось собирать детали прошлого, чем их интерпретировать. В научных кругах работа краеведов в основном игнорировалась. Однако в последние сорок лет история определенной местности все больше привлекает профессиональных ученых, поскольку позволяет преодолеть традиционные барьеры специализации. Историки школы «Анналов» первыми обратились к локальной истории нового типа. Сила присущего им подхода проявилась в исследованиях Леруа Ладюри о сельском Лангедоке XV-XVIII вв.; их тему он сформулировал в своей первой книге «Крестьяне Лангедока» (1966) как:

«...долгосрочные сдвиги в экономике и обществе – базисе и надстройке, материальной и культурной жизни, социологической эволюции и коллективной психологии – все это в рамках сельского мира, который, по сути, во многом оставался традиционным»<sup>2</sup>.

В Британии внимание сосредоточивалось не столько на регионах, сколько на отдельных городках и деревнях, где историк мог изучить каждую пядь земли и каждую страницу документов. Но стремление к

<sup>1</sup> См. в особенности: J.H.Hexter, *On Historians*, Collins, 1979, pp.132-140.

<sup>2</sup> Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasants of Languedoc*, University of Illinois Press, 1974, p.289.

«тотальной истории» здесь столь же велико. По словам У.Хоскинса, «местный историк в чем-то похож на старомодного терапевта из истории английской медицины, который теперь сохранился лишь в памяти пожилых людей. Такой врач лечил человека “целиком”»<sup>1</sup>.

Даже на местном уровне создание подлинно «тотальной истории» сопряжено с огромными трудностями, и лишь ничтожное количество работ могут претендовать на это. Но множество историков-краеведов, хотя бы частично воспринявших идею «тотальной истории», действуют как мощный катализатор слома барьеров, которым столь привержены традиционные исследователи, работающие над проблемами более широкого масштаба. Для специалистов по политической истории, в особенности, локальная история служит напоминанием, что их тематика относится не только к центральным правительственным институтам, но и к тому, как они управляли простыми людьми; политическую жизнь следует рассматривать не как закрытую арену, а скорее как пространство, на котором в обществе сталкиваются противоположные интересы. Так, в результате многочисленных исследований на уровне графств, проведенных в последние годы, историки получили более глубокое представление о взаимосвязи религиозных, экономических и политических факторов, приведших к Гражданской войне в Англии<sup>2</sup>. Тот факт, что локальная история столь высоко ценится современными историками, вселяет уверенность, что традиционные барьеры специализаций на пути тематически интегрированного видения прошлого будут устранены.

---

<sup>1</sup> W.G.Hoskins, *English Local History: The Past and the Future*, Leicester University Press, 1966, p.21.

<sup>2</sup> Более полно этот вопрос рассматривается в: R.C.Richardson, *The Debate on the English Revolution Revisited*, Routledge, 1988, Ch.7.



## Глава 6

### Изложение и интерпретация

Целью предыдущей главы было очертить основные научные направления, позволяющие сделать процесс первоначального исследования физически выполнимой задачей; но она неизбежно переросла в оценку вклада, внесенного каждым из этих направлений в развитие исторического знания; тем самым мы коснулись важной промежуточной стадии в работе историка – упорядочения материала в письменной форме. Метод критического анализа первоисточников, описанный в гл. 4, обычно приводит к установлению подлинности большого количества фактов, относящихся к конкретной исторической проблеме или к нескольким взаимосвязанным проблемам, но значение этого материала можно полностью оценить, лишь составив из отдельных данных целостную картину. Способ, который позволит добиться удачного соединения фрагментов в единую мозаику, ни в коей мере нельзя назвать очевидным или предопределенным заранее, и результат обычно достигается методом проб и ошибок. Для многих историков, обладающих несомненным талантом к работе с первоисточниками, систематизация данных является мучительно долгим и трудным процессом. Они постоянно испытывают искушение продолжать сбор материала до бесконечности, оттягивая момент, когда придется приступить непосредственно к написанию работы.

## I

Существует мнение что написание научного труда в любом случае не имеет особого значения. Неподдельный интерес, испытываемый такими историками при анализе оригинальных документов, приводит их к мысли, что названия «историческая наука» заслуживает только изучение первоисточников, желательно в оригинале, или, в крайнем случае, в опубликованном виде, если издание достойно доверия. Одним из самых жестких сторонников этой точки зрения был В.Гэлбрейт, выдающийся медиевист, профессор Оксфордского университета в 1950-х гг. Почти все опубликованные им работы посвящены анализу конкретных документов и помещению их в исторический контекст – например, «Книги Страшного суда» или хроник Сент-Олбанского аббатства; несмотря на свои уникальные знания по истории Англии XIV в., он не написал ни одной общей работы на эту тему. Вот как он это объяснял:

«В итоге важно не столько то, что мы пишем, или то, что написано другими на исторические темы, сколько сами оригинальные источники. ...Именно в оригинальных источниках заложена мощная сила, вдохновляющая будущие поколения»<sup>1</sup>.

Такая пуристская позиция, несомненно, имеет определенную логику. Она вызовет сочувственный отклик у всех историков, чья работа связана скорее с источниковедческим, а не с проблемным подходом (см. выше, с. 81-82) – для многих из них чрезвычайно трудно, а то и вообще невозможно, определить момент, когда пора приступать к синтезу. В истории, в отличие от большинства научных дисциплин, бессистемное погружение в «сырьевые материалы» интеллектуально оправданно. «Встреча» с оригинальными источниками должна присутствовать в плане каждого исторического исследования, и нет ничего плохого в том, чтобы исследователи и в дальнейшем завоевывали научную репутацию, публикуя подобные материалы. Однако отрицание Гэлбрейтом научных трудов в общепринятом смысле этого слова ни в коей мере не может рассматриваться в качестве «рецепта». За этим, несомненно, должен следовать отказ от социальной роли истории, которая требует, чтобы историки делились своими знаниями с широкой аудиторией. Но даже если абстрагироваться от тезиса о социальной роли, результат был бы катастрофическим. Ведь именно в процессе написания научного труда историк придает смысл своим знаниям и привлекает внимание к результатам исследований. Немалая часть научных работ имеет форму сообщения о выводах, которые были абсолютно ясны самому ученому еще до того, как он взялся за

<sup>1</sup> V.H.Galbraith, *An Introduction to the Study of History*, C.Watts, 1964, p.80.



перо. Вряд ли все работы создаются подобным образом. Историческая реальность отражается в источниках с такой сложностью, а порой и противоречивостью, что только «дисциплинирующее» стремление воплотить ее в связном тексте, имеющем начало и конец, позволяет исследователю осознать все взаимоотношения между различными областями полученного знания. Многие историки отмечали этот творческий аспект подготовки научного труда, не менее увлекательный, чем «детективные» розыски в архивах<sup>1</sup>. Создание исторического труда необходимо для понимания истории, и тот, кто уклоняется от этой задачи, не можете полным основанием называться историком.

## II

Исторические труды отличаются широким разнообразием литературных форм. Три основных метода – описание, повествование и анализ – можно сочетать различными способами, и каждый новый проект по-новому ставит вопрос об их соотношении. Отсутствие четких правил частично отражает гигантское многообразие исследовательских тем; не существует единой литературной формы, способной выразить все аспекты человеческого прошлого. Но в гораздо большей степени это результат различных и порой противоречивых целей, поставленных авторами, и в первую очередь несоответствия, заложенного в основу любого исследования, между стремлением *воссоздать* прошлое и *истолковать* его. В самом упрощенном виде разнообразие исторических трудов можно объяснить тем, что повествование и описание в основном служат первой цели, а анализ – второй.

О том, что воссоздание прошлого – «реконструкция данного исторического момента во всей его полноте, конкретности и сложности»<sup>2</sup> – представляет собой нечто большее, чем чисто интеллектуальную задачу, свидетельствует наиболее характерная для него литературная форма: *описание*. То есть историк пытается создать у читателей иллюзию непосредственного присутствия, воспроизводя атмосферу и «расставляя декорации». Огромное количество «средненьких» исторических трудов показывает, что такого эффекта нельзя добиться одним умением разбираться в источниках. Для этого необходимы игра воображения и способность подмечать детали сродни тем, которыми обладают писатели и поэты. С такой аналогией согласился бы любой из великих мастеров описательной истории, творивших в XIX в.,

---

<sup>1</sup> См., например: E.H.Carr, *What is History?*, Penguin, 1964, pp.28-29; J.G.A.Pocock, “Working on ideas in time”, in: L.P.Curtis (ed.), *The Historian’s Workshop*, Knopf, 1970, pp.161, 175.

<sup>2</sup> H.Butterfield, *History and Human Relations*, Collins, 1951, p.237.

таких, как Маколей и Карлейль, испытывавших большое влияние художественной прозы своего времени и уделявших огромное внимание стилю своих трудов. Современных историков не отличает столь осознанная «литературность», но и они способны создавать необыкновенно яркие описания – свидетельством тому может служить нарисованная Броделем панорама Средиземноморья XVI в.<sup>1</sup> Кем бы еще ни считать таких историков, они, несомненно, являются художниками, и их число крайне невелико.

Работа Броделя нетипична для сегодняшней науки из-за того значения, которое он придает описанию. Ведь этот метод, при всей его эффективности и даже необходимости, не может выразить главного интереса историков к разворачиванию процесса во времени. А потому он всегда играл подчиненную роль по отношению к методу воссоздания истории – повествованию или *narrativу*. В большинстве европейских языков слово «история» обозначает как исторический процесс, так и рассказ (*histoire* по-французски, *storia* по-итальянски, *Geschichte* по-немецки). Нарратив – это еще одна форма изложения, характерная как для исторической науки, так и для художественной литературы – особенно романистики и эпической поэзии, – и она во многом объясняет привлекательность исторических трудов для читателя. Как и другие формы повествования, исторический нарратив может служить развлечением благодаря способности держать читателя в напряжении и вызывать сильные эмоции. Но нарратив также является важным методом историка, когда он излагает материал так, как будто сам является участником событий прошлого или как бы наблюдает их со стороны. Наиболее успешно позволяют воссоздать прошлое те формы повествования, которые близко передают ощущение времени, присущее нашей повседневной жизни; мы словно отсчитываем час за часом, если речь идет о сражении, день за днем, когда идет описание политического кризиса, или год за годом в случае ознакомления с той или иной биографией. Великие ученые, занимавшиеся воссозданием исторического прошлого, неизменно были мастерами драматичного и яркого повествования. Современная классика нарративной истории включает «Историю Крестовых походов» Стивена Рансимена (3 тома, 1951-1954) и две книги К.В.Веджвуд о правлении Карла I: «Мир короля» (1955) и «Война короля» (1958). В работах такого уровня в полной мере проявляются достоинства исторического повествования: точная хронология, внимание к роли случайности, иронии судьбы и особенно к реальной сложности событий, в которой столь часто «тонут» их участники. Свой долг по отношению к людям

---

<sup>1</sup> Fernand Braudel, *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, Collins, 1972.

прошлого Веджвуд выразила фразой, обобщающей все надежды сторонников историзма: «воссоздать непосредственность их опыта»<sup>1</sup>. В прекрасно написанном бестселлере «Граждане» (1989) Саймон Шама стремится достичь такого же эффекта применительно к Французской революции.

### III

Но историки, конечно, заняты не только «воскрешением». Этой задаче вполне бы соответствовала трактовка событий прошлого в изолированном, произвольном виде, но на самом деле историки трактуют их по-иному. Создание научного труда основано на предположении, что конкретное событие связано с тем, что происходило раньше, одновременно, а также с тем, что за ним последовало; короче, оно рассматривается как часть исторического процесса. Особенно важными, с точки зрения историка, считаются события, которые при ретроспективном взгляде оказались важными вехами развивающегося процесса. Вопросы «Что произошло?» и «Каковы были условия тогда-то и тогда-то?» являются предварительными – хотя и необходимыми – для появления других вопросов: «Почему это произошло?» и «К чему это привело?». Можно сказать, что родоначальниками научных трудов, основанных на этих принципах, были историки-философы эпохи Просвещения. В XIX в. они получили дальнейшее развитие благодаря великим историкам-социологам – Токвилю, Марксу, Веберу, – стремившимся выяснить причины экономических и политических преобразований своей эпохи. Вопросы причинно-следственных связей находились в центре самых жарких научных споров последнего времени.

Вопрос «Почему?» может звучать и так: «Почему тот или иной человек принял именно такое решение?». Историки всегда уделяли большое внимание мотивации как из-за традиционной важности биографического жанра в исторических исследованиях, так и потому, что мотивы великих людей хотя бы частично отразились в сохранившихся бумагах. Проблематика, связанная с целями и тактикой министров и дипломатов, занимает особое место в дипломатической истории. Но даже в упрощенной форме вопрос «Почему?» не так прост, как кажется. Какими бы правдивыми и ясными ни были заявления о намерениях, они вряд ли способны прояснить все. Каждая культура или социальная группа имеет свои стереотипы – «сами собой разумеющиеся» рецепты и ценности, способные оказать глубокое влияние на поведение людей. Чтобы не упустить из вида этот аспект, историк должен хорошо разбираться в интеллектуальном и культурном контексте

---

<sup>1</sup> C.V. Wedgwood, *The King's Peace 1637-1641*, Collins, 1955, p.16.

рассматриваемого периода и уметь быстро разглядеть характерные черты этого контекста в документах. Возьмем, например, вопрос о причинах первой мировой войны: Джеймс Джолл привлек внимание к таким подспудным чертам европейского политического мышления, как смертельный страх перед революцией и модная в то время теория о выживании сильнейших. Он указывает, что в кризисные периоды, такие, как июль 1914 г., политические лидеры скорее всего действовали на основе подобных «невывказанных» стереотипов: находясь в состоянии паники, они были не способны трезво оценить сложившуюся ситуацию<sup>1</sup>.

Однако действительно важные вопросы истории не замыкаются на поведении индивидов, а связаны с крупными событиями и коллективными изменениями, которые не сводятся к совокупности людских стремлений. Дело в том, что под слоем *очевидной* истории высказанных намерений и осознанных (хотя порой и не выраженных словами) тревог лежит *латентная* история, состоящая из процессов, о которых современники имеют лишь смутное представление, таких, как демографические изменения, эволюция экономических структур и глубинных ценностей<sup>2</sup>. Викторианцы видели в отмене рабства в 1830-х гг. великую победу гуманизма, выразителями которого стали страстные борцы вроде Уильяма Уилберфорса. Теперь же стало очевидно, что законодательство 1833 г. явилось также результатом упадка основанной на рабстве экономики Карибского бассейна и перехода к индустриализованному обществу в самой Британии<sup>3</sup>. Поскольку историки изучают развитие общества во времени, они способны выявить влияние подобных факторов. Но сами действующие лица вряд ли могли осознавать системную обусловленность своих действий.

Точно также они не в состоянии предвидеть результаты своих действий. Как и причины, последствия нельзя просто «вычитать» из заявленных мотивов основных действующих лиц по той простой причине, что между намерением и результатом очень часто возникают скрытые или структурные факторы. Как указывал Э.Кэпп, наше представление о фактах истории должно быть достаточно широким, чтобы включать «общественные силы, приводящие к таким результатам деятельности личностей, которые часто отличны, а порой и прямо противоположны результатам, к которым те стремились»<sup>4</sup>. Возвращаясь к проблеме рабства,

---

<sup>1</sup> James Joll, "The unspoken assumptions", in: H.W.Koch (ed.), *The Origins of the First World War*, Macmillan, 1972.

<sup>2</sup> Анализ этого понятия см. в: Bernard Bailyn, "The challenge of modern historiography", *American Historical Review*, LXXXVII, 1982, pp.1-24.

<sup>3</sup> Классическое обоснование этой точки зрения см. в.: Eric Williams, *Capitalism and Slavery*, University of North Carolina Press, 1944.

<sup>4</sup> Carr, *What is History?*, p.52.

можно сказать, что целью британских аболиционистов, несомненно, являлось освобождение рабов и улучшение их материального положения. Но на практике уровень такого улучшения сильно варьировался в разных частях Карибского бассейна, и это произошло по причинам, которые аболиционисты не могли предвидеть. Более того, возникли другие последствия, лежавшие вообще вне аболиционистской системы координат, а именно воздействие «крестового похода» против рабства на пропагандистские технологии других моралистских кампаний, таких, как борьба за трезвость и социальную чистоту<sup>1</sup>. В некотором смысле, с точки зрения будущего, последствия важнее причин, ведь именно они обычно определяют значение, которое мы придаем данному событию. Странно, но факт: о причинах Английской революции, к примеру, было написано намного больше, чем о ее последствиях. Роль, которую она сыграла в утверждении новой политической культуры, помогла несколько расчистить путь для более эффективных форм капитализма – все эти факторы известны куда меньше, чем, скажем, развитие пуританизма или финансовые кризисы раннеюготорговской монархии.

Раскрытие причинно-следственных связей предьявляет к автору столь же жесткие квалификационные требования, как и воссоздание исторических событий, но это требования другого рода. Для «погружения» в эпоху необходимо ее сложное нарративное и ассоциативное описание на нескольких уровнях. С другой стороны, более или менее адекватное объяснение событий прошлого требует сложного анализа. Вопрос причинности всегда отличается особой многоплановостью, отражая постоянное взаимовлияние различных сфер человеческого опыта. Следует как минимум разграничить общие и непосредственные причины: первые имеют долгосрочное воздействие и локализуют конкретное событие, помещают его, так сказать, в «поток» истории, вторые же предопределяют его исход, часто имеющий специфический, абсолютно непредвиденный характер. Лоуренс Стоун предоставил нам несколько усложненный вариант этой схемы. В своей стостраничной работе «Причины Английской революции» он сначала выделяет «предпосылки», копившиеся в течение ста лет, предшествовавших 1629 г., затем «катализаторы» (1629-1639), и, наконец, «пусковой механизм» (1640-1642), демонстрируя тем самым взаимодействие долгосрочных факторов, таких, как распространение пуританства и неспособность короны овладеть приемами автократического правления, с ролью отдельных личностей и случайных событий<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Christine Bolt and Seymour Drescher (eds.), *Anti-Slavery, Religion and Reform*, Dawson, 1980 (см. в особенности статью Брайана Харрисона).

<sup>2</sup> Lawrence Stone, *The Causes of the English Revolution, 1529-1642*, Routledge & Kegan Paul, 1972, ch.3.

Осознать задачу научного объяснения можно и по-другому – рассматривая любую историческую ситуацию как место пересечения двух плоскостей. Одну из них можно назвать вертикальной (или диахронной) – она представляет собой временную последовательность предыдущих проявлений данной деятельности: в случае с отменой рабства эта плоскость будет представлена пятьюдесятью годами аболиционистских кампаний до 1833 г., а также колебаниями доходов плантаций за тот же период. Другая плоскость – горизонтальная (или синхронная), то есть воздействие самых различных факторов, влияющих в тот момент, на конкретное событие. В нашем случае она будет включать сложившийся к 1830 г. политический климат в поддержку реформ и появление новых политэкономических рецептов. Карл Шорске уподобляет историка ткачу, сплетающему основу последовательности и уток спонтанности в прочную ткань интерпретации<sup>1</sup>.

Необходимость сложного анализа означает, что нарратив – не самый подходящий жанр для исторического объяснения. Он был, несомненно, характерен для работ Ранке и великих ученых XIX в., чьи интересы на практике были куда шире, чем выяснение, «как все происходило на самом деле». Можно сказать, что все труды одного из самых популярных у современного британского читателя профессиональных историков А.Дж.П.Тэйлора также написаны в этом жанре. Тем не менее, эта традиционная литературная форма жестко ограничивает любые систематические попытки научного объяснения. Правильно расставить события во временной последовательности не значит раскрыть их взаимосвязь. Как писал Тоуни:

«Время и порядок событий во времени – лишь один ключ к разгадке; задача историка состоит и в том, чтобы выявить более существенные связи между ними, чем чисто хронологические»<sup>2</sup>.

Проблема имеет два аспекта: во-первых, нарратив может завести читателя в тупик. То, что *A* произошло раньше *B*, не означает, что *A* стало причиной *B*, но нарративная форма вполне может создать именно такое впечатление. (Логика называют это *ложной последовательностью*). Во-вторых, и это гораздо серьезней, нарратив требует крайне упрощенного толкования причинности. Постигание конкретного события происходит путем расширения спектра его причин и одновременно попыток выстроить их некую иерархию. Нарратив просто не годится для такого подхода. Он позволяет одновременно проследивать лишь две-три «сюжетные линии», а значит, выявить лишь

---

<sup>1</sup> Carl E. Schorske, *Fin-de-Siecle Vienna: Politics and Culture*, Weidenfeld & Nicolson, 1980, p.xxii.

<sup>2</sup> R.H.Tawney, *History and Society*, Routledge & Kegan Paulm 1978, p.54.

некоторые причины и результаты. Более того, это, скорее всего, будут не самые значительные причины, ведь они связаны с ежедневной последовательностью событий, а не с долгосрочными системными факторами. Это относится и к политической истории, которая, казалось бы, так подходит для нарративного исследования и всегда была излюбленной темой великих историков, предпочитающих этот жанр. Если речь идет, к примеру, о войнах или о революциях, исследователи-«нарративисты» уделяют основное внимание непосредственным причинам конфликта, а не факторам, «предрасположивших» к нему данное общество.

Хорошей иллюстрацией нашего утверждения может служить историография первой мировой войны. Тэйлор, непревзойденный мастер нарративной истории, выступил с характерных «экстремистских» позиций. В 1969 г. он писал:

«Сейчас модно искать глубинные причины великих событий. Но, может быть, война, разразившаяся в 1914 г., не имела таковых. В предыдущие тридцать лет соотношение сил, система союзов и наращивание военной мощи обеспечивали мир. Вдруг ситуация стала диаметрально противоположной, и те самые силы, что приводили к длительному миру, теперь привели к великой войне. Как если бы водитель, в течение тридцати лет делавший все правильно и избегавший аварий, однажды совершил ошибку и разбился. В июле 1914 г. все просто пошло не так. Единственное надежное объяснение – случается то, что случается»<sup>1</sup>.

Выступая с этой своего рода «минималистской» концепцией, Тэйлор, несомненно, стремился к эпатажу, но подобная точка зрения встречается чаще, чем может показаться. Она присутствует в любой попытке объяснить крупные исторические изменения нарративными методами. К.В.Веджвуд и Саймона Шаму, к примеру, не особенно интересовали системные факторы, предшествующие революции в Англии и Франции; они стремились вывести на авансцену роль личностей и ход событий. Подход обоих был реакцией на марксистскую теорию революций, а традиционный нарратив лучше всего подходил для реализации идей, сложившихся еще до того, как они приступили к работе над своими книгами. Выбор нарративного жанра следует воспринимать как он есть – это акт интерпретации, а не просто невинное желание «рассказать историю».

Ограниченность нарративного метода еще больше проявляется при изучении институциональных или экономических изменений, где может не быть ярко выраженных «главных героев», чьи действия и размышления можно представить в виде рассказа. Никому не удавалось преподнести причины промышленной революции в нарративной

---

<sup>1</sup> A.J.P.Taylor, *War by Time-Table: How the First World War Began*, Macdonald, 1969, p.1945.

форме. Яснее же всего эти проблемы проявляются на примере «тихих изменений» в истории<sup>1</sup> – постепенной трансформации духовного и социального опыта, отражающихся на поверхности событий лишь самым косвенным путем. В XX в. спектр исторических исследований стал шире, включив в себя такую проблематику, и господство нарратива ослабло. Немногие из интеллектуальных «призывов к действию» могут сравниться по эффективности с атакой школы «Анналов» на *histoire evenementielle* (событийную историю).

В результате современные исторические труды гораздо больше связаны с анализом, чем сто лет назад. В процессе научного анализа основная канва событий воспринимается как установленный факт; исследуется их значение и взаимосвязь. Многосторонний характер причинности в истории требует приостановки последовательного изложения событий, чтобы взвесить все относящиеся к делу факторы по очереди, не теряя из виду их взаимосвязанности и вероятности того, что конфигурация каждого фактора со временем меняется.

Это, конечно, не единственная функция аналитического труда. Анализ может служить раскрытию взаимосвязей между событиями и тенденциями, происходящими одновременно, и особенно выявлению процессов развития какого-либо института и конкретной области исторического опыта. В британской историографии классическим примером такого анализа является «Политическая система в начале царствования Георга III» Нэмира (1929) – серия аналитических очерков о различных факторах, влиявших на состав и работу палаты общин в 1760 г. Системные исследования такого рода особенно распространены в социальной и экономической истории, где объективный анализ значения конкретных изменений невозможен без знаний о политической или экономической системе в целом. Кроме того, нельзя забывать и о критическом анализе самих данных, который может потребовать рассмотрения подлинности текстов и надежности фактологических выводов, а также взвешивания достоинств и недостатков альтернативных истолкований. О Ранке говорили, что он редко позволял проведенной им тщательной работе по анализу архивных материалов нарушить плавное течение своего величественного рассказа<sup>2</sup>; мало кто из нынешних историков способен на такое. Но полностью анализ вступает в свои права при решении больших проблемных вопросов истории. По мере того как историография все теснее становится связанной с их решением, анализ приобретает все большую роль – в этом нетрудно убедиться, заглянув в любой научный журнал.

---

<sup>1</sup> R.W.Southern, *The Making of the Middle Ages*, Hutchinson, 1953, pp.14-15.

<sup>2</sup> Agatha Ramm, “Leopold von Ranke” in: John Cannon (ed.), *The Historian at Work*, Allen & Unwin, 1980, p.37.



Все это, однако, не означает, что нарратив полностью утратил свое значение. Чисто аналитические труды имеют свои недостатки. Выигрывая в интеллектуальной четкости, они проигрывают в исторической непосредственности. Научный анализ неизбежно приобретает статичность, как будто, в соответствии с популярной метафорой Э.П.Томпсона, машину времени остановили для более тщательной проверки двигателей<sup>1</sup>. Именно по этой причине исследования Нэмира о политической жизни XVIII в. столь уязвимы для критики<sup>2</sup>. Более того, объяснения, которые кажутся убедительными на аналитическом уровне, могут показать свою непригодность при сопоставлении с конкретным ходом событий. Истина состоит в том, что историку в своих трудах следует отдавать должное как явным, так и скрытым факторам, глубинным силам и тому, что происходит на поверхности. На практике же это означает гибкое применение аналитической и нарративной форм: иногда в виде обособленных разделов, иногда «перемешивая» их по всему тексту. Именно этот путь сегодня наиболее распространен.

Современные историки осваивают новые методы использования нарратива. Если в XIX в. он часто безоговорочно считался *единственной* формой исторического труда, то ныне нарратив стал объектом критического внимания ученых, особенно тех, чья исследовательская работа связана с литературоведением. Хейден Уайт, например, рассмотрел «риторические предпочтения» всех историков, работающих в нарративном жанре, и выделил ряд характерных для них основных риторических приемов (см. ниже, с. 173)<sup>3</sup>. Сами же историки теперь используют нарративную форму более осознанно и критически. Так, куда меньше проявляется его традиционная связь с исследованиями политических процессов. В то же время специалисты по социальной истории, в отличие от общепринятой практики предыдущего поколения, теперь избрали нарратив, чтобы показать, как изменения социальных структур, жизненных циклов и культурных ценностей, которые они анализировали в абстрактном виде, отражались на самих людях. Но вместо создания нарратива, охватывающего общество в целом, они приводят типичные или особо наглядные случаи – такую форму можно назвать «микронарративом»<sup>4</sup>. Ричард Дж. Эванс написал работу о преступности и наказаниях в Германии XIX в., в которой каждая глава начинается с конкретной истории, которая как бы вводит читателя в исследуемую тему; неслучайно он назвал книгу

---

<sup>1</sup> E.P.Thompson, *The Poverty of Theory*, Merlin Press, 1978, p.85.

<sup>2</sup> H.Butterfield, *George III and the Historians*, Collins, 1957.

<sup>3</sup> Hayden White, *Metahistory*, Johns Hopkins University Press, 1973.

<sup>4</sup> Peter Burke, “History of events and the revival of narrative”, in: P.Burke (ed.), *New Perspectives on Historical Writing, Polity*, 1991, p.241.

«Рассказы германского преступного мира» (1998). Классическое произведение нового жанра, «Возвращение Мартэна Герра» (1983) Натали Зимон Дэвис, повествует о крестьянине из Нижних Пиренеев, который в 1550-е гг. в течение трех лет выдавал себя за мужа брошенной женщины, пока не появился настоящий супруг, а самозванец не был разоблачен и казнен. Эта увлекательная книга была даже экранизирована, но для Дэвис конкретная история «уводит нас в скрытый мир чувств и стремлений крестьянства», проливая свет, к примеру, на проблему «что больше волновало людей – правда или собственность»<sup>1</sup>. Лоуренс Стоун, пожалуй, поторопился, когда в 1979 г. заявил о возрождении нарратива, но последние двадцать лет показали, что ученым действительно удалось вдохнуть новую жизнь в самую традиционную форму научного труда<sup>2</sup>.

#### IV

Проблема выбора формы встает обычно тогда, когда историк пишет монографию, то есть труд, основанный на оригинальных исследованиях, первоначально оформленный в виде диссертации на соискание ученой степени, а затем публикуемый в качестве книги или статьи в научном журнале. В подобных работах сложность фактологической базы обычно видна из текста, в котором утверждения автора подтверждаются тщательными ссылками на соответствующие документы. Многие монографии носят узкоспециализированный характер и предназначены прежде всего для коллег-ученых. Кроме того, поскольку суть монографии состоит в использовании в основном первичных, а не вторичных источников, она охватывает, как правило, довольно узкую тему. В особенности это относится к молодым ученым, представляющим результаты трех-четырёх лет исследовательской работы в период аспирантуры. Хотя теоретически эти труды обладают «научной новизной» (такое требование предъявляется к работам, представленным на соискание ученой степени), их значение в научном плане часто невелико. Необходимость в течение нескольких лет подготовить приемлемую для защиты диссертацию, чтобы получить работу в научном учреждении, часто заставляет исследователя подстраховываться, сосредоточившись на конкретном массиве источников, еще не изученном или, по крайней мере, не изучавшемся с точки зрения данной научной проблемы. Люсьен Февр как-то ядовито заметил, что большинство исторических работ пишутся людьми, которые

---

<sup>1</sup> Natalie Zemon Davis, *The Return of Martin Guerre*, Penguin, 1985, pp.4, viii.

<sup>2</sup> Lawrence Stone, "The revival of narrative" (1979), цит. по его книге: *Past and Present Revisited*, Routledge & Kegan Paul, 1987.

«просто стремятся показать, что они знают и уважают правила своей профессии»<sup>1</sup>. Это, конечно, неизбежное следствие профессионализации исторической науки. В то же время аспирантские исследования порой дают потрясающие результаты: сразу вспоминается, например, «Структура семьи в Ланкашире XIX века» (1971) Майкла Андерсона, которая и сейчас представляет собой кладезь демографической информации о рабочем классе, или «Вызов олигархии» (1982) Линды Колли, перевернувшая с ног на голову наши представления о торизме при первых королях Ганноверской династии. Самые благодатные перспективы для начинающих открываются в новых областях исследования: изучение истории Африки за последние сорок лет было отмечено рядом важных диссертаций, ставших новым словом в науке<sup>2</sup>. Как минимум при подготовке диссертации вырабатывается навык исследовательской работы и написания монографий, а кроме того, таким путем пополняется массив достоверных научных знаний.

Однако если бы историки в своих трудах ограничивались освещением лишь тех проблем, где они полностью овладели первоисточниками, историческое знание было бы столь отрывочным, что утратило бы всякий смысл. Понимать прошлое – значит находить объяснения событиям и процессам, представляющим важность по прошествии времени, и они отличаются таким масштабом, что ни один исследователь не в состоянии охватить их без посторонней помощи: причины Английской революции, а не только политика архиепископа Лода, социальные последствия промышленной революции, а не упадок ручного ткачества в Западном Райдинге, «борьба за Африку», а не только Фашодский кризис. Очевидно, разобраться в столь сложных темах, просто собрав воедино детальные исследования, невозможно. Как сказал Марк Блок, «микроскоп – прекрасный инструмент для исследований, но куча сделанных с его помощью слайдов еще не является произведением искусства»<sup>3</sup>. Когда историк «отступает на несколько шагов», чтобы разглядеть одну из таких проблем в целом, он сталкивается с гораздо более острыми проблемами интерпретации – необходимостью соединить множество сюжетов в связный рассказ, оценить значение различных факторов. Даже если вы всю жизнь изучали относящиеся к вашей проблеме первоисточники, завоевав право проявлять разборчивость при использовании трудов других историков, вы все равно будете вынуждены принимать немалую часть их доводов на веру.

---

<sup>1</sup> Lucien Febvre, "A new kind of history", 1949, цит. в переводе на английский по кн.: Peter Burke (ed.), *A New Kind of History*, Routledge & Kegan Paul, 1973, p.38.

<sup>2</sup> Например: Andrew Roberts, *A History of the Bemba*, Longman, 1973; Jeff Guy, *The Destruction of the Zulu Kingdom*, Longman, 1979.

<sup>3</sup> Марк Блок в «Анналах» за 1932 г., цит. по: R.R.Davies, "Marc Bloch", *History*, LII, 1967, p.273.

Трудности только возрастут, если историк выйдет еще дальше «за ограду» собственных исследований и попытается создать обобщающий обзор целого периода. Если монография относится к вторичным источникам, то обзорный труд вполне можно назвать «третичным» источником, поскольку автор вынужден делать четкие выводы по ряду проблем лишь на основе стандартного набора авторитетной «вторичной» литературы. Неизбежным результатом становится придирчивая критика со стороны специалистов, в чьи «владения» он при этом вторгается. Подобные работы весьма подвержены капризам моды, и их выводы опровергаются новыми исследованиями куда быстрее, чем это происходит с узкоспециальными монографиями. Научный престиж такого «единоличного» синтеза страдает еще и от того, что многие из этих работ представляют собой не подлинный синтез, а учебник, где в справочных целях кратко, в жестко систематизированной манере излагается сумма знаний по заявленной теме. Некоторые историки, сознавая, что свой профессионализм убедительней всего, [который] они демонстрируют при анализе первоисточников, инстинктивно полагают, что «настоящим ученым» вообще не стоит заниматься подобным делом<sup>1</sup>. Другие пытаются удовлетворить спрос на обзорные работы, участвуя в коллективных трудах. Прототипом таких трудов стала «Кембриджская новая история», подготовленная под руководством лорда Актона в 1896 г. Это двенадцатитомное издание охватывает период начиная с середины XV в., при этом в каждом томе имеются страноведческие и тематические главы, написанные ведущими учеными того времени. С тех пор вышло множество коллективных трудов. Они обладают несомненной ценностью, излагая в сжатом виде итоги работы крупнейших специалистов, но тем не менее проблему не решают. Как бы ни были близки взгляды авторов и каким бы узурпатором ни был редактор, в них невозможно достичь единого подхода, а темы, не связанные с научными интересами участников, попросту исключаются.

Широкий обзорный труд, написанный одним историком, осуществляет несколько важных функций. Во-первых, лучшие из таких работ становятся могучим генератором новых вопросов. При постоянной работе с первоисточниками, требующей сосредоточенного внимания к деталям, у ученого может возникнуть своего рода интеллектуальная зашоренность: по выражению лорда Актона «наши идеи покрываются архивной пылью»<sup>2</sup>. Отвлечшись от архивов ради обзорного исследования по длительному периоду, историк скорее обнаружит

---

<sup>1</sup> См., например: F.M.Powicke, *Modern Historians and the Study of History*, Odhams, 1955, p.202.

<sup>2</sup> Цит. по: H.Butterfield, *Man on His Past*, Cambridge University Press, 1955, p.91.

новые модели и гипотезы, которые затем сможет проверить при детальном изучении. «Эпоха революций» Э.Дж.Хобсбаума (1962), по сей день непревзойденный обзор истории Европы с 1789 по 1848 г. – периода, прошедшего под двойным знаком Французской революции и промышленной революции, – полон захватывающих сопоставлений, не доступных ни одному историку, занятому только одной страной. Похожего эффекта добился Эйс Бриггс в своей «Эпохе перемен 1783-1867» (1959), изменив периодизацию британской истории. В новых областях науки, где интерпретационные вопросы едва сформулированы, подобный «шоковый» метод может привести к плодотворным результатам, особенно если в ней с самого начала проявляется тенденция к развитию путем накопления узкоспециальных исследований. Это со всей четкостью проявилось в истории ментальностей и в истории воздействия колониализма на Африку, причем список таких примеров можно продолжить. Опасность раздробленности научного знания очевидна. Наступает момент, когда историк должен проанализировать узкие исследования в совокупности, создавая новую картину преемственности, перемен и противоречий и формулируя новые вопросы. Именно таким синтетическим трудом стали новаторская работа А.Дж.Хопкинса «Экономическая история Западной Африки» (1973), которая в течение целого десятилетия определяла направление исследований данного региона.

Во-вторых, общий обзор представляет собой единственный путь, с помощью которого историк может выполнить свои обязательства перед широкими читательскими кругами. Интерес общественности к научным историческим трудам ни в коей мере не ограничивается обзорами – достаточно вспомнить успех «Разгрома Великой Армады» (1959) Гаррета Маттингли или «Монтайю» (1976) Эммануэля Леруа Ладюри. Но привлекательность этих двух книг обусловлена прежде всего их описательной ценностью. Если историк хочет поделиться с обществом своим пониманием исторического процесса и связи между прошлым и настоящим, он делает это посредством масштабного обзорного труда. Многие историки, стараясь сохранить свой научный статус любой ценой, чересчур переоценивают опасность поверхностного изложения и просто ошибок, кроме того, существует распространенное снобистское пренебрежение по отношению к тем, кто пишет для широкой аудитории. Однако популяризаторский подход и серьезная наука вполне совместимы. Искусство «высокой вульгаризации», как назвал Хобсбаум свои выдающиеся произведения в этом жанре<sup>1</sup>, является необходимой частью ремесла историка.

---

<sup>1</sup> E.J.Hobsbawm, *The Age of Revolution: Europe 1789-1848*, Cardinal, 1973, p.11.

Наконец, широкомасштабный обзор ставит общие проблемы исторической интерпретации, чрезвычайно важные сами по себе, которые не попадают в поле зрения при более узком подходе. Историю можно назвать «прогрессивной» наукой в том смысле, что почти каждый исследователь прошлого с позиций ретроспективного знания задается вопросом, в каком направлении идет развитие событий. И это не метафизические рассуждения, а признание того, что основные области исторического опыта с течением времени подвергаются совокупным изменениям. В работах, охватывающих короткий период, этого вопроса можно избежать, но он занимает центральное место при любой попытке понять целую эпоху: заметен ли рост профессиональной специализации, или удлинение «общественной лестницы», или разрастание управленческих функций, или прогресс в области свободы слова и вероисповеданий – а может быть, имеет место обратная тенденция? Или, абстрагируясь от критериев роста в отношении исторического процесса, данный период можно рассматривать с точки зрения разрыва преемственных связей, когда новая обстановка заставляет порвать с унаследованными из прошлого тенденциями. Именно в таком смысле, например, используется термин «новый империализм» применительно к европейской экспансии в конце XIX в.<sup>1</sup> Проблемы научной интерпретации, возникающие при анализе длительного периода, относятся к иному, несомненно, более высокому уровню, чем те, что связаны с каким-либо конкретным эпизодом.

Кругозор историка столь же обогащается и при широком пространственном, а не временном охвате, поскольку здесь появляется возможность для сравнительного анализа. Любое общество в истории нельзя рассматривать изолированно не только потому, что практически все изучаемые общества не были изолированы в реальности, но и потому, что многие их важнейшие черты проявлялись одновременно на широком пространстве: достаточно вспомнить развитие феодального землевладения в раннесредневековой Европе, плантационного рабства в Новом Свете в XVII-XVIII вв. или абсолютизма в Европе XVIII в. Сравнительный анализ развития какого-либо процесса в различных странах дает возможность отделить общее от особенного и соответственно оценить полученные выводы. К примеру, в «Господстве белого человека» (1981) Джордж М. Фредриксон сравнивает развитие расовых отношений в Америке и Южной Африке, начиная с появления первых белых поселенцев в XVII в. и до возникновения идеологии сегрегации в XX в. Это

---

<sup>1</sup> См., например: С.С. Eldridge (ed.), *British Imperialism in the Nineteenth Century*, Macmillan, 1984.

позволяет ему более четко раскрыть особенности каждого общества; выясняется, что господство белых не было «семенем, посеянным первыми поселенцами, из которого должно было постепенно вырасти некое особое дерево», а «текучим, многовариантным, открытым процессом»<sup>1</sup>. Вопрос, почему у аналогичных обществ исторический опыт различен, представляет неизменный интерес и разрешим лишь при синтетическом подходе, не ограниченном рамками изучения первоисточников.

Одним из последствий гигантского расширения масштабов исторических исследований за последние сто лет стало повышение требований к всеобъемлющему обзору по сравнению с теми, что предъявлялись великими учеными XIX в.: он должен включать не только калейдоскоп «событий», но и данные об условиях материальной и духовной жизни, которые на протяжении многих периодов – и уж несомненно, в доиндустриальную эпоху – менялись очень медленно, если вообще менялись, но именно они предопределяли образ мыслей и действий человека. Утверждение Дж.Р.Элтона, что «историческая наука занимается событиями, а не состоянием; она исследует то, что происходит, а не то, что уже сложилось»<sup>2</sup>, – спорная полуправда. Как мы могли убедиться, центральным вопросом для понимания исторического процесса является соотношение между верхним и глубинным слоем, другими словами, событиями и структурой. Солидную часть марксистских трудов можно расценить как одно из проявлений этого интереса (см. гл. 8), но наиболее прямой подход к проблеме нашла школа «Анналов», и прежде всего Фернан Бродель:

«Возможно ли как-нибудь одновременно передать и явную историю, привлекающую наше внимание постоянными и драматическими переменами, и ту, другую, «подводную», почти беззвучную и всегда сдержанную, о существовании которой практически не подозревают ни наблюдатели, ни участники, мало подверженную разрушительной работе времени?»<sup>3</sup>.

Согласно Броделю, главная трудность состоит в идее однолинейного времени, разделяемой традиционными историками, – речь идет о единой временной шкале, отмеченной непрерывностью исторического развития. Из-за того, что историк сосредоточен на документах и попытках понять образ мыслей их авторов, эта временная шкала может охватить лишь короткий период, регистрируя последовательность событий и исключая системные факторы. Бродель предложил

---

<sup>1</sup> George M. Fredrickson, *White Supremacy: a Comparative Study in American and South African History*, Oxford University Press, 1981, p.xviii.

<sup>2</sup> G.R.Elton, *The Practice of History*, Fontana, 1969, p.22.

<sup>3</sup> Braudel, *The Mediterranean*, vol.I, p.16.

выход – полностью отказаться от идеи однолинейного времени, заменив ее концепцией «множественности социального времени»<sup>1</sup>, означающей, что история развивается в различных плоскостях, которые для практического удобства можно свести к трем: долгосрочной (*la longue durée*), раскрывающей основные условия материальной жизни, состояние умов и прежде всего воздействие окружающей среды; среднесрочной, представляющей «жизненный цикл» форм социальной, экономической и политической организации общества; и краткосрочной – на уровне личности и событийной истории. Проблема, которую сам Бродель не сумел решить в «Средиземноморье», состоит в том, каким образом можно представить сосуществование этих разных уровней в конкретный исторический момент, как раскрыть их взаимодействие в виде связного рассказа, объединяющего разные уровни нарратива, описания и анализа. Эту проблему современные историки осознают куда острее, чем их предшественники; можно сказать, что она – главная.

## V

Какие же качества необходимы для успешного исторического творчества? Сторонние наблюдатели придерживаются на этот счет весьма нелестной точки зрения. Пожалуй, самая знаменитая из приземленных характеристик профессии принадлежит доктору Джонсону:

«Историку не нужны большие способности; ведь историческое сочинение не задействует величайших возможностей человеческого ума. Все факты у историка под рукой, поэтому ему не надо ничего выдумывать. Не нужен ему и сколько-нибудь высокий уровень воображения; не более чем требуется для простейших форм стихосложения»<sup>2</sup>.

Даже во времена Джонсона это замечание не было справедливым, а в свете развития профессии после XVIII в. оно представляется еще менее уместным. Дело-то в том, что факты не находятся у историка под рукой. Новые факты продолжают пополнять массив исторического знания, и в то же время достоверность установленных фактов подвергается постоянной переоценке. Кроме того, как показано в гл. 3 и 4, плохое состояние источников делает эту двойную задачу куда более трудной, чем кажется на первый взгляд. Профессиональная

---

<sup>1</sup> Fernand Braudel, "History and the social sciences: *la longue durée*", 1958. Цит. по его книге: F. Braudel, *On History*, Weidenfeld & Nicolson, 1980, p.26.

<sup>2</sup> R.W. Chapman (ed.), *Boswell's Life of Johnson*, Oxford University Press, 1953, p.304.



подготовка ученых-историков, введенная в XIX в., преследовала и до сих пор преследует главную цель: избавить их от иллюзии, что сбор фактов не требует особых усилий. Соответственно, во всех пособиях по исторической методике особо подчеркиваются такие качества, как владение первоисточниками и способность к их критическому анализу.

Но приобретение эти навыков для историка – лишь первый шаг. Процесс интерпретации и создания научного труда предполагает наличие ряда других столь же необходимых качеств. Во-первых, историк должен уметь прослеживать взаимосвязь событий и выделять из массы деталей схемы, позволяющие лучше понять прошлое: причинно-следственные схемы, схемы периодизации, подтверждающие определения вроде «Возрождение» или «средневековье», понятия о социальных группах, придающие смысл утверждениям о роли мелкой буржуазии во Франции XIX в. или о «росте мелкопоместного дворянства» в Англии XVII в. Чем шире масштаб исследования, тем больше должны быть способности к обобщению и концептуализации. Немногочисленность по-настоящему удовлетворительных синтетических трудов с большой степенью обобщений свидетельствует о том, насколько редко эти интеллектуальные дарования встречаются в полном объеме.

Помимо остроты интеллекта, историку необходимо и воображение. Применительно к научным сочинениям этот термин должен быть правильно понят. Речь, конечно, не идет о сознательной творческой выдумке, хотя Джонсон, очевидно, имел в виду неполноценность историков именно в этом отношении. Дело же в том, что любая попытка воссоздать прошлое предполагает работу воображения, поскольку прошлое никогда полностью не отражается в дошедших до нас документах. Вновь и вновь историки сталкиваются с пробелами в архивных материалах. Чтобы их заполнить, ученый настолько глубоко изучает имеющиеся источники, что у него вырабатывается «чутье», инстинктивное понимание того, что должно было случиться. В эту категорию часто попадают проблемы мотивации и менталитета, и чем дальше и чужеродней изучаемая культура, тем большие усилия воображения требуются, чтобы понять ее. Сухими и скучными обычно считаются те книги, где воображение автора не сумело оживить накопленный объем данных.

Как выработать в себе историческое воображение? В этом отношении весьма полезно не закрывать глаза, не затыкать уши (да и нос), жадно впитывая все из окружающего нас мира. Как пояснил Ричард Кобб:

«Немалую часть истории Парижа XVIII в. или Лиона XIX-го можно буквально пройти, увидеть, и особенно услышать, в маленьких ресторанчиках, на задней площадке автобуса, в кафе или на парковой скамейке»<sup>1</sup>.

Способность «чувствовать» людей прошлого требует определенного уровня самопознания, и некоторые историки даже предложили включить психоанализ в программу обучения начинающих ученых<sup>2</sup>. Но широта личного опыта в этом плане представляет собой более надежную основу. Во времена, когда исторические труды сводились в основном к политическому нарративу, опыт общественной деятельности часто рассматривался как наилучшая подготовка для историка; как сказал Гиббон о своем недолгом пребывании в роли члена парламента:

«Восемь сессий, что я провел в парламенте, стали школой гражданского благоразумия, первой и важнейшей добродетели историка»<sup>3</sup>.

Боевой опыт также, вероятно, углубил представления многих историков, живших в XX в., о политике, дипломатии и войне. Однако особенно важно *разнообразие* опыта: соприкосновение с различными странами, классами и людскими характерами, таким образом, потенциал воображения историка приобретает некоторое сходство с широким спектром ситуаций и менталитетов, которые он встретит, изучая прошлое. К сожалению, обычная карьера нынешних ученых-историков оставляет немного возможностей для приобретения такого опыта. Высказанное несколько лет назад предположение, что наилучшей подготовкой для историка было бы кругосветное путешествие и работа по нескольким различным специальностям, при всей его непрактичности не лишено смысла<sup>4</sup>.

Однако одно дело – понимать прошлое, и совсем другое – уметь донести это понимание до читателя. Дар слова, или литературное мастерство, весьма важны для историка. Вплоть до XIX в. это воспринималось как аксиома. С античных времен ведущие представители исторической профессии относили ее в первую очередь к разновидности литературного труда. У истории была собственная муза (Клио), свое место в читательской культуре и набор риторических и стилистических приемов, овладение которыми и было главной задачей начинающих историков. Все изменилось, когда история превратилась в научную дисциплину. Профессиональных историков, шедших по стопам Ранке, волновали проблемы, связанные с методикой,

---

<sup>1</sup> Richard Cobb, *A Second Identity*, Oxford University Press, 1969, pp.19-20.

<sup>2</sup> H. Stuart Hughes, *History as Art and as Science*, Chicago University Press, 1964, pp.65-66.

<sup>3</sup> M.M.Reese (ed.), *Gibbon's Autobiography*, Routledge & Kegan Paul, 1970, p.99.

<sup>4</sup> Theodore Zeldin, "After Braudel", *The Listener*, 5 November 1981, p.542.

а не с подачей материала. Владение источниками, или «исследования», противопоставлялись «писательству» в ущерб последнему; «Бывшую музы Клио сейчас чаще встретишь с читательским билетом, сверяющей сноски в Государственном архиве»<sup>1</sup>. В результате многие из научных трудов, изданных за последние сто лет, просто невозможно читать.

Владение хорошим стилем – не просто полезных «довесок». Оно занимает центральное место в деле воссоздания исторической реальности. То, что вы поняли, используя свое научное воображение, вы просто не сможете выразить, не обладая серьезным литературным даром: умением подмечать детали, способностью передавать настроение, темперамент и атмосферу, создавать иллюзию захватывающего действия – качествами, получающими наибольшее воплощение в художественной литературе. Интерпретационные груды имеют меньше общего с беллетристикой, и, возможно, по этой причине историки, которые высоко ценят литературную составляющую своей профессии – например, Дж.М.Тревельян или К.В.Веджвуд – относительно редко работают в этой сфере. Специальная аргументация и необходимость снабжать многие утверждения оговорками не способствуют «литературности». Тем не менее, проблема совмещения нарратива с анализом, сопровождающая любую попытку научной интерпретации, является по сути проблемой литературной формы. Ее решение почти никогда не диктуется самим материалом.

Итак, все вышеперечисленные качества или квалификационные требования, необходимые для историка, могут показаться не слишком жесткими. Тем не менее, редко кто может овладеть ими в полной мере. Очень немногие историки в равной степени сильны в области методики, интеллекта, воображения и стиля, и, несмотря на гигантский рост научных исследований за последние десятилетия, количество удовлетворяющих всем требованиям трудов в любой области истории по-прежнему невелико. В то же время разнообразие инструментария историков подтверждает еще один факт: история по сути является гибридной дисциплиной, сочетающей свойственные науке технические и аналитические процедуры с воображением и стилем, присущими литературе.

---

<sup>1</sup> Galbraith, *Introduction*, p.4.



## Глава 7

### Границы исторического знания

Преыдушие главы этой книги носили в основном описательный характер. В их задачи входило показать, как работают историки, какие ставят цели, как изучают источники и формулируют выводы. Теперь пришло время поднять ряд фундаментальных вопросов о природе исторического исследования: насколько надежна основа наших знаний о прошлом? Можно ли принимать исторические факты на веру? В какой степени следует доверять научным объяснениям? Способны ли историки быть объективными? На эти вопросы существует масса абсолютно разных ответов, они вызывают острые споры в научной среде, зачастую подогреваемые критикой извне. Мнения профессионалов о статусе полученных знаний резко разделились. Одна крайность представлена Дж.Р.Элтоном, считающим, что «уважительное» отношение к источникам и наработанная исследовательская методика постоянно увеличивают массив достоверного научного знания; невзирая на аргументы, которые с таким удовольствием выдвигают специалисты, история – это кумулятивная дисциплина<sup>1</sup>. С другой стороны, Теодор Зелдин утверждает: все, что он (да и любой историк) может предложить читателям, – это личное видение прошлого и материалы, на основе которых они, в свою очередь, могут сформировать свое видение, основанное на собственных стремлениях и предпочтениях; «каждый имеет право на собственный взгляд»<sup>2</sup>. Хотя мнение большинства ученых-историков

---

<sup>1</sup> G.R.Elton, *The Practice of History*, Fontana, 1969.

<sup>2</sup> Theodore Zeldin, “Ourselves as we see us”, *Times Literary Supplement*, 31 December 1982. См. также его статью: “After Braudel”, *The Listener*, 5 November 1981.

склоняется в пользу Элтона, любая точка зрения, лежащая между этими крайностями, также находит сторонников среди профессионалов. Историки точно не знают, в чем цель их занятий, хотя это замешательство трудно распознать за уверенным тоном их выступлений по основополагающим проблемам интерпретации.

## I

Задавая подобные вопросы в отношении истории или любой другой науки, мы неизбежно вторгаемся в область философии, поскольку речь идет о самой природе научного знания; и статус исторического знания является предметом жарких споров среди философов со времен эпохи Возрождения. Большинство историков-практиков, даже те, кто склонен к размышлениям о природе своего ремесла, не слишком обращают внимание на эти дебаты, не без основания полагая, что они зачастую скорее запутывают, а не проясняют вопрос<sup>1</sup>. Но острые разногласия среди самих историков отражают традицию дискуссий между философами. В XIX в. оформились два прямо противоположных взгляда на то, является ли история наукой; даже в 1960-х гг., когда Э.Х.Карр произвел фурор, это все еще оставалось ключевым эпистемологическим вопросом исторической науки. В наши дни объект споров сместился в сторону природы языка и степени его влияния на реальный мир, как в прошлом, так и в настоящем. Обе эти дискуссии – научную, и лингвистическую – мы рассмотрим по очереди.

Центральный вопрос спора об истории как науке всегда заключался в том, следует ли изучать человечество таким же образом, как и другие явления природы. Те, кто дает утвердительный ответ, являются сторонниками методологического единства всех форм систематического изучения человека и природы. Они утверждают, что история использует те же процедуры, что и естественные науки, и ее результаты следует оценивать с точки зрения научных стандартов. Между ними существуют разногласия относительно того, насколько история действительно удовлетворяет этим требованиям, но они едины в одном – историческое знание действительно лишь постольку, поскольку оно соответствует научному методу. В XX в. концепции природы науки претерпели радикальные изменения, но в XIX в. подход был довольно прямолинейным. Основой любого научного знания считалось тщательное наблюдение реальности со стороны незаинтересованного, «пассивного» наблюдателя, а результат неоднократных наблюдений одного и того же явления назывался обобщением или «законом», который соответствовал всем известным фактам и объяснял регулярность

---

<sup>1</sup> См., например: Elton, *The Practice of History*, pp.vii-viii.

проявлений данного феномена. Этот «индуктивный» или «эмпирический» метод предполагал, что обобщения логически вытекают из имеющихся данных и что ученые выполняют свою задачу, не имея заранее сформулированной концепции или моральной причастности к предмету исследования.

В результате гигантского скачка как в области теории, так и прикладных исследований, престиж науки в XIX в. был невероятно высок. Если ее методы позволяют раскрыть тайны природы, неужели они не подойдут для постижения общества и культуры? Философия знания, выражающая этот подход в его классической, принятой в XIX в. форме, называется *позитивизмом*. Ее значение для практики исторической науки очевидно. Первостепенная обязанность историка состоит в сборе фактов о прошлом – фактов, подлинность которых устанавливается методом критического анализа первоисточников. Эти факты, в свою очередь, определяют характер объяснения или истолкования прошлого. Взгляды и ценности, исповедуемые историком, не имеют к данному процессу никакого отношения; он должен сосредоточиться только на фактах и обобщениях, которые из них логически следуют. Огюст Конт, наиболее влиятельный философ-позитивист XIX в., считал, что историки со временем откроют «законы» исторического развития. Заявления в поддержку ортодоксального позитивизма время от времени раздаются и сейчас<sup>1</sup>, однако в наши дни более распространен его смягченный вариант. Современные позитивисты считают, что изучение истории само по себе не может «вычленить» ее законы; суть исторического объяснения связана скорее с правильным использованием обобщений, позаимствованных из других дисциплин, основанных, по их мнению, на научном методе – например, экономики, социологии и психологии.

Вторая точка зрения, соответствующая другому философскому направлению – *идеализму* – отвергает основополагающий принцип позитивизма. Согласно этому взгляду, следует четко разграничить то, что связано с человеком, и природные явления, поскольку отождествление исследователя с изучаемым предметом открывает путь к более полному его пониманию, чем то, что возможно в естественных науках. Если природные явления можно постигать лишь извне, то дела людские имеют важное «внутреннее» измерение – намерения, чувства и менталитет действующих лиц. Как только исследователь вторгается в эту область, индуктивный метод помогает ему лишь в ограниченной степени. Реальность прошедших событий можно понять лишь с помощью воображения, отождествляя себя с людьми прошлого, а это зависит от интуиции и эмпатии – качеств, которым нет места в

---

<sup>1</sup> Lee Benson, *Toward the Scientific Study of History*, Lippincott, 1972.

классическом понятии научного метода. Идеалисты считают, таким образом, что историческому знанию присуща субъективность, и открываемая им истина ближе к художественному пониманию правды, чем к научному. Более того, историки занимаются отдельными, уникальными событиями. Законы общественных наук не годятся для изучения прошлого, а история не имеет собственных обобщений или законов.

К такому взгляду легко пришли в XIX в. сторонники историзма (см. гл. 1), требовавшие особого подхода к пониманию каждой эпохи, а в своей практике отдававшие предпочтение нарративной политической истории, состоящей из действий и стремлений «великих людей». Слава Ранке в качестве непримиримого борца за критический анализ источников порой затмевает значение, которое он придавал размышлениям и воображению: «Вслед за действием критики, – настаивал он, – в ход идет интуиция»<sup>1</sup>. В англоязычном мире самым оригинальным и утонченным выразителем идеалистической точки зрения был философ и историк Р.Дж.Коллингвуд. В посмертно опубликованной «Идее истории» (1946) он утверждал, что всякая история – это по сути история мысли, и задачей историка является воспроизвести в собственной голове мысли и стремления личностей прошлого. Влияние Коллингвуда ощущается у нынешних оппонентов «научной» теории, таких, как Зелдин, которого возмущает тенденция исторической науки к превращению в «кофейню для обсуждения открытий, сделанных другими дисциплинами, во временной перспективе», тогда как она должна заняться личностями и их эмоциями<sup>2</sup>. С другой стороны, претензии истории на статус науки более серьезно воспринимаются учеными, исследующими коллективное поведение, например голосование или потребление, поскольку в этих областях четко проявляется повторяемость, на основе которой можно порой сформулировать обоснованные и важные обобщения.

Но значение нерешенного спора между позитивизмом и идеализмом куда шире, чем различие между традиционной политической историей и более новыми направлениями – экономической и социальной историей. Он помогает понять, почему среди историков существует столько разногласий о природе буквально каждого аспекта их работы – от оценки первоисточников и вплоть до окончательно сформулированных выводов.

---

<sup>1</sup> Цит. по: Peter Novick, *The Noble Dream: the "Objectivity Question" and the American Historical Profession*, Cambridge University Press, 1988, p.28.

<sup>2</sup> Zeldin, "After Braudel". См. также его статью "Social and total history", *Journal of Social History*, X, 1976, pp.237-45.



## II

Высокая профессиональная самооценка, свойственная новому поколению ученых-историков XIX в., во многом связана с выработанными ими жесткими правилами выявления и критики первоисточников. С тех пор установленные ими каноны остаются «руководством к действию», а все здание современного научного знания основано на тщательной оценке оригинальных документов. Но предписание «хранить верность своим источникам» не столь прямолинейно, как кажется, и скептики ухватились за ряд его проблематичных аспектов. Во-первых, доступные историку первоисточники отличаются неполнотой, и не только потому, что очень многие материалы были намеренно или случайно уничтожены. У этой проблемы есть и более фундаментальный аспект – многие события не оставили после себя никаких материальных свидетельств. Особенно это относится к духовным процессам, как сознательным, так и неосознанным. Любой исторический персонаж, даже самый выдающийся и красноречивый, высказывает лишь ничтожную часть своих мыслей и мнений; кроме того, на поведение людей зачастую больше всего влияют убеждения, принимаемые как должное и потому не находящие отражения в документах. Во-вторых, источники *компрометируются* не самыми благими намерениями их авторов и не столь заметным на первый взгляд влиянием стереотипов, характерных для времени и места их создания. «Так называемые исторические «источники» фиксируют только те факты, которые, как казалось, заслуживали внимания»<sup>1</sup>; строго говоря, исторические документы всегда «подтасованы» в интересах правящего класса, который во все времена являлся создателем подавляющего большинства дошедших до нас источников. В некоторых марксистских кругах это допущение привело к полному скептицизму относительно возможности познать прошлое, и они отправили историю на интеллектуальную свалку (см. гл. 8).

В обоих вышеприведенных замечаниях есть доля правды, но доводить их до крайности – значит не понимать суть работы историков. Объем информации, который исследователь может извлечь из данного массива документов, не ограничивается их непосредственным содержанием; это содержание в первую очередь оценивается на предмет достоверности и лишь затем служит основой для выводов. При правильном применении критический анализ источника позволяет историку сделать поправку на преднамеренные искажения и неосознанные рефлексии автора – извлечь из них смысл «против воли самих

---

<sup>1</sup> K.R.Popper, *The Open Society and its Enemies*, vol.2, 5th edn., Routledge & Kegan Paul, 1966, p.265.

документов», по удачному выражению Рафаэла Сэмюэла<sup>1</sup>. Критика научной методики истории во многом связана с распространенным заблуждением, что первоисточники являются своего рода свидетельскими показаниями – как любые показания, их нельзя принимать на веру, но в данном случае свидетеля не вызовешь для перекрестного допроса. Однако, как мы показали в гл. 4, работа историка прежде всего основывается на архивных источниках, которые сами по себе являются составляющими изучаемого события или процесса: исследователь, интересующийся, скажем, личностью Гладстона или административными механизмами средневековой канцелярии, не зависит от свидетельств или впечатлений современников событий (какой бы интерес они ни представляли); он может воспользоваться частной перепиской и дневниками самого Гладстона или документами, создававшимися в процессе повседневной деятельности канцелярии. Более того, ценность первоисточников во многом связана не с целями их авторов, а с информацией, которая с точки зрения этих целей была случайной, но тем не менее позволяет проникнуть в недоступные иным путем области прошлого. Короче говоря, историк не ограничен категориями мышления, в которых сформулирован данный документ<sup>2</sup>.

Но есть и третья, более серьезная проблема, связанная с представлением, что историк должен просто следовать туда, куда ведут его документы, и она связана с *изобилием* доступных источников. Конечно, эти источники могут давать весьма неполную картину; однако по всем периодам и странам, кроме самых древних, они сохранились в совершенно необъятном количестве. С этой проблемой ученые столкнулись уже в нашем столетии. Историки XIX в., особенно сторонники позитивистских взглядов, вроде лорда Актона, считали, что окончательный предел научных исследований будет достигнут тогда, когда изучение первоисточников вынесет на свет полную подборку фактов; многие из этих фактов могут показаться непонятными или банальными, но в итоге они все «заговорят». Эти авторы не замечали ограниченности своего метода из-за крайне узкой трактовки понятий содержания истории и первоисточника: когда Актон в конце века писал, что «почти все свидетельства, что могут появиться, уже доступны нам сейчас»<sup>3</sup>, он имел в виду лишь крупнейшие собрания государственных архивов. Со времен Актона понятие предмета истории чрезвычайно расширилось, а целые категории источников, о существовании

---

<sup>1</sup> Raphael Samuel (ed.), *People's History and Socialist Theory*, Routledge & Kegan Paul, 1981, editor's introduction, p.xiv.

<sup>2</sup> Удивительно, что в указанную ошибку впадает и Э.Х.Кэпп в своей книге: E.H.Carr, *What is History?*, Penguin, 1964, p.16.

<sup>3</sup> Из письма лорда Актона участникам «Кембриджской новой истории», 1896, опубл. в: Fritz Stern (ed.), *Varieties of History*, 2nd edn., Macmillan, 1970, p.247.

которых историки XIX в. вряд ли вообще догадывались, были признаны весьма важными. Столкнувшись с буквально безграничным, по крайней мере, теоретически, содержанием исторической науки, современные историки вынуждены были подвергнуть понятие «исторического факта» самому тщательному анализу.

Сама идея о «фактах» в истории порой вызывает возражения в связи с несовершенством стандартов их проверки: большинство из того, что проходит как «исторические факты» на самом деле зависит от вымыслов исследователя. Историки «читают между строк», или восстанавливают происходящее на основе нескольких противоречивых признаков, или ограничиваются установлением того, что автор документа, скорее всего, говорит правду. Но ни в одном из этих случаев историк не может наблюдать факты таким образом, как их наблюдает физик. У историков обычно не хватает времени на подобную критическую оценку. Формальное доказательство достоверности фактов может оказаться за пределами их возможностей; по-настоящему важна обоснованность выводов. На практике историки уделяют немало времени, обсуждая и оттачивая выводы, сделанные на основе источников, и исторические факты, можно сказать, базируются на выводах, обоснованность которых признается специалистами. Кто, спрашивают они не без оснований, может требовать большего?

Историков куда больше беспокоит, что число фактов, которые можно проверить таким образом, практически безгранично. Если объектом деятельности историков является все прошлое человечества, тогда можно сказать, что любой факт из этого прошлого в той или иной степени заслуживает нашего внимания. Но ни один историк, даже узкий специалист, изучающий лишь один конкретный аспект определенного периода с четкими временными рамками, не руководствуется этой предпосылкой. Ведь количество фактов, в той или иной степени относящихся к этой конкретной проблеме, практически не ограничено, и исследователь, опирающийся только на эти факты, просто не сможет сделать никаких выводов. Таким образом, здравая идея (и главный тезис позитивизма) о том, что историк играет второстепенную роль по сравнению с «существующими» фактами, является иллюзорной. Факты – это не абстрактная данность, а результат отбора. То, что они «говорят сами за себя» – лишь внешнее впечатление. Каким бы подробным ни был исторический нарратив и как бы ни стремился его автор к воссозданию прошлого, оно не вырастает из источников в готовом виде; многие события исключаются как незначительные, а те из них, которым находится место в нарративе, мы зачастую видим глазами одного конкретного участника или небольшой группы. В аналитических исследованиях, где автор ставит целью

выделить и как можно больше объяснить те или иные факторы, отбор играет еще большую роль. Любой исторический труд в равной степени характеризуется тем, что в него включено, и тем, что туда не вошло. Поэтому есть смысл согласиться с Э.Х.Карром, проводящим различие между фактами прошлого и историческими фактами. Объем первых безграничен и в своей полноте непознаваем; вторые представляют собой результат отбора, сделанного историками в целях научной реконструкции и интерпретации:

«Исторические факты не могут быть полностью объективными, ведь они становятся историческими фактами лишь в силу значения, которое придает им историк»<sup>1</sup>.

Раз исторические факты являются результатом отбора, необходимо установить критерии, по которым они отбираются. Существуют ли здесь общие принципы, или все происходит по прихоти ученого? Один из ответов, весьма популярный со времен Ранке, состоит в том, что историки стремятся раскрыть суть исследуемых событий. Нэмир выразил эту идею в метафорической форме:

«Функция историка сродни функции художника, а не фотоаппарата; обнаружить и сформулировать, выделить и подчеркнуть то, что составляет природу данной вещи, а не воспроизводить без разбора все, на чем задержался взгляд»<sup>2</sup>.

Но это, по сути, другая формулировка того же вопроса, ведь как нам определить «природу данной вещи»? Избежать неразберихи позволяет прямое признание, что используемые историком критерии значимости определяются характером исторической проблемы, которую он стремится разрешить. Как писал М.М.Постан:

«Исторические факты, даже те, что в научном обиходе фигурируют как «твердо установленные», можно считать лишь «относящимися к делу»: аспектами явлений прошлого, соответствующими интересам исследователя в тот момент, когда он проводит свои изыскания».

По мере «канонизации» новых исторических фактов старые «выходят из употребления», сохраняясь, как не без озорства замечает Постан, лишь на страницах учебников, заполненных «бывшими фактами»<sup>3</sup>.

Подобный взгляд не свободен от полемических преувеличений. Историческое знание изобилует такими фактами, как Большой лондонский пожар или казнь Карла I, чей статус с практической точки зрения неопровержим, и критики вроде Элтона пользуются этим для дискредитации тезиса о различии между фактами прошлого и

<sup>1</sup> Carr, *What is History?*, p.120.

<sup>2</sup> L.B.Namier, *Avenues of History*, Hamish Hamilton, 1952, p.8.

<sup>3</sup> M.M.Postan, *Fact and Relevance*, Cambridge University Press, 1970, p.51.

историческими фактами, который, по их мнению, вносит опасный элемент субъективности<sup>1</sup>. Но, как знает всякий, кто сталкивался с работой профессиональных историков, научные труды никогда не состоят целиком, и даже в основном, из таких неопровержимых фактов. На решение о включении именно этого, а не другого, набора фактов непосредственно влияет цель, поставленная исследователем.

Тогда, очевидно, многое зависит от тех вопросов, которые задает себе историк, приступая к работе. Как мы уже отмечали в гл. 4, существует немало аргументов в пользу выбора богатого и еще не обработанного массива источников и сосредоточения на тех вопросах, которые они поднимают (см. выше, с. 82-84). Недостаток этого метода состоит в том, что на практике никто не подходит к источникам абсолютно непредвзято – этим мы обязаны знакомству со стандартным набором «вторичной» литературы, которое предшествует любому исследованию. Даже не сформулировав конкретные вопросы, исследователь будет изучать источники исходя из некоторых сформировавшихся представлений, которые, скорее всего, являются неосознанным отражением современной ортодоксии, и результатом будет лишь прояснение деталей или небольшое смещение акцентов в рамках существующей интерпретации.

Существенного прогресса в познании истории можно скорее достичь, сформулировав четкую гипотезу и сопоставив ее с документальными свидетельствами. Полученные ответы могут противоречить первоначальной гипотезе, и тогда ее придется отбросить или пересмотреть, но уже тот факт, что историк ставит еще не задававшиеся вопросы, помогает ему как выявить новые аспекты знакомых проблем, так и новые данные в хорошо исследованных источниках. Возьмем, к примеру, причины Английской революции. Историки XIX в. подходили к этой проблеме с точки зрения соперничества политических и религиозных идеологий и проводили соответствующий отбор из гигантской массы имеющейся информации об Англии XVII в. Начиная с 1930-х гг. все больше ученых пытались применить к ней марксистский подход, в результате чего особую важность приобрели новые материалы, касавшиеся экономического состояния дворянства, аристократии и городской буржуазии. В последние годы некоторые историки стали применять «нэмировскую» методику, при которой конституционный и военный конфликты рассматриваются как выражение соперничества политических фракций: соответственно усиливается внимание к системам политического патронажа и интригам

---

<sup>1</sup> Elton, *The Practice of History*, pp.74-82.

двора<sup>1</sup>. И речь здесь не о том, что марксистская или «нэмировская» точка зрения дает полную картину причин Гражданской войны в Англии, а о том, что каждая гипотеза ввела в научный оборот ранее не замеченные факторы, необходимые для любой будущей интерпретации этого события. Марк Блок, чьи собственные исследования проходили на основе гипотез, четко изложил вопрос:

«Каждое историческое исследование предполагает изначальное направление работы. С самого начала необходима некая направляющая сила. Пассивное наблюдение, даже если предположить, что оно в принципе возможно, не привело к продуктивному результату ни в одной из наук»<sup>2</sup>.

Самое важное, что с этим согласно большинство нынешних ученых. Позитивистская теория и поныне предопределяет дилетантский взгляд на науку, но она уже не находит особого отклика в научном сообществе. Индуктивное мышление и пассивное наблюдение перестали считаться признаками научного метода. Любое наблюдение природы или человека скорее связано с отбором, а потому предполагает наличие гипотезы или теории, хотя бы самой бессвязной. По мнению такого авторитета, как Карл Поппер, научное знание состоит не из законов, а из наиболее обработанных на данный момент гипотез; это скорее промежуточное, чем окончательное знание. Познание движется вперед путем создания новых гипотез, выходящих за рамки имеющихся данных и подлежащих проверке дальнейшими наблюдениями, которые смогут подтвердить или опровергнуть гипотезу. А раз гипотеза лежит вне пределов известного, она неизбежно связана с творческим озарением и полетом фантазии, причем зачастую чем он более дерзок, тем лучше. Таким образом, научный метод – это диалог между гипотезой и попыткой ее опровергнуть, или между творческой и критической мыслью<sup>3</sup>. Историкам такое определение науки куда ближе, чем то, что ему предшествовало.

Но, хотя история и естественные науки могут сближаться в ряде основных методологических предпосылок, между ними сохраняются существенные различия. Во-первых, историческая наука дает куда больший простор воображению. Оно ни в коей мере не ограничивается функцией создания гипотез, но пронизывает все мышление историка. Историков, в конце концов, волнует не только объяснение прошлого; они также стремятся реконструировать или воссоздать его – показать, какой стала жизнь, а не только попытаться ее понять, – а без воображения нельзя проникнуть в менталитет и атмосферу прошлого. Утверждая, что вся история – это история мысли, Коллингвуд

<sup>1</sup> См.: R.C.Richardson, *The Debate on the English Revolution Revisited*, Routledge, 1988.

<sup>2</sup> Marc Bloch, *The Historian's Craft*, Manchester University Press, 1954, p.65.

<sup>3</sup> Взгляды Поппера со всей ясностью изложены в: Bryan Magee, *Popper*, Fontana, 1973.

неправомерно сузил предмет исторической науки. Но, несомненно, анализ документальных источников зависит от реконструкции породившего их мышления; в первую очередь историк должен проникнуть в духовный мир создателя источника.

Более того, хотя идеалисты от Ранке до Коллингвуда и преувеличивали значение «уникальных» событий, личности, несомненно, являются законными и необходимыми объектами исторического исследования, а разнообразие и непредсказуемость индивидуального поведения (в отличие от закономерностей поведения массового) требует от ученого не только логических и критических навыков, но и чувства сопричастности, и интуиции. И если специалисты в области естественных наук могут создавать новые данные путем эксперимента, то историки вновь и вновь сталкиваются с информационными пробелами, которые они могут восполнить, лишь выработав ощущение того, как именно могло произойти то или иное событие, ощущение, возникающее из воображаемой картины, оформившейся в процессе погружения в уцелевшие документы. Для всех этих целей историку жизненно необходимо воображение. Оно не только генерирует плодотворные гипотезы, но позволяет создать события и обстановку прошлого, на которых они проверяются.

Второе, еще более принципиальное различие между исторической и естественными науками, состоит в том, что весомость объяснений, выдвинутых историками, куда меньше, чем естественнонаучных объяснений. Может случиться, что естественнонаучные объяснения – это лишь промежуточные гипотезы, но эти гипотезы разделяются всеми специалистами; однажды они могут быть отвергнуты, но до этого момента они представляют собой максимально возможное приближение к истине и в качестве таковых признаются всеми. С другой стороны, в случае с объяснениями историков научный консенсус едва ли возможен. Известные факты, может быть, и не подвергаются сомнению, но их интерпретация или объяснение становится предметом бесконечных споров, как я показал на примере Английской революции. «Фракционная гипотеза» не заменила «классовую» или «идеологическую» гипотезы; все они продолжают существовать и пользуются предпочтением у некоторых историков.

Причина такого разнообразия мнений заключается в сложном характере самого процесса исторических перемен. В гл. 6 мы показали, каким образом индивидуальное и коллективное поведение подвергается влиянию широчайшего и противоречивого набора факторов. Здесь мы подчеркнем лишь, что каждая историческая ситуация является уникальной в том смысле, что конкретная конфигурация причинных факторов не может повториться в точности. Можно, к примеру,

утверждать, что причины отказа европейских держав от большинства своих африканских колоний в 1950-х – 1960-х гг. были одинаковыми для всех тридцати с лишним колониальных владений. Но такое мнение будет правильным лишь в самом общем смысле. Соотношение сил между колониальной державой и национальным движением варьировалось от страны к стране в зависимости от ее важности с точки зрения метрополии, ее опыта социальных перемен, количества европейских поселенцев и т.д.<sup>1</sup> А значит, на практике каждую историческую ситуацию надо рассматривать конкретно, с большой вероятностью, что выводы всякий раз будут различны, и, следовательно, основы для всеобщей теории исторической причинности просто не существует.

Возможно, все это было бы не так важно, если бы можно было с достаточной точностью объяснить *конкретные* события. Но и этой скромной задачи историки решить не могут. Проблема состоит в том, что имеющиеся данные никогда не бывают настолько полными и недвусмысленными, чтобы их причинно-следственная интерпретация не подлежала сомнению. Это относится и к наиболее полно документированным событиям. По таким проблемам, как причины первой мировой войны, источники дают достаточно сведений о мотивах главных действующих лиц, хронологии дипломатических акций, состоянии общественного мнения, нарастающей гонке вооружений, соотношении экономической мощи всех стран-участниц и т.д. Однако эти данные не могут раскрыть нам *степень* важности каждого из этих различных факторов или дать общую картину их взаимодействия<sup>2</sup>. Во многих случаях источники вообще не затрагивают напрямую важнейших вопросов научного объяснения событий. Некоторые факторы, влияющие на поведение людей, такие, как естественная среда, невращения или иррациональность, воспринимаются подсознательно; другие имеют прямое воздействие, но не отражены в источниках. Таким образом, проблемы научного объяснения не решаются только на основе фактических данных. Историком руководит и интуитивное ощущение того, что могло случиться в данном историческом контексте, понимание им человеческой природы и способность к интеллектуальному обобщению. И в каждой из этих областей мнения историков вряд ли совпадут. В результате возможно одновременное появление нескольких гипотез по одному и тому же вопросу. Наличие этой проблемы честно признал Буркхардт в предисловии к своей «Цивилизации Возрождения в Италии» (1860):

«Мы пускаемся в плавание по огромному океану, где есть много возможных путей и направлений; те же исследования, что послужили созданию

<sup>1</sup> R.F.Holland, *European Decolonization 1918-81*, Macmillan, 1985.

<sup>2</sup> James Joll, *The Origins of the First World War*, Longman, 1984.



этого труда, в других руках вполне могут не только получить другое толкование и применение, но и привести к совершенно другим выводам»<sup>1</sup>.

Область бесспорного знания в истории меньше и по объему, и тем более по значению, чем в естественных науках. Нынешние сторонники «объективности» в истории не осознают это важнейшее ограничение в полной мере<sup>2</sup>.

### III

Такое сравнение между исторической и естественными науками, возможно, является несколько искусственным, учитывая, что идея весомости научного знания, воспринимаемая большинством людей, является устаревшим пережитком позитивизма XIX в.; на самом деле научное знание гораздо менее определено и объективно, чем это обычно считается. Но сравнение позволяет понять степень, до которой наши знания о прошлом зависят от свободного выбора, сделанного историком. Общепринятое мнение, что историки попросту «перекапывают» прошлое и демонстрируют свои находки, не выдерживает критики. Суть исторического исследования заключается в *отборе* «относящихся к теме» источников, «исторических» фактов и «важных» интерпретаций. На каждой стадии направленность и цель исследования определяются самим ученым в такой же степени, как и имеющейся информацией. Очевидно, что требуемое позитивистами жесткое отделение фактов от ценностей невозможно в научной практике. В таком контексте историческое знание не является, да и не может быть «объективным» (то есть эмпирически почерпнутым во всей полноте из объекта исследования). Это не означает, как могут предположить скептики, что оно является произвольным или иллюзорным. Тем не менее, отсюда следует, что, перед тем как делать какой-либо вывод о реальном статусе исторического знания, необходимо тщательно изучить представления и взгляды самих историков.

До определенной степени эти категории можно считать «личной собственностью» отдельного историка. Научные исследования – дело индивидуальное, а часто и очень личное, и творческое восприятие каждым историком своих материалов всегда будет уникальным. Говоря словами Ричарда Кобба, «занятие историей – один из самых полных и стоящих способов выразить свою индивидуальность»<sup>3</sup>. Но в какой бы разреженной атмосфере ни существовали историки, они, как и

---

<sup>1</sup> Jakob Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy*, Phaidon, 1960, p.1.

<sup>2</sup> В особенности это относится к «Практике истории» Элтона.

<sup>3</sup> Richard Cobb, *A Second Identity*, Oxford University Press, 1969, p.47. См. подобные же высказывания Зелдина в: *France 1848-1945*, vol.1, Oxford University Press, 1973, p.7.

все, испытывают воздействие представлений и ценностей того общества, в котором живут. Мы обретаем гораздо большую уверенность, если будем считать, что интерпретация истории формируется социальным, а не личным опытом. А раз общественные ценности меняются, то, следовательно, интерпретация истории подвержена постоянной переоценке. Те аспекты прошлого, которые в данную эпоху считаются достойными внимания, вполне могут отличаться от того, что заслуживало упоминания в предыдущие периоды. Этот вывод неоднократно подтверждался даже за тот короткий промежуток времени после возникновения научной профессии историка. Для Ранке и его современников апогеем исторического процесса были суверенные национальные государства, преобладавшие в Европе тех дней; они были главным инструментом исторических перемен, и судьбы человечества в основном определялись изменением баланса сил между государствами. Это мировоззрение серьезно поколебала первая мировая война: после 1919 г. на фоне оптимизма, порожденного созданием Лиги Наций, преподавание истории в Британии приобрело тенденцию подчеркивать скорее развитие интернационализма в разные эпохи. А уже в недавнее время перемены, которым историки стали свидетелями, изменили их подход к изучению мира за пределами Европы и США. Пятьдесят лет назад история Африки еще рассматривалась как один из аспектов истории европейской экспансии, в которой коренные народы выступали почти исключительно в качестве объекта политики и отношения белых. Сегодня здесь сложилась совершенно иная ситуация. История Африки существует как полноправное направление, охватывая как доколониальный период, так и африканский опыт существования под управлением колонизаторов (и реакцию на него), подчеркивая непрерывность исторического развития континента, что ранее совершенно упускалось из виду из-за сосредоточенности на вопросах европейской экспансии. И этот тезис о непрерывности, в свою очередь, уже подвергся переосмыслению: если в 1960-х гг. историки стремились прежде всего поместить африканский национализм в историческую перспективу, связав его с процессом формирования государств в доколониальную эпоху и сопротивлением господству колонизаторов, то теперь, после тридцати лет разочарований в плодах независимости, они занялись историческими предпосылками растущего обнищания континента. На протяжении одной человеческой жизни приоритеты ученых в отношении истории Африки дважды изменились.

Но если мы скажем, что история переписывается каждое поколение (или каждые десять лет), это будет лишь частью правды – а то и просто неверным утверждением, если оно предполагает замену одного консенсуса другим. О научном консенсусе уместно говорить

применительно к исторической науке периода развитого средневековья и эпохи Возрождения – ведь тогда историки и их аудитория принадлежали к крайне ограниченному общественному кругу, а по прошествии времени разногласия между историками кажутся куда менее значительными, чем разделяемые ими общие ценности. Но всеобщая грамотность и распространение образования, характерные для западного общества нашего столетия, означают, что историческая наука теперь отражает гораздо более широкий спектр ценностей и представлений. Выдающиеся политические фигуры прошлого, такие, как Оливер Кромвель или Наполеон Бонапарт, получают самые различные оценки как со стороны профессиональных историков, так и широкой публики, частично связанные с их политическими взглядами<sup>1</sup>. Либеральные или консервативные историки вроде Питера Лэслетта стремятся изобразить общественные отношения в доиндустриальной Англии как отношения сотрудничества, а радикалы, такие, как Э.П.Томпсон, – как отношения эксплуатации<sup>2</sup>. Майкл Хоуард публично признал характерную для многих ученых тенденциозность в пользу либерального политического устройства – ведь только оно позволяло историкам работать без цензуры<sup>3</sup>. Однако многие другие историки считают, что материальный прогресс или социальное равенство важнее свободы мысли и самовыражения. Интерпретация истории – вопрос ценностных приоритетов, в той или иной степени формируемых под влиянием моральных и политических взглядов. В самом начале XX в. преемник Актона в Кембридже, Дж.Б.Бьюри, предсказывал грядущий расцвет исторической науки: «Хотя сохранится много школ политической философии, различных школ в истории больше не будет»<sup>4</sup>. Мы будем ближе к истине, если скажем, что пока существует много школ политической философии, будут и различные школы в исторической науке. Парадоксально, но факт, в любом историческом исследовании существует элемент «взгляда с позиций современности».

Проблема, конечно, состоит в том, чтобы определить, когда озабоченность проблемами современности вступает в противоречие со стремлением историка «сохранить верность» прошлому. Это противоречие яснее всего проявляется у тех авторов, что перелопачивают прошлое в поисках материала для подпитки определенной идеологии, или тех, кто фальсифицирует его ради поддержки политической программы,

---

<sup>1</sup> См., например: Peter Geyl, *Napoleon: For and Against*, 2nd edn., Cape, 1964.

<sup>2</sup> Сравните, например: Peter Laslett, *The World We Have Lost*, 2nd edn., Methuen, 1971, и E.P.Thompson, *Whigs and Hunters*, Penguin, 1977.

<sup>3</sup> Michael Howard, *The Lessons of History*, Oxford University Press, 1981, p.21.

<sup>4</sup> J.V.Bury, “The science of history”, 1902, цит. по: Stern, *Varieties of History*, p.215.

как это делали историки-нацисты в «третьем рейхе» или те, кто сегодня отрицает Холокост. Такие работы относятся к области пропаганды, а не науки, и профессионал – а порой и дилетант – ясно видит, что факты в них либо замалчиваются, либо фабрикуются. Среди самих историков взгляд с позиций современности проявляется в двоякой форме. С одной стороны – это интерес к историческим корням современного мира, или какой-нибудь его особенно яркой черте, скажем, семьи как основной ячейки общества или парламентской демократии. Само по себе это является позитивным ответом на вопрос о социальном значении истории, кроме того, такой подход предусматривает четкие принципы отбора, что ведет к созданию целостной картины прошлого. Но он связан и с риском поверхностного анализа и искажений. Проблема с поисками исторических предшественников некоего феномена с ярко выраженным «современным» характером состоит в том, что их результат представляется заранее предопределенным, а не возникает в ходе сложного научного процесса. Когда исследователь прослеживает происхождение лишь одной, отдельно взятой линии развития, это чаще всего приводит к игнорированию исторического контекста; чем дальше в прошлое он заглядывает, тем больше сосредоточивается на линейном развитии того или иного института или явления в ущерб тому значению, которое они имели в конкретной исторической обстановке. Так, историки-виги в XIX в. совершенно неверно трактовали систему управления в средневековой Англии, поскольку их единственным интересом было происхождение парламента. Подобной же критике подвергались и недавние работы по истории семейных отношений и сексуальности в период средневековья и раннего нового времени<sup>1</sup>. Как заметил Баттерфилд в своей «Вигской интерпретации истории» (1931) – возможно, самом влиятельном полемическом труде, направленном против «истории, обращенной к современности»: «Если при изучении прошлого один глаз, так сказать, обращен к настоящему, это становится источником всех недостатков и софистики в исторической науке, начиная с простейшего – анахронизма»<sup>2</sup>. «Вигская» история демонстрирует тенденцию к недооценке различий между прошлым и настоящим – распространению современного образа мышления на прошлое и отрицанию тех аспектов исторического опыта, которые не состыкуются с современными идеями. Тем самым она ограничивает общественную ценность исторической науки, которая связана прежде всего с ее ролью как хранилища опыта прошлого, отличного от нашего собственного опыта.

---

<sup>1</sup> Adrian Wilson, “The infancy of the history of childhood: an appraisal of Philippe Ariès”, *History and Theory*, XIX, 1980, pp.132-153.

<sup>2</sup> H.Butterfield, *The Whig Interpretation of History*, Penguin, 1973, p.30.

Сегодня куда большее распространение получила вторая разновидность «взгляда на историю с точки зрения современности (или «презентизма»)). Речь идет об исторических трудах, написанных с политических позиций социальных групп, ранее не получавших должного внимания в историографии. Как мы объяснили в гл. 1, эффективная политическая деятельность в настоящем требует наличия ярко выраженной социальной памяти, и именно ее создание было одной из главных целей исследователей истории чернокожих или истории женщин в Британии и США. Говорят, что задачей этих историков-радикалов является не только пролить свет на явления, «скрытые от истории»<sup>1</sup>, но и продемонстрировать исторический опыт определенного характера – в данном случае опыт угнетения и сопротивления – вплоть до исключения материала, который не вписывается в политическую программу автора. Так, может замалчиваться соучастие западноафриканского общества в трансатлантической работорговле или сексуальный консерватизм, характерный для многих феминистских движений XIX в. Когда побудительным мотивом для исследования становится приверженность интересам этнической группы или определенного пола, различия между «тогда» и «теперь» могут преуменьшаться ради создания исторической идентичности. Такие ученые не станут прилагать особых усилий и для того, чтобы понять опыт других групп, имеющих отношение к данной проблеме. А значит, открывается путь для историографической реакции на подобные труды, то есть более явной и жесткой защиты существующего порядка.

Если результат исторического исследования до такой степени обусловлен предпочтениями самого ученого и может так легко измениться в руках другого исследователя, то как он может заслужить доверие в качестве серьезного вклада в развитие знания? И если факты и ценности неразрывно связаны между собой, то как отличить достоверный исторический труд от недостоверного? В период между мировыми войнами в некоторых кругах было можно соглашаться со скептиками если не полностью, то в основном. Научная интерпретация, утверждали эти историки, может считаться верной лишь в отношении потребностей эпохи, в которую она создавалась. Фразой «каждый сам себе историк»<sup>2</sup> американский ученый Карл М. Беккер отверг идею создания «окончательной» истории, характерную для профессионалов со времен Ранке. Позже его точку зрения в сжатой форме выразили Гордон Коннел-Смит и Хауэлл Ллойд:

«История – это не «прошлое» и даже не дошедшее до нас прошлое.

Это реконструкция некоторых областей прошлого (на основе дошедших до нас

---

<sup>1</sup> Sheila Rowbotham, *Hidden from History*, Pluto Press, 1973.

<sup>2</sup> Цит. по: J.H.Nexter, *On Historians*, Collins, 1979, p.15.

сведений), которая каким-то образом имеет отношение к нынешним жизненным обстоятельствам историка, который их реконструировал»<sup>1</sup>.

Последствия такой позиции внушают беспокойство. Неудивительно, что историки не желают так легко отказаться от претензии своей дисциплины на научную респектабельность. В последние тридцать лет ответ ортодоксов релятивистам состоял в фактическом возвращении к историзму. Историк, утверждают они, должен отказаться от любых стандартов и приоритетов, лежащих вне пределов изучаемой им эпохи. Их цель – понять прошлое в его собственных критериях или, как выразился Элтон, «понять данную проблему изнутри»<sup>2</sup>. Историк должен проникнуться ценностями эпохи и попытаться увидеть события с точки зрения их участников. Только так он может сохранить верность предмету исследования и своему призванию. Но подобные попытки «говорить голосом прошлого» не выдерживают проверки реальностью. На первый взгляд может показаться, что историкам вполне удастся воспринять ценности тех, о ком они пишут: историки дипломатии обычно разделяют этику *государственных интересов*, господствующую в международных отношениях со времен эпохи Возрождения, а специалист по какому-либо политическому движению вполне способен выработать чувство сопричастности с взглядами и стремлениями его участников. Однако, как только ученый забрасывает сеть поглубже, чтобы охватить общество в целом, тезис о «ценностях эпохи» немедленно вызывает вопросы. Чьи ценности мы должны разделить – богатых или бедных, колонизаторов или угнетенных, протестантов или католиков? Было бы ошибкой предполагать, что историки, напроочь отвергающие «социальное значение» истории, тем самым обеспечивают объективность своих трудов. На практике их работа подвергается двойной опасности. С одной стороны, они могут оказаться в плену приоритетов и представлений тех, кто создал используемые ими источники; с другой – их конечная продукция скорее всего испытает – пусть даже неосознанное – влияние их собственных ценностей, которые трудно вычленишь, поскольку они не заявлены. Работа Элтона является иллюстрацией обеих тенденций: на Англию эпохи Тюдоров он смотрит через призму авторитарной патерналистской бюрократии, чьи архивы он знает так хорошо и чьи взгляды, вероятно, близки его собственным консервативным убеждениям<sup>3</sup>.

Воссоздание

<sup>1</sup> Gordon Connel-Smith and Howell A. Lloyd, *The Relevance of History*, Heinemann, 1972, p.41.

<sup>2</sup> Elton, *The Practice of History*, p.31.

<sup>3</sup> Консервативные убеждения Элтона наиболее четко выражены в его двух вступительных лекциях «Будущее прошлого» (1968) и «История Англии» (1984), опубликованных в его книге: G.R.Elton, *Return to Essentials*, Cambridge University Press, 1991.

истории – достойная цель, но было бы ошибкой предполагать возможность ее полного достижения или думать, что именно оно дает объективное знание о прошлом.

Существует и другая серьезная трудность, характерная для подхода с позиций «строгости историзма». Нам никогда не уловить подлинный «аромат» конкретного момента истории так, как его чувствовали люди того времени, ведь мы, в отличие от них, знаем, что произошло потом, и значение, которое мы придаем тому или иному событию, неизбежно обусловлено этим знанием. Это одно из самых существенных возражений против идеи Коллингвуда, что историки «заново передумывают» мысли людей прошлого. Хотим мы того или нет, историк глядит на прошлое «с высоты» – он уже знает, чем все это кончилось. Некоторые историки стараются отказаться от этого взгляда сверху, максимально ограничивая свои исследования событиями нескольких лет или даже месяцев, по которым они могут дать полный «отчет» при минимальном отборе и интерпретации, но человеческий интеллект не способен на полный отказ от ретроспективного взгляда. Кроме того, почему бы не расценивать ретроспективный взгляд как полезное преимущество, а не как недостаток, который необходимо преодолеть? Именно наше положение во времени относительно объекта исследования позволяет нам осмыслить прошлое – выделить предпосылки, о которых современники и не подозревали, и разглядеть подлинные, а не желательные с точки зрения участников событий последствия. Строгое соблюдение принципа «история ради истории» ведет к отказу от многого из того, что придает самой дисциплине притягательность, без достижения желаемой цели – полной отстраненности от современности. Уход в прошлое ради самого прошлого не позволяет избежать столкновения с проблемами научной объективности.

#### IV

До сих пор наш анализ исторических исследований предусматривал некую иерархию подходов, в которой позитивистская наука выступает как конечное мерило интеллектуальной строгости. Научный метод при этом рассматривается как единственный способ достижения непосредственного знания о реальности, как прошлого, так и настоящего. Процедуры историзма вряд ли можно успешно отстаивать, в той степени, в какой они не дотягивают до научного метода, их нельзя признать полноценными. Этот спор продолжается с тех пор, как история стала всерьез изучаться, и конца ему пока не видно. Однако в последние двадцать лет позиции скептиков существенно укрепились благодаря крупному интеллектуальному сдвигу в области гуманитарных

наук, отвергающему историзм в качестве базы для истории и других дисциплин, имеющих текстуальную основу. Речь идет о постмодернизме. Его отличительной чертой является приоритет языка над опытом, ведущий к открытому скептицизму относительно способности человека к наблюдению и истолкованию внешнего мира, особенно человеческого мира. Постмодернизм имеет потенциально серьезные последствия для статуса профессии историка, и потому это явление следует тщательно проанализировать.

Современные теории языка лежат в русле традиции, впервые сформулированной Фердинандом де Соссюром в начале нашего столетия. Соссюр заявил, что язык отнюдь не является нейтральным и пассивным средством выражения, но управляется собственной внутренней структурой. Связь между словом и объектом или идеей, которые оно обозначает – или, в терминологии Соссюра, между «означающим» и «означаемым», – является в итоге произвольной. Не найти двух языков, где слова и предметы сочетались бы одинаковым образом; определенные образцы мысли и наблюдения, присутствующие в одном языке, находятся вне пределов возможностей другого. Отсюда Соссюр сделал вывод, что язык является несвязанным явлением – речь и письмо следует рассматривать как лингвистическую структуру со своими собственными законами, а не как отражение реальности: язык – это не окно в мир, а структура, определяющая наше представление о нем. Такое понимание языка немедленно приводит к понижению статуса автора текста: если структура языка имеет такое влияние, то смысл текста связан с формальными атрибутами языка не меньше, а то и больше, чем с намерениями автора. Любое утверждение, что автор может точно передать «свой» смысл читателю, повисает в воздухе. По широко известному выражению Ролана Барта, можно говорить о «смерти автора»<sup>1</sup>. С таким же успехом можно говорить и о смерти текстуальной критики в ее традиционном смысле, поскольку толкователи текстов обладают не большей свободой действий, чем их авторы. Объективный исторический метод, находящийся вне текста, просто невозможен, существует лишь интерпретационная точка отсчета, сформированная из лингвистических ресурсов, доступных толкователю. Историк (или литературный критик) теряет свое привилегированное положение.

Однако было бы упрощением говорить о «языке» любого общества в единственном числе, если мы тем самым предполагаем его единую структуру и общие правила. Любой язык является сложной системой смыслов – множественным кодом, где одни и те же слова часто имеют различное значение для разных слушателей; ведь сила языка частично основана на неосознанной передаче разных смысловых «слоев».

---

<sup>1</sup> Roland Barthes, *Image, Music, Text*, Fontana, 1977, pp.42-48.



Текстуальный анализ, при котором непосредственный или «поверхностный» смысл отбрасывается ради менее очевидного, в постмодернистских кругах получил название «деконструкции» – этот термин сформулировал Жак Деррида. Деконструкция охватывает удивительное множество дерзких и диссонантных прочтений. Если сосюрсовское разделение означающего и означаемого возвести в абсолют, то в итоге не существует никаких ограничений спектра возможных прочтений. Творческий подход к интерпретации текстов – то шаловливый, то ироничный, то провокационный – является отличительной чертой постмодернистской науки<sup>1</sup>.

Однако, сточки зрения большинства выразителей лингвистического поворота, свобода «прочтения» текстов несколько ограничивается воздействием «интертекстуальности». Согласно этой точке зрения, тексты прошлого не должны рассматриваться в изоляции, поскольку ни один текст никогда не создавался таким образом. Все авторы используют язык, который уже служил тем же целям, что ставят они, а аудитория, возможно, истолкует написанное ими в соответствии еще с какими-то другими правилами применения языка. В любой конкретный момент мир текстов состоит из разнообразных видов производства, каждый из которых имеет собственную культурную обусловленность, концептуальные категории и образцы использования. Короче говоря, каждый текст является частью «дискурса», или массива языковой практики. Сегодня термин «дискурс» наиболее известен в том понимании, которое вложил в него французский философ Мишель Фуко. Для него «дискурс» означал не просто образец использования языка, но и форму «власть/знание», указывающую на то, каким образом люди оказываются в плену регулирующих рамок конкретных дискурсов. Он показал, как в 1750-1850 гг. в Европе утвердились новые, более жесткие дискурсы сумасшествия, наказания и сексуальности, поставив под сомнение традиционный взгляд на эту эпоху как на период социального и интеллектуального прогресса<sup>2</sup>. От других отцов-основателей постмодернизма Фуко отличается острым чувством эпохи. Но в понимании большинства литературоведов понятия «дискурс» и «интертекстуальность» имеют тенденцию к «свободному плаванию» без всякой привязки к «реальному» миру, тем самым подтверждая знаменитый афоризм Дерриды – «вне текста не существует ничего»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Текстуальные теории, возникшие на основе концепции Соссюра, систематизированы в: Raman Selden, Peter Widdowson and Peter Brookes, *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*, 4th edn., Prentice Hall, 1997.

<sup>2</sup> Хорошее представление об идеях Фуко дается в: P. Rabinow (ed.), *The Foucault Reader*, Penguin, 1991.

<sup>3</sup> Jacques Derrida, *Of Grammatology*, Johns Hopkins University Press, 1976, p. 158.

Анализ дискурса, как и все критические процедуры, связанные с современной лингвистикой, основан на релятивизме. Его сторонники отвергают идею о том, что язык отражает реальность, как репрезентативное заблуждение. Языку, считают они, присуща нестабильность, его смыслы меняются с течением времени и оспариваются в любой конкретный момент. Подобная неопределенность, если принять ее за аксиому, имеет фатальные последствия для традиционных понятий исторического исследования. Бессмысленно искать различия между событиями прошлого и дискурсом, в котором они представлены; как выразился Рафаэл Сэмюэл в своем кратком обзоре взглядов Ролана Барта, история превращается в «парад «означающих», притворяющихся собранием фактов»<sup>1</sup>. Как мы показали в гл. 4, историки ни в коей мере не считают свои первоисточники безупречными, и они привыкли выискивать в них скрытые смыслы. В основе их научной практики лежит убеждение, что из источников можно извлечь, хотя бы отчасти, тот смысл, который вкладывали в них авторы и первые читатели. «Деконструкторы» подвергают такой взгляд анафеме: по их мнению, никакой уровень технического мастерства не позволяет преодолеть субъективность и неопределенность, непременно присутствующие при прочтении текстов. Вместо этого они предлагают нам возможность находить в них любые смыслы, какие нам захочется, лишь бы мы не требовали признать их достоверными. Никакой объем исследовательской работы не способен поставить нас в привилегированное положение. Все, что нам позволено, – это свободное взаимодействие между читателем и текстом без общепринятых процедур и «апелляционного суда». Требовать большего – значит проявлять наивность, или, как без лишних церемоний утверждают некоторые постмодернисты, обманывать ни в чем не повинных читателей.

Поскольку историки требуют намного большего, каждый аспект их деятельности оспаривается постмодернистами. Если подвергнуть сомнению обоснованность исторического метода истолкования текстов, тоже самое произойдет и со всеми процедурами, воздвигнутыми на этом фундаменте. Идея Ранке о воссоздании прошлого рушится, поскольку она основана на принципе «привилегированности» «аутентичного» прочтения первоисточников. Вместо исторического объяснения постмодернистская наука может предложить лишь интертекстуальность, имеющую дело с «дискурсивными» связями между текстами, а не причинными связями между событиями; историческое объяснение отвергается как пустая химера для утешения тех, кто не

---

<sup>1</sup> Raphael Samuel, "Reading the Signs", *History Workshop Journal*, 32, 1991, p.93.

способен воспринять мир, лишенный смысла<sup>1</sup>. Традиционных исторических деятелей ожидает такая же судьба. Если автор умер, то умер и единый исторический субъект, будь то индивид или коллектив (вроде класса или нации): согласно постмодернистской теории, идентичность создается языком – прерывистая и нестабильная, ведь она находится в фокусе различных дискурсов. И, что, наверно, важнее всего, деконструкция личностей и групп, являвшихся традиционными деятелями истории, означает, что истории, по сути, больше нечего сказать. Нация, рабочий класс, даже идея прогресса – все они распадаются на дискурсивные конструкции. Непрерывность и эволюция отвергаются в пользу прерывистости, как это делает, например, Фуко в своей концепции четырех никак не связанных между собой исторических эпох (или «эпистем») начиная с XVI в.<sup>2</sup> Постмодернисты, в принципе, с издевкой относятся к «большим нарративам» или «метанарративам» историков – например, о генезисе капитализма или развитии свободомыслия и терпимости. Максимум, который они способны признать – это то, что прошлое можно систематизировать как множество рассказов, подобно тому, как отдельный текст открыт для множества прочтений.

Столь радикальный пересмотр существующих взглядов имеет серьезные последствия для нашего понимания профессии историка. Постмодернисты привнесли сюда две важные идеи. Во-первых, подчеркивают они, исторические труды являются видом литературного производства, который, как любой жанр, функционирует в рамках определенных риторических правил. В своем весьма влиятельном труде «Метаистория» (1973), Хейден Уайт анализирует эти правила с точки зрения эстетики, и классифицирует исторические труды по двенадцати стилистическим разновидностям и четырем основным «тропам». Специфика этого тщательного анализа не столь важна, как теоретический вывод Уайта и том, что характер любого исторического труда определяется не столько исследованиями и идеологией автора, сколько эстетическим выбором, который он делает (чаще всего неосознанно), когда приступает к работе, и который формирует дискурсивную стратегию текста. Подобный приоритет эстетики над идеологией придает его позиции несколько пуристский характер. В настоящее время с постмодернизмом больше связывают вторую идею, согласно которой историк рассматривается как вектор направленности диапазона политических позиций, связанных с текущим моментом. Поскольку документальные «остатки» прошлого подвержены столь многочисленным прочтениям

---

<sup>1</sup> Hayden White, *The Content of the Form*, Johns Hopkins University Press, 1987, p.72.

<sup>2</sup> Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, Tavistock, 1972.

и поскольку историки используют идеологизированный язык, создание исторических трудов ни в коей мере нельзя считать невинным занятием. Поскольку история бесформенна, историки не способны «извне» реконструировать ее и придать ей очертания. Истории, которые они рассказывают, и люди-субъекты, о которых они пишут, – лишь субъективные предпочтения, взятые из бесконечного множества возможных стратегий. Историки укоренены в хаотичной реальности, которую они стремятся представить, а потому всегда несут на себе ее идеологический отпечаток. Все, что они могут, – это скопировать господствующую или «доминантную» идеологию; или наоборот, отождествить себя с одной из многочисленных радикальных или подрывных идеологий; но все они одинаково уходят корнями в сегодняшнюю политику. Под этим углом зрения все варианты истории становятся «осовремененными», а не просто политически ангажированными. По выражению Кита Дженкинса, история превращается в «дискурсивную практику, позволяющую людям отправляться в прошлое, думая о современности, копаться там и перестраивать его в соответствии со своими потребностями»<sup>1</sup>. Поскольку эти потребности разнообразны, а порой имеют взаимоисключающий характер, научное сообщество историков и диалог между представителями разных взглядов просто невозможны. Тридцать лет назад Э.Х.Карр обозначил предел скептицизма в исторической профессии, признав наличие диалога между прошлым и настоящим, одушевляющего любое историческое исследование. Постмодернисты сделали большой шаг в направлении релятивизма, признав – и даже превознося – множественность одновременных истолкований, одинаково обоснованных (или необоснованных). «Следует признать тот факт, – пишет Хейден Уайт, – что, когда дело доходит до исторического документа, то сам он не содержит никаких оснований для предпочтения одного способа реконструкции его смысла другому»<sup>2</sup>. Говорят, что историки не раскрывают прошлое, они его выдумывают; в результате проверенная временем разница между фактом и вымыслом сходит на нет.

## V

Как историки должны реагировать на этот натиск? Одна из задач, с которой они могут хорошо справиться – это поставить сам постмодернизм в исторический контекст, то есть признать, что он принадлежит конкретному культурному моменту. Как видно из самого названия, постмодернизм – явление реактивное. Понятием «модернизм»

---

<sup>1</sup> Keith Jenkins, *ReThinking History*, Routledge, 1991, p.68.

<sup>2</sup> Цит. по: Novick, *That Noble Dream*, p.601.

обозначаются главные убеждения, лежавшие в основе эволюции современного индустриального общества с середины XIX до середины XX вв. Наиболее важной из них была вера в прогресс и эффективность дисциплинированного рационального исследования. Отбрасывая их, постмодернисты дают понять о своем стремлении к новизне и освобождении от сдерживающих начал предыдущего поколения. Но привлекательность постмодернизма лучше всего объясняется его созвучием с отдельными определяющими тенденциями современной мысли. Уже некоторое время назад получила распространение следующая точка зрения: те черты, что традиционно олицетворяли Запад, во многом зашли в тупик: его превосходство над остальным миром сходит на нет, технический гений превратился в бремя (например, в ходе гонки вооружений), рациональный подход, которым он столь похвалялся, как выясняется, не годится для решения многих проблем человечества – от понимания психики до сохранения окружающей среды. Холокост ныне рассматривается не как отклонение от нормы, а как мрачно иронический комментарий к традиционному отождествлению прогресса с Западной цивилизацией. Преимущества научного метода, ранее считавшиеся бесспорными, теперь вызывают большие сомнения. Теория постмодернизма – лучшая иллюстрация этой тенденции. Ставя под вопрос саму возможность объективного исследования, постмодернизм подрывает авторитет науки. Отрицая наличие в истории какой-либо упорядоченности и цели, он отдаляет нас от того, с чем нам трудно смириться в прошлом, как и от того, чем мы привыкли гордиться. Если постмодернисты правы, и история действительно лишена смысла, то, следовательно, мы должны принять на себя всю ответственность за поиски смысла в нашей собственной жизни, какой бы печальной и трудной ни представлялась эта задача. История в ее традиционном понимании теряет не только практическое, но и вообще всякое значение.

Это далеко не первый случай, когда «полномочия» истории как серьезной дисциплины ставятся под вопрос. Упор постмодернистов на неопределенный характер языка и превалирующий в их настроении культурный пессимизм – чисто современные явления, но в самом отрицании исторической правды нет ничего нового. В период религиозных войн в Европе в XVI-XVII вв. философы называли историков легковверными самозванцами, а столь почитаемые ими источники отменялись как ненадежные. В XIX в. сторонники историзма, несмотря на всю жесткость их исследовательских стандартов, вскоре подверглись нападкам релятивистов, утверждавших, что полная историческая правда является химерой. Вообще, скептики появились одновременно с первыми историческими трудами. Сомнения относительно

статуса «реальности» и нашей способности ее познать, будь то в прошлом или настоящем, являются неотъемлемой частью западной философской традиции со времен античной Греции. Сами историки также принимали участие в этих спорах. Постмодернизм – далеко не столь новаторская теория, как порой утверждают его сторонники.

Да и сами отношения между постмодернизмом и историей не отличаются таким антагонизмом, как можно было бы предположить из сказанного выше. Может быть, и правы некоторые постмодернисты, утверждая, что ранкеанскому «документальному идеалу» пришел конец и историю, какой мы ее привыкли видеть, можно отправлять на свалку<sup>1</sup>. Но этот мрачный прогноз не учитывает того, что историки уже начали усваивать некоторые аспекты постмодернистской теории. Как это часто случалось в прошлом, непримиримые критики исторической науки часто воюют с ветряными мельницами. Историки всегда отличались способностью воспринимать некоторые аргументы критиков «правдивости» своей дисциплины. Они далеко не так привержены единому историческому субъекту, как предполагают некоторые критики; сейчас уже очень редко исследователи выстраивают концепции своих книг вокруг «нации» или «рабочего класса» без тщательного анализа меняющегося и противоречивого значения подобных ярлыков<sup>2</sup>. А, например, историки-эмпирики атаковали «большие нарративы» западной исторической науки – вроде вигской интерпретации английской истории или концепции промышленной революции – гораздо яростней, чем постмодернисты<sup>3</sup>.

Кроме того, историческая наука испытала прямое влияние лингвистической тенденции в развитии гуманитарных дисциплин. Признание возможности структурного воздействия языка на его «пользователей» стало особенно полезным открытием. Именно это доказал Гарет Стедман Джонс, переосмысливая историю чартизма в своей работе «Языки класса» (1983). Историки по-разному объясняли причины неспособности чартистов провести массовую кампанию за демократические права для народа после того, как требования среднего класса были удовлетворены Актом о реформе 1832 г. Стедман Джонс

---

<sup>1</sup> См., например: Alun Munslow, *Deconstructing History*, Routledge, 1997; Keith Jenkins, *On "What Is History?"*, Routledge, 1995.

<sup>2</sup> Ярким примером подобного весьма критического анализа без всякого влияния постмодернизма является: Linda Coley, *Britons: Forging the Nation, 1707-1873*, Yale University Press, 1992.

<sup>3</sup> Примеры критики вигской интерпретации истории см. в: J.C.D.Clark, *English Society 1688-1832: Ideology, Social Structure and Political Practice during the Ancien Régime*, Cambridge University Press, 1985; Conrad Russel, *The Causes of the English Civil War*, Oxford University Press, 1990. Подобные же атаки на концепцию промышленной революции см. в: R.Flound and D.McCloskey (eds.), *The Economic History of Britain since 1700*, 2 vols, Cambridge University Press, 1981.

приходит к выводу, что чартистское движение потерпело неудачу главным образом потому, что его политика строилась на дискурсе, унаследованном из прошлого, который не соответствовал быстро меняющейся политической обстановке. Это мощный (хотя и небесспорный) аргумент в пользу «анализа чартизма, отводящего определенную самостоятельную роль языку, в рамках которого он находил свое выражение»<sup>1</sup>. Историки также вполне сочувственно относятся к утверждению, что тексты содержат ряд смысловых уровней и что именно скрытый или неосознанный смысл придает тексту силу. К примеру, в Британии конца XIX в. массовый язык «нового империализма» выражался в националистических и расистских терминах, однако его упор на «мужественность» и «характер» нес в себе и немалый заряд мужской неуверенности, возникшей благодаря изменившемуся положению женщины в семье и на работе. Используя этот язык, политики одновременно выражали и усиливали возникшее у мужчин ощущение неопределенности, почти наверняка не имея в виду ничего подобного<sup>2</sup>. Определение дискурса, к которому относится данный текст, и его связи с другими, «близкими» дискурсами, является задачей, выходящей за рамки методов научной критики источников в их традиционном понимании. В результате историки стали более чутко воспринимать смысловые «подводные течения» источников, придавая известному афоризму Марка Блока о «невольных очевидцах» новую многообещающую направленность.

Аналогичным образом постмодернистская критика исторической пауки встретила определенный позитивный отклик среди историков. Выделение Уайтом литературных условностей, заложенных в историческом нарративе, сыграло особенно важную роль в осознании исторического труда как формы литературного творчества и растущем стремлении к экспериментаторству<sup>3</sup>. Еще более многообещающим направлением стала деконструкция постмодернистами дискурса как формы культурного воздействия, что уже не позволяет игнорировать тот факт, что сама историческая наука может выступать как выражение культурной гегемонии. А это, в свою очередь, открыло новые возможности для радикального переосмысления роли групп, ранее исключенных из научного контекста. Интерес Эдуарда Саида к процессу формирования языка и структуризации субъекта возник параллельно

---

<sup>1</sup> Gareth Stedman Jones, *Languages of Class: Studies in English Working Class History 1832-1982*, Cambridge University Press, 1983, p.107.

<sup>2</sup> H. John Field, *Toward a Programme of Imperial Life*, Clío Press, 1982; John Tosh, "What should historians do with masculinity: reflections on nineteenth-century Britain", *History Workshop Journal*, 38, 1994, pp.179-202.

<sup>3</sup> Обзор этих тенденций см. в: Peter Burke (ed.), *New Perspectives in Historical Writing*, Polity, 1991.

с его исследованиями места арабов и палестинцев в западном дискурсе; его первопроходческая работа «Востоковедение» (1976) стала поворотным моментом в формировании постколониальной или «мультикультурной» истории. Феминистки, стремящиеся преодолеть рамки «языка, созданного мужчинами», признают, что многим обязаны лингвистической тенденции<sup>1</sup>. Эти примеры в какой-то степени подтверждают утверждение постмодернистов, что их теория открывает перспективы демократизации науки. Если к этому добавить преобладающее влияние «языковой» теории на развитие истории культуры в последние годы (об этом речь пойдет в гл. 10), то взаимодействие между постмодернизмом и традиционными историческими теориями можно признать весьма плодотворным.

## VI

Однако большинство историков могут воспринять постмодернизм лишь до определенной степени. Многие приветствуют совершенствование методов текстуального анализа или рост внимания к культурной роли исторической науки. Но мало кто согласится с отрицанием исторической правды в ее общепринятом понимании. Испытав всю силу деконструктивистской критики, историки лишь укрепляются в своем предпочтении опыта и наблюдений абстрактным принципам. В теории можно выстроить безупречную аргументацию в пользу предположения, что человеческий язык самодостаточен, а не репрезентативен. Но обыденная жизнь показывает, что язык прекрасно работает в тех ситуациях, когда требуется точная передача и правильное понимание смысла. Если исходить из любых других предпосылок, то взаимодействие между людьми было бы просто невозможно. Но если язык, несомненно, выполняет эти практические функции в настоящем, то почему он не может восприниматься в том же духе, когда он зафиксирован в документах, дошедших до нас из прошлого? Конечно, всякий язык содержит элемент неопределенности; по прошествии времени она усиливается, и текст 300-400-летней давности, связанный с двумя-тремя дискурсами, поддается анализу с большим трудом. Историки зачастую признают свою неспособность выделить все смысловые уровни, заложенные в документе. Но утверждение, что *ни в одном* тексте из прошлого нельзя найти точного отражения событий или явлений, лежащих вне самого текста, опровергается опытом и здравым смыслом. В цифровых показателях торговли или данных

---

<sup>1</sup> См., например: Joan Scott, *Gender and the Politics of History*, Columbia University Press, 1988.



переписи связь между текстом и реальностью очевидна (что, впрочем, не всегда означает достоверное отражение реальности). Тщательно продуманное литературное произведение вроде мемуаров или политического трактата, облаченного в форму проповеди, представляет собой более сложную проблему, но и в этом случае необходимо признать, что автор стремился к реальному взаимодействию с читателем, и постараться максимально раскрыть характер этого взаимодействия.

Здесь в дело вступают законы исторического контекста. Смыслы, связывающие слова и предметы, отнюдь не являются произвольными или бесконечно многозначными: они соответствуют установлениям, порожденным реальной культурой и реальными общественными отношениями. Задача исследования – выявить эти установления в их исторической специфике и полностью учитывать их в ходе интерпретации источников. И если сторонники лингвистического подхода рассматривают контекст как понятие, обозначающее лишь *другие тексты*, и проблема усложняется, поскольку они также предполагают множество прочтений, то историки настаивают на том, чтобы тексты помещались в общий контекст своего времени. Это означает серьезное внимание не только к возможностям языка, но и к личности и происхождению автора, обстоятельствам создания текстом, предполагаемой читательской аудитории, культурным взглядам того времени и читальным отношениям, в рамках которых существовали автор и читатели. Каждый текст социально локализован в конкретной исторической обстановке, как удачно заметила Габриэла Шпигель, существует «социальная логика текста», которую можно раскрыть в ходе исторического исследования<sup>1</sup>. Так, например, мое прочтение языка империализма конца XIX в. может быть воспринято всерьез, поскольку напряжение в отношениях между полами в тот период хорошо отражено в документах и поскольку культурная идентификация империи с мужественностью была в определенной степени связана с реалиями существования империи. Несомненно, деконструкция могла бы выявить другие истолкования, более изящные и интригующие; но без прочной привязки к историческому контексту они означают лишь насилие критика над текстом. Уважение к «историчности» источника – фундаментальный принцип научной работы; там, где оно нарушается, пути историка и деконструктивистов расходятся. Историки не претендуют на то, что их методика во всех случаях способна раскрыть все смысловые нюансы текста; для выполнения научной задачи исследователю достаточно продемонстрировать, что *часть* первоначального смысла может быть воссоздана, и мы можем преодолеть рамки

---

<sup>1</sup> Gabrielle M. Spiegel, “History, historicism, and the social logic of the text”, *Speculum*, LXV (1990), pp.59-86.

дискурса и взглянуть на материальный мир и социальную обстановку, в которых создавался текст. Проверка фактов и строгое следование историческому контексту означают, что исследователь может провести различие между подлинными событиями и дискурсом, в рамках которого они представлены.

Историки равным образом не согласны отказаться от претензий их собственных произведений на правдивость. Одно дело – признавать наличие риторических аспектов исторического труда, и совсем другое – рассматривать его как чисто риторическую или в основном риторическую конструкцию. Исторические нарративы, несомненно, формируются эстетическими ощущениями авторов, но они не являются продуктом воображения: некоторые из них, подобно крупным революционным потрясениям, частично порождаются сознанием непосредственных участников событий, другие обретают форму благодаря ретроспективному научному мышлению. Наши рассказы о прошлом, возможно, не совсем связны и не совсем убедительны, но их корни кроются в том факте, что люди не просто верят им, но и *воплощают* их, исходя из предпосылки, что социальное действие – это непрерывная линия, проходящая через прошлое, настоящее и будущее. Задачу исторического объяснения тоже нельзя просто отбросить. Она представляет собой не бегство из реального мира, как утверждают наиболее мрачные варианты постмодернизма, но необходимый рациональный подход, основанный на причинно-следственных моделях, раздвигающий ограниченные рамки интертекстуальности. Что же касается демократичного потенциала конкурирующих нарративов, то от них немного пользы, если каждая обладающая идентичностью группа создаст свою историю, «подлинную» лишь с точки зрения ее членов. Настоящая демократичность заключается в создании исторических трудов, убедительных и вне пределов «своего круга», а значит, соответствующих научным методам, разделяемым историками независимо от их ориентации. Именно к этой цели, а не утешительному призыву релятивистской вседозволенности, стремилось большинство авторов «мультикультурных» исследований. Несмотря на пессимизм некоторых консервативных наблюдателей<sup>1</sup>, плюрализм вовсе не обязательно тождествен релятивизму.

Суть постмодернистской критики состоит в том, что историзм мертв и его нельзя больше считать серьезным интеллектуальным явлением. Отражая эти атаки, историки указывают не только на сильное преувеличение слабостей исторического исследования, но и на

---

<sup>1</sup> Gertrude Himmelfarb, *On Looking Into the Abyss*, Knopf, 1994.

культурную значимость историзма в широком плане – как определенной позиции по отношению к прошлому. Он является необходимой предпосылкой для социально-критической мысли, адресованной настоящему и будущему. Как заметили Джойс Эпплби, Линн Хант и Маргарет Джекоб, «отрицание всех метанарративов бессмысленно, поскольку нарративы и метанарративы – это тот тип рассказов, без которого в нашем мире невозможно никакое действие»<sup>1</sup>. Осознание прошлого как «другого», набор нарративов, связывающих прошлое с настоящим, и объяснительная функция исторической науки – все это практически необходимые вещи. Если мы полностью откажемся от стремления познать прошлое, мы никогда не поймем, как возникло настоящее. Социальную функцию истории нельзя отбросить с такой легкостью.

## VII

Подвергая сомнению достоверность исторического знания, постмодернизм вдохнул новую жизнь в традицию скептицизма, уходящую корнями еще в эпоху Возрождения. Погрешности (или «неопределенность») источников, разрыв между подтвержденными фактами и придающими им смысл объяснениями, а также личностный и политический элементы, которые историки вносят в свою работу, уже давно являются заложниками фортуны. Позитивизм осуждал их как неприемлемые отступления от строго научного подхода; у постмодернистов они подпадают под общее отрицание рационального научного исследования. Если рассматривать его с позиций позитивизма или постмодернизма, эпистемологический статус истории выглядит не слишком впечатляюще. Это происходит прежде всего потому, что абстрактные теории лучше всего проверяются в тщательно контролируемых условиях, а история – это гибридная дисциплина, которую невозможно просто «разложить по полочкам». Именно различие, а то и противоречивость преследуемых историками целей придают дисциплине ее уникальный характер, но благодаря им же она приобретает уязвимость для теоретических нападок.

Хотя некоторые историки все еще ищут прибежища в неограниченном эмпиризме<sup>2</sup>, более разумные защитники дисциплины

---

<sup>1</sup> Joyce Appleby, Lynn Hunt and Margaret Jacob, *Telling the Truth About History*, Norton, 1994, p.236.

<sup>2</sup> Elton, *Return to Essentials*; Arthur Marwick, “Two approaches to historical study: the metaphysical (including “Postmodernism”) and the historical”, *Journal of Contemporary History*, XXX, 1995, pp.5-35.

согласны, что ей можно предъявить серьезные теоретические претензии. Такие аналитики, как Эплби, Хант и Джекоб или Ричард Дж. Эванс, понимают, что историческое знание всегда включает в себя состязание прошлого и настоящего, где настоящее порой слишком давит на прошлое. Они знают, что источники ничего не «говорят» напрямую, что факты отбираются, а не просто выставляются для обозрения, что научное объяснение связано с ретроспективным мышлением и что каждая историческая работа в каком-то смысле формируется эстетическими и политическими предпочтениями автора. В основе выстраиваемой ими защиты лежит тезис, что если *в теории* все эти черты компрометируют работу историков, то *на практике* они могут быть сведены – и сводятся – к разумным пропорциям. История – не образец реализма, но и не жертва релятивизма. Она занимает промежуточное положение, при котором научные методы совершенствуются с целью, как можно больше приблизить уровень исследования к «реальности» и максимально удалить его от «относительности»<sup>1</sup>. Одной из главных функций профессии историка является внедрение научных стандартов исследования и ограничение интерпретационного своеволия. Оценка работы со стороны коллег служит мощным инструментом, гарантирующим, что в избранной ими сфере исследований историки будут, насколько возможно, точно придерживаться имеющихся свидетельств о прошлом.

В этом плане можно выделить три главных требования. Во-первых, историк должен проанализировать собственные взгляды и убеждения, чтобы понять, как они соотносятся с проводимым исследованием. Одной из сильных черт Э.П.Томпсона является то, что он не скрывает своих симпатий, даже указывает, что одна из глав в «Формировании английского рабочего класса» носит полемический характер<sup>2</sup>. Такое понимание особенно важно, если историк не имеет четких пристрастий, но может неосознанно сыграть роль рупора ценностей, безоговорочно признаваемых людьми его круга. Это одна из причин, почему, как указывал Зелдин, желательным качеством для историка является самопознание (см. выше, с. 149) и почему следует поощрять исповедальный стиль в исторических трудах, особенно в авторском предисловии. Во-вторых, риск спутать ожидаемые и реальные открытия уменьшается, если направленность исследования выражена в виде ясной гипотезы, подтверждаемой, отвергаемой

---

<sup>1</sup> Appleby, Hunt and Jacob, *Telling the Truth About History*; Richard J. Evans, *In Defence of History*, Granta, 1997.

<sup>2</sup> E.P.Thompson, *The Making of the English Working Class*, revised edn., Penguin, 1968, p.916.

или модифицируемой в свете фактов – и автор должен первым искать прорехи в своей концепции. Целесообразное поведение для историка заключается не в «бегстве» от социальной обусловленности своей работы, а в полном осознании того, почему его привлекает именно этот отрезок истории в равном уважении к данным, соответствующим его концепции и противоречащим ей. Сторонние критики часто забывают о том, как интересно бывает в ходе исследования получать *неожиданные* результаты и «разворачивать» свою гипотезу в новом направлении. Наконец, третьих – и это самое важное, – исследователь должен помещать свою работу в строго исторический контекст. Недостаток «презентизма» и деконструирования состоит в том, что в этих случаях события и личности вырываются из реалий своей эпохи и загоняются в рамки концептуальной структуры, которая для этого периода была бы лишена всякого смысла. Вообще, сейчас историки имеют куда больше возможности избежать этой ловушки, чем раньше. Расширение спектра исторических исследований за последние пятьдесят лет и то, что оно нашло достаточно полное отражение в лучших образцах научного синтеза, означает, что сегодняшним историкам присуще гораздо более развитое чувство контекста, чем их предшественникам. Кстати, именно в этом плане эффективнее всего действует вышеупомянутый тезис об оценке со стороны коллег-специалистов.

Соблюдение этих трех предписаний позволяет во многом ограничить уровень искажений в исторических работах. Однако оно не способно положить конец спорам и разногласиям. Было бы неверным полагать, что стоит историкам выработать высокий уровень самопознания, придать четкость своим рабочим гипотезам и скрупулезно соблюдать требования исторического контекста, и их научные суждения совпадут. Никому не дано полностью абстрагироваться от собственных убеждений или посторонних влияний; факты обычно можно истолковать в поддержку прямо противоположных друг другу гипотез; а поскольку источники никогда не передают прошлое во всей полноте, то чувство исторического контекста связано и с даром воображения, который зависит от пронизательности и опыта каждого конкретного историка. Природа исторического исследования такова, что и при самом жестко профессиональном подходе остается плюрализм истолкований. Однако это надо рассматривать как его силу, а не слабость. Ведь прогресс исторического знания в равной мере зависит и от усилий отдельных исследователей, и от столкновения конкурирующих интерпретаций в ходе научных дебатов. Эти же дебаты, что так оживляют историческую науку, самым тесным образом связаны с противоположными взглядами на настоящее и будущее нашего общества. Не

будь в истории конкуренции, она смогла бы дать материалы для критических споров о социальных проблемах сегодняшнего дня. Плюрализм исторических интерпретаций является необходимой, хотя и недооцениваемой, предпосылкой зрелого демократического политического процесса. Прошлое всегда будет предметом разногласий, но это и к лучшему.

## Глава 8

### История и социальная теория

В предыдущей главе я предположил, что создание гипотез, подлежащих проверке на соответствие имеющимся фактам, представляет собой один из способов «самосохранения» историка от бессознательного подчинения своих интерпретаций прошлого собственным субъективным взглядам. Подобная гипотеза – не более чем промежуточное объяснение, формулируемое историком на основе знакомства с наиболее важной литературой, относящееся только к изучаемой проблеме. Но если присмотреться, у гипотезы обнаружится и более высокое «происхождение». Гипотеза – не только результат предварительного анализа конкретного исторического эпизода; в ней, как правило, находят отражение и некоторые общие представления о природе общества и культуры. Другими словами, историческая гипотеза является конкретным применением *теории*. Во многих дисциплинах теория представляет собой выделенные на основе накопления изученных данных общие положения (иногда законы). Историки же практически не используют этот термин в таком значении. Для них теория обычно означает интерпретационную схему, придающую исследованию импульс и влияющую на его результат. Историки резко расходятся во взглядах на необходимость этой процедуры. Некоторые четко придерживаются определенной теоретической ориентации; другие признают значение теории как стимула, отправной точки, но выступают против подгонки под нее исторических фактов; третьи же рассматривают теорию как злостное посягательство на автономию истории как научной дисциплины.

В современной научной практике большим влиянием обладают две четко различаемые группы теорий. Одна из них включает теории, появившиеся сравнительно недавно, они относятся к проблемам смысла и отображения. Традиционно для понимания смысла, который вкладывали люди прошлого в пережитый ими опыт, историки применяли методы научной критики источников. Однако чем дальше по времени отстоит от нас этот опыт и чем чужероднее кажется, тем менее адекватной становится эта методика. По мере расширения сферы истории культуры историки все больше начинают использовать возможности, предоставляемые другими дисциплинами – психоанализом, теорией литературы и особенно культурной антропологией. В гл. 10 мы более полно проанализируем проблемы интерпретации культурного смысла и тот вклад, который, как признают теперь многие историки, культурная антропология внесла в их работу. Вторая группа теорий связана с природой общества – его структурой, устойчивостью и, наконец, перерастанием в другую структуру. Эти теории базируются на чрезвычайно богатой интеллектуальной традиции, начало которой было положено в эпоху Просвещения и даже раньше. На практике ни один историк, стремящийся понять характер крупных изменений, происходивших в мире (и не только в новой и новейшей истории), не может позволить себе игнорировать социальную теорию. В этом главная причина, почему марксизм пользовался таким влиянием, и почему историки продолжают обращаться к нему даже сейчас, когда политическое будущее коммунизма отнюдь не выглядит многообещающим. В данной главе я намерен сначала дать обзор общей дискуссии о достоинствах и недостатках социальной теории, затем более детально осветить проблему марксизма и истории, а также результаты применения марксистской теории в исследованиях, и закончить анализом растущего вклада гендерной теории в процесс исторической интерпретации.

## I

В общем, социальные теории возникают в связи с тремя аспектами исторического объяснения. Во-первых, это трудности, связанные с постижением взаимосвязи всех измерений человеческого опыта в конкретный период. На практике для большинства историков вплоть до конца XIX в. это не представляло особой проблемы, поскольку их интерес в основном ограничивался политической или конституционной историей, а значит, весь необходимый им концептуальный аппарат сводился к некоему понятию государства. Однако в XX в. расширение сферы исторических исследований и объема источников в



сочетании с необходимостью тематической специализации требовали все больше и больше мыслить абстрактными категориями. В гл. 5 мы видели, как легко историк попадает в ловушку, раздробляя прошлое на «политическую», «экономическую», «интеллектуальную» и «социальную» историю и как для корректировки этого взгляда возникла идея «тотальной истории» (см. с. 125). Но тотальную историю не создать без концепции того, каким образом составные компоненты человеческого опыта связаны друг с другом, формируя единое целое, – некоей теории структуры человеческого общества в самом широком смысле, большинство концепций такого рода связаны с аналогиями с физическим миром. Общество уподоблялось либо организму, либо механизму, либо структуре. Все эти метафоры представляют собой попытку преодолеть примитивное представление о том, что какая-нибудь одна область определяет все остальные, и выразить взаимные и подкрепляющие друг друга отношения между основными категориями человеческой мысли и деятельности.

Во-вторых, теория необходима – при анализе исторических перемен. Историки уделяют основное время объяснению перемен или их отсутствия. В связи с этим превалирующим интересом неизбежно возникает вопрос, имеют ли крупные изменения в истории некие общие характеристики. Существует ли «мотор», с помощью которого может быть приведен в движение процесс перемен, и если да, то из каких деталей этот мотор состоит? Или, применительно к более частным вопросам, требует ли процесс индустриализации следования только одним-единственным путем экономического развития? Можно ли выделить в истории общие основные черты революционной ситуации? При выдвижении гипотез по конкретным проблемам историкам часто бывает трудно избежать соблазна и не попасть под влияние теорий – например, идеи, что демография – ключ ко всему<sup>1</sup> или что наиболее долговечные изменения в обществе происходят в результате постепенных реформ, проводимых патерналистским правящим классом, а не революционных требований, высказываемых снизу<sup>2</sup>.

И, наконец, в-третьих, самые амбициозные теории стремятся объяснить не просто, *каким образом* происходят изменения в истории, но и определить направленность этих изменений; цель этих теорий – дать представление о судьбах человечества, наделив историю смыслом. Средневековые ученые представляли себе историю как линейный

---

<sup>1</sup> См.: Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Mind and the Method of the Historian*, Harvester, 1981, Ch.1.

<sup>2</sup> Одна из таких теорий, несомненно, лежит в основе большинства работ Дж.Р.Элтона, а также научной школы «высокой политики», рассмотренной нами выше (с.77-78).

путь от Сотворения мира к Судному дню, определяемый божьим промыслом. К XVIII в. эта точка зрения приобрела светский характер, обернувшись идеей прогресса: история стала означать процесс материального и интеллектуального совершенствования, результатом которого в будущем станет торжество разума и счастье всего человечества. Модифицированные варианты этого взгляда сохраняли мощное влияние в XIX в.: на континенте история была не чем иным, как формированием национальной идентичности и ее политического воплощения в виде национального государства; для английских историков-вигов это означало развитие конституционных свобод. Сегодня приверженцы идее прогресса в чистом виде встречаются редко<sup>1</sup>, слишком разрушительный след оставила история нашего столетия; но теории прогрессивных изменений все еще пронизывают многие научные интерпретации в области экономической и социальной истории, неслучайно историки столь часто употребляют такие слова, как «индустриализация» и «модернизация».

Хотя анализ этих трех типов исторических теорий позволяет четко выделить различия между ними, всех их роднит одна общая черта – переход от частного к общему в попытках понять предмет в целом. Возможно, к этому тяготеют все отрасли знания. Однако огромное количество историков полностью отвергают теорию как таковую. Одни признают возможность существования моделей и закономерностей в истории, но отрицают их доступность систематическому исследованию. Не так уж просто найти убедительное объяснение одного отдельного события в истории, а попытка связать их в цепь или в систему всеобъемлющих категорий означает, что исследователь удаляется слишком далеко от достоверных фактов. Как признает Питер Матиас (выступающий здесь в роли «адвоката дьявола»):

«В сокровищнице прошлого более чем достаточно отдельных примеров для поддержки любого общего предположения. Проще всего стукнуть историю по голове тупым орудием гипотезы и оставить на ней отпечаток»<sup>2</sup>.

С этой точки зрения теоретическая история – это история в виде абстрактных рассуждений; ее следует оставить философам и предсказателям<sup>3</sup>.

Возможность того, что теория «вытеснит» факты, несомненно, следует воспринимать всерьез. Пробелы в сохранившихся свидетельствах,

---

<sup>1</sup> Важным исключением из правила является: E.H.Carr, *What is History?*, Penguin, 1964.

<sup>2</sup> Peter Mathias, “Living with the neighbours: the role of economic history”, 1970, перепечатана в: N.V.Harte (ed.), *The Study of Economic History*, 1971, p.380.

<sup>3</sup> Примером этой точки зрения может служить: Jacques Barzun, *Clio and the Doctors*, Chicago University Press, 1974.

и особенно отсутствие убедительных данных в вопросах причинности позволяют весьма вольно выдвигать абстрактные предположения и выдавать желаемое за действительное. В то же время объем данных по многим научным проблемам столь велик, что отбор становится неизбежным – и принципы этого отбора могут исказить результаты исследования. Источников по истории последних столетий так много, и они такие разные, что от характера «допроса», который может им учинить историк, во многом зависят ответы. Применительно к американской истории Эйлин Крадитор поясняет эту мысль следующим образом:

«Если один историк спросит, «содержатся ли в источниках сведения об активной борьбе рабочего класса и рабов за свои права, источники дадут ответ: «Конечно». А если другой спросит, подтверждают ли источники согласие широких кругов американского населения с существующим порядком на протяжении двух последних столетий, источники тоже ответят: «Несомненно»<sup>1</sup>.

В доказательство почти любой теории можно представить впечатляющий набор отдельных примеров, вписывающихся в желаемую схему.

Ориентированная на теорию историческая наука, несомненно, подвержена этим опасностям, как, впрочем, и работа многих историков, отвергающих теорию и остающихся в блаженном «неведении» о представлениях и ценностях, влияющих на их собственный отбор и интерпретацию фактов. Совершенствоваться в этом отношении – означает не прикрываться неубедительными критическими доводами, а значительно повышать уровень проверки теорий. Историки, пытающиеся просто «следовать за источниками», скорее поддадутся искушению принять желаемое за действительное, чем те, кто начинает исследование с формулирования четкой гипотезы. Если отбор данных необходим, то он должен быть репрезентативным. Если определенной теории соответствует *часть* данных, относящихся к изучаемой проблеме, то этого мало; она должна коррелироваться со всем объемом имеющихся фактов. Говоря словами Крадитор, «исключенные факты не должны иметь существенного характера для понимания отобранных фактов»<sup>2</sup>. Все это подразумевает, что историк должен в определенной степени уметь дистанцироваться от собственной теории и быть готовым изменить курс, если не может ее подтвердить. Когда историк «плывет по течению» и пренебрегает предупреждениями об опасностях, историческая наука всегда готова занять позицию самообороны. Ни с чем не сравнимо удовольствие привести факты или

---

<sup>1</sup> Aileen S. Kraditor, “American radical historians on their heritage”, *Past and Present*, LVI, 1972, p.137.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p.137.

альтернативные интерпретации, подвергающие сомнению работу коллеги-историка, особенно того, кто явно на чем-то «зациклился». Более того, научный синтез в основном состоит в сравнении достоинств различных теорий, чтобы определить, может ли какая-нибудь из них пролить свет на обсуждаемую проблему. Спекулятивные тенденции в исторической теории пресекаются довольно быстро.

## II

Более серьезным атакам теория в исторической науке подвергается на том основании, что она отрицает саму суть этой научной дисциплины. Культура человечества, утверждают сторонники этой точки зрения, столь богата и разнообразна, что мы способны понять человека лишь в конкретном контексте времени и места: «Он остается неделимым субъектом, единственным не-объектом в мире»<sup>1</sup>. А значит, тезис о моделях поведения людей – заблуждение. Задачей историка является реконструкция событий и ситуаций в их уникальной неповторимости, и в присущих им понятиях; их интерпретация подходит лишь для конкретного набора условий. Сравнение исторических ситуаций, разнесенных по времени и месту, не даст никакого преимущества – наоборот, многое будет утрачено, ведь в результате затушевывается смысл каждой из них. Как выразился Дэвид Томсон, «исторический подход по определению несовместим с систематизацией»<sup>2</sup>. У этой точки зрения блестящая родословная. Она выражает суть концепции историзма в том виде, как он существовал в XIX в. Требование Ранке изучать прошлое, «чтобы показать, как все происходило на самом деле», было прежде всего направлено против широкомасштабных эволюционных схем историков Просвещения и последователей Гегеля. Его нарративный стиль плохо сочетался с отвлеченным анализом и обобщениями, но хорошо подходил для передачи специфики конкретного события. Классическое понимание историзма противоречит как всеобъемлющим теориям о социальной структуре общества, так и теориям социальных перемен, а стремление рассматривать каждую эпоху как отдельное целое трудно совместить с любым взглядом на историю как на поступательное движение к желаемой цели.

Эти причины для отрицания роли теории в исторической науке тесно связаны с другим аргументом, который часто рассматривается как весьма серьезный: что теория отрицает не только «уникальность» конкретных событий, но и достоинство личности и значение

---

<sup>1</sup> Paul K. Conkin, “Intellectual history”, in: Charles E. Delzell (ed.), *The Future of History*, Vanderbilt University Press, 1977, pp.129-130.

<sup>2</sup> David Thompson, *The Aims of History*, Thames & Hudson, 1969, p.105.

человеческого фактора. С этой точки зрения самыми худшими являются теории третьего типа, коварно проповедующие predeterminedность метрического процесса и неспособность личностей что-либо изменить ни к настоящему, ни в будущем; соответственно все исторические теории содержат детерминистский элемент, а детерминизм – это отрицание свободы личности<sup>1</sup>. Прямой противоположностью детерминизма является отказ от всякого смысла в истории помимо действия случайных и непредвиденных факторов – точка зрения, разделяемая многими представителями традиционного направления исторической науки. А.Дж.П.Тэйлор с удовольствием сообщал читателям, что единственный урок, который можно извлечь, исследуя прошлое – это бессвязный и непредсказуемый характер человеческой деятельности: история представляет собой цепь случайностей и ошибок<sup>2</sup>.

Наконец, традиционалистов возмущает одно из главных практических последствий теоретизирования в исторической науке – история попадает в зависимость от общественных наук. Историки-теоретики, утверждают они, не создают собственных моделей, а заимствуют теоретические достижения у социологии, социальной антропологии и политэкономии – дисциплин, изучающих не прошлое, а настоящее, где история – лишь испытательный полигон для их собственных теорий. Историки-теоретики просто «подыгрывают» им, подрывая самостоятельность собственной дисциплины. Историки не должны терять бдительность перед лицом попыток поставить под вопрос уникальность их профессии, исходящих как извне, так и изнутри. Элтон заходит еще дальше: история в неискаженном виде – лучшее противоядие против обществоведов, любителей строить разные схемы и предлагать готовые решения сложных проблем<sup>3</sup>.

Мнение Элтона частично объясняет, почему профессиональные историки так решительно настроены против теории – дело в их консерватизме. Среди историков слишком велика доля консерваторов, стремящихся мобилизовать прошлое для защиты институтов, которым угрожают радикальные реформы, или просто ищущих в нем духовную нишу, чтобы спрятаться от обескураживающего влияния стремительных общественных перемен окружающего мира. Подлинный консерватор, лишенный представления о прогрессе, не верит в теории, придающие историческому развитию смысл: он считает их риторикой левых утопистов, его пугает само понятие всеобъемлющей

---

<sup>1</sup> Isaiah Berlin, “Historical inevitability”, 1954, переиздана в: Patrick Gardiner (ed.), *The Philosophy of History*, Oxford University Press, 1974.

<sup>2</sup> Замечаниями такого рода пестрят работы Тэйлора: *Bismark*, Hamish Hamilton, 1955, и *The Origins of Second World War*, Penguin, 1964.

<sup>3</sup> G.R.Elton, *The Practice of History*, Fontana, 1969, pp.55-56.

модели социальных перемен, которую в будущем можно использовать для проталкивания нежелательных проектов из области социальной инженерии. Но и сами исследовательские методы историков не способствуют развитию теории. По выражению М.М.Постана:

«Критический подход к деталям в итоге превратился в мощное орудие отбора. В результате история привлекает людей скрупулезных и осторожных, но далеко не всегда обладающих способностью к теоретическому синтезу»<sup>1</sup>.

На деле неприятие теории во многом связано с предрассудками. Негативные тенденции, выявленные традиционалистами, несомненно, имеют место и, стоит предоставить им свободу рук, могут привести к тем вредным последствиям, которые так беспокоят консерваторов; но, как покажет мой анализ лучших образцов теоретических исследований, эти тенденции вполне можно пресечь, и тогда результатом будет обогащение, а не обеднение нашего понимания истории.

Рассмотрим, прежде всего, утверждение, что теория не признает уникальности исторических событий. На самом деле историки никогда не считали события прошлого абсолютно уникальными – это просто невозможно. Сами термины, которыми пользуются историки, уже предполагают определенную классификацию материала и предусматривают сравнения, выходящие за пределы непосредственной области их исследований. Единственной причиной, почему ученый использует выражение «феодалное землевладение» для характеристики отношений между дворянином и крестьянином или слово «революция» применительно к крупному политическому перевороту, является тот факт, что и он, и его читатели вкладывают в эти слова один и тот же смысл, ведь мир был бы попросту непознаваем, если бы мы постоянно не раскладывали конкретные случаи по полочкам общих категорий. Этот тезис четко сформулировал Э.Э.Эванс-Притчард, крупнейшая фигура прошлого поколения британских социальных антропологов, сторонник дружественных отношений между историей и общественными науками:

«События утрачивают большую часть, а то и весь свой смысл, если не замечать определенную степень их регулярности и повторяемости, принадлежность их к определенному типу событий, в рамках которого все отдельные случаи имеют много общих черт. Борьбу короля Иоанна с баронами можно понять, только если мы знаем каковы были отношения между баронами и Генрихом I, Стефаном, Генрихом II, Ричардом; если мы также знаем, каковы были отношения между королями и баронами в других странах с феодальным строем; иными словами, если эта борьба рассматривается как феномен, типичный для общества определенного типа»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> М.М.Postan, *Fact and Relevance*, Cambridge University Press, 1971, p.16.

<sup>2</sup> E.E.Evans-Pritchard, "Anthropology and history", 1961, цит. по: E.E.Evans-Pritchard, *Essays in Social*

Но применение обобщающих концепций не только обращает внимание на аспект повторяемости в нашем материале, оно также позволяет выделить те аспекты, которые не вписываются в общие категории и которые придают событию или явлению уникальные черты. Историки-теоретики убеждены: раз эти сравнения присутствуют в любом научном анализе, заслуживающем называться таковым, значит, ясность анализа только выиграет, если придать им четкую форму – скажем, путем построения модели феодального общества или революционного сдвига.

Точно так же тезис о том, что история – это сцена, где действуют только личности, при ближайшем рассмотрении представляется опасным заблуждением. Сплошь и рядом историкам приходится группировать людей либо на основе национальности, религии, рода занятий, либо классовой принадлежности. Дело в том, что именно такая «общая идентичность» определяет их характеристику как «общественных существ». А объединяет членов такой группы общая тенденция мыслить и действовать определенным образом до такой степени, что их реакцию можно предугадать. Нельзя найти двух совершенно одинаковых людей, но их поведение в конкретной роли (скажем, в роли потребителей продуктов питания или приверженцев определенного учения), вполне возможно, следует общему образцу. А следовательно, значение, придаваемое историками групповым действиям, – это не отрицание человеческой индивидуальности, но лишь признание того, что деятельность, которую конкретная личность осуществляет совместно с другими, чаще всего куда важнее для истории, чем любая другая ее деятельность. Более того, совокупный эффект действий определенной группы для достижения своих целей состоит в *институционализации* подобного поведения – то есть его закреплении таким образом, что возможности, открывающиеся перед личностью в дальнейшем, приобретают принудительный или (используя подходящий социологический термин) *структурированный* характер. Это не означает, что действия людей предопределены: определенная модель поведения может быть четко обозначена, но решимость нового поколения преодолеть старые формы позволяет отвергнуть или модифицировать ее. Лучшее всех напряжение между человеческим фактором и социальными структурами выразил Филип Абрамс, удачно сочетавший занятия историей и социологией:

«Двусторонний характер общества, тот факт, что общественная деятельность – это одновременно наш выбор и обязанность, неразрывно связаны с другим фактом: единственная реальность, присущая обществу, – это историческая реальность, реальность во времени. Когда мы говорим о двустороннем характере общества, мы имеем в виду, каким образом с течением времени действия превращаются в институты, а институты, в свою

очередь, изменяются благодаря действиям. Захват и продажа пленных превращается в институт рабства. Оказание услуг воину в обмен на его защиту превращается в феодализм. Организация управления возросшими трудовыми ресурсами на основе стандартизованных правил превращается в бюрократию. А рабство, феодализм и бюрократия превращаются в фиксированные внешние рамки, внутри которых затем происходит борьба за процветание, выживание или свободу. Заменяя барщину денежным оброком, дворянин и крестьянин совместно осуществляют демонтаж феодального строя, созданного их прапрадедами»<sup>1</sup>.

Лучшие теории – а вскоре я попытаюсь доказать, что одной из них является марксизм – как раз и обязаны своей привлекательностью тому факту, что они учитывают и стремятся прояснить взаимосвязь между действиями и структурами. Теория не принижает личность; она скорее пытается объяснить природу ограничений, сковывающих свободу действий человека и расстраивающих его планы, и в процессе этого открывает закономерности в истории. И наоборот, историк, сосредоточенный исключительно на мыслях и действиях индивидов (как это слишком часто случается со специалистами по дипломатической истории), скорее всего не создаст целостной картины событий, а увидит лишь хаотичную цепь случайностей и ошибок.

Что же касается угрозы поглощения истории общественными науками, существуют серьезные причины, по которым историкам следует – по крайней мере, на первых порах – использовать заимствованные теории. Общественные науки по определению связаны с массовыми, а не индивидуальными действиями людей; а поскольку их масштаб охватывает общество в целом, без теории обществоведы не в состоянии даже приступить к исследованию своего предмета. Экономисты с конца XVIII в., со времен Адама Смита, а социологи – с середины XIX в., со времен Огюста Конта, рассматривают наличие четко сформулированной теории как предпосылку для интерпретации полученных данных, и в результате в обеих дисциплинах был создан массив высокоразвитого теоретического знания, а впоследствии то же самое произошло и в сфере социальной антропологии. Использование этих теорий историками – лишь признание того, что общественные науки в этом плане имеют фору. На самом деле историческая наука всегда испытывала влияние теоретиков «извне», достаточно назвать хотя бы Смита и Конта. Но лишь в последние сорок лет историки начали в полной мере осознавать все разнообразие и универсальность обществоведческих теорий.

В связи с этим существуют две реальные проблемы. Первая состоит в том, что многие обществоведческие теории, особенно в области

---

<sup>1</sup> Philip Abrams, *Historical Sociology*, Open Books, 1982, pp.2-3.



экономики, относятся к крайне ограниченным сферам деятельности, объясняя их порой в несколько искусственно отстраненной форме, и результатом применения таких теорий в исторических исследованиях может стать усиление «взгляда из туннеля», которым и без того страдают историки, специализирующиеся в узкой проблематике (см. с. 124-125). Другая проблема связана с приписываемым общественным наукам равнодушием к истории. Это обвинение не лишено оснований. Многие теории, например, теория экономики свободного рынка, основаны на посылке о равновесии, что поражает историков как абсолютно антиисторичный подход к исследованию общества – отрицание траекторий перемен и адаптации, которые присутствуют повсеместно. Другие теории (вроде теории модернизации, превалирующей в американской социологии), претендующие в том числе на охват исторических аспектов, основаны на наивной антитезе между «традиционным» и «современным», противоречащей представлению об истории как о процессе. Конечно, заимствования историков у общественных наук во многом отличаются поверхностным и некритическим подходом, при этом они поторопились признать теорию полностью объективной, свободной от ценностных ориентации, в то время как она является предметом острых идеологических разногласий среди самих обществоведов<sup>1</sup>. Но ни одно из этих возражений не может служить причиной отказа от теории; она просто предполагает, что историкам следует более разборчиво относиться к тому багажу, что они заимствуют. На самом деле теории, оказавшие в последнее время наибольшее влияние на историков, относятся к той категории, которая направлена на то, чтобы охватить социальную структуру общества и социальные перемены в целом, а наиболее влиятельные из этих теорий ведут свое происхождение от наследия великих социальных мыслителей прошлого века, обладавших ярко выраженным «чувством истории» – Макса Вебера и особенно Карла Маркса. Однако настоящим ответом на опасения традиционалистов перед поглощением истории общественными науками является тот факт, что эти теории – не божественные скрижали, навеки занесенные в анналы истории. Их скорее следует рассматривать как отправную точку. Результатом работы историков станет их модификация, возможно, весьма существенная, и построение на их месте теорий, представляющих собой подлинное скрещивание истории и общественных наук. При таком исходе обе стороны только выиграют.

---

<sup>1</sup> См., например, такие критические статьи, как: Gareth Stedman Jones, “From historical sociology to theoretical history”, *British Journal of Sociology*, XXVII, 1976, pp.295-305; Tony Judt, “A clown in regal purple: social history and the historians”, *History Workshop Journal*, VII, 1979, pp.66-94.

### III

Теперь можно приступить к дискуссии, и ходе которой мы дадим оценку марксистской интерпретации истории в контексте тех опасностей и благоприятных возможностей, что сопровождают любую попытку создания исторических теорий. Опасности в данном случае нам уже хорошо знакомы: Марксовы клеветники так хорошо обыграли некоторые наименее привлекательные тенденции его учения, что для всех, за исключением горстки людей, читавших самого Маркса или научные комментарии к его трудам, оно ассоциируется с унылым детерминизмом и абсолютно циничным взглядом на человеческую природу. В таком прочтении главные догмы марксизма выглядят примерно так: «История находится в неумолимой власти экономических сил, под воздействием которых все человеческие общества движутся по пути к социализму, проходя через одни и те же этапы, а капитализм является тем этапом, на котором в настоящее время находится большинство человечества. Во все времена эгоистический материальный интерес является главной движущей силой поведения человека, о каких бы мотивах ни говорили люди в каждом конкретном случае. Классы представляют собой коллективных выразителей этих эгоистических интересов, а значит вся история – это только история классово́й борьбы. Идеология, искусство и культура лишь отражают эту базовую идентификацию, не обладая собственной исторической динамикой. Индивид – продукт своей эпохи и своего класса и, какой бы одаренной и сильной личностью он ни был, бессилён повлиять на ход истории; историю делают массы, но даже они действуют в соответствии с predeterminedенной закономерностью». За сто лет, прошедших после смерти Маркса, марксисты время от времени присягали на верность каждому из этих положений, но все они представляют собой грубое упрощение его подлинных идей. Марксово учение развивалось в течение тридцати лет исследовательской и мыслительной деятельности, и появившийся в результате корпус теорий куда сложнее и тоньше, чем догмы «вульгарного» марксизма.

Маркс исходил из фундаментальной предпосылки – люди отличаются от животных способностью производить средства к своему существованию. В борьбе за удовлетворение физиологических и материальных потребностей люди постепенно вырабатывали все более эффективные орудия эксплуатации окружающей среды (или овладения природой, как сказал бы сам Маркс). На вопрос, в чем предмет истории, Маркс отвечал, что предметом истории является рост производительного потенциала людей, и он предвидел время, когда основные потребности всех будут полностью удовлетворены: только тогда человечество сможет реализовать себя и полностью раскроет свой потенциал

во всех сферах. Утверждая, что единственный правдивый, объективный взгляд на исторический процесс основан на материальных условиях жизни, Маркс резко дистанцировался от основных течений историографии XIX в., избравших национализм, свободу или религию в качестве главных тем исторической науки. Взглядам Маркса полностью соответствует название «исторический материализм», принадлежащее его соратнику и интеллектуальному наследнику Фридриху Энгельсу. Этой базовой теории, впервые намеченной в «Немецкой идеологии» (1846), Маркс неизменно оставался верен. С тех пор значительная часть его работ была посвящена выявлению ее значения для истолкования структуры общества, этапов социальной эволюции и природы общественных изменений.

Согласно Марксу, общество состоит из трех базовых уровней. В основе всего лежат *производительные силы*: орудия труда, технологии и сырье вместе с рабочей силой, реализующей их производительный потенциал. Производительные силы оказывают определенное воздействие на *производственные отношения*, под которыми Маркс понимал разделение труда и формы кооперации и подчиненности, необходимые для поддержания производства – другими словами, экономическую структуру общества. Эта структура, в свою очередь составляет основу или базис, который венчает *надстройка*, включающая в себя юридические и политические институты, а также поддерживающую их идеологию. В наиболее сжатой форме взгляд Маркса на структуру общества выражен в предисловии к работе «К критике политической экономии» (1859):

«В общественно производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание»<sup>1</sup>.

Это, однако, отнюдь не та примитивная детерминистская модель, за которую столь часто принимают концепцию Маркса. Во-первых, производительные силы ни в коей мере не ограничиваются средствами производства и мускульной силой рабочих. Технические изобретения и научные знания (от которых во времена Маркса столь явно

---

<sup>1</sup> К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.13, с.6-7.

зависело дальнейшее развитие производительных сил) тоже входят в их состав: в полной мере учитывается творчество людей, не будь которого, мы бы оставались рабами окружающего нас мира природы. Во-вторых, хотя из мысли Маркса ясно следует, что политику и идеологию – традиционные объекты интереса для историков – можно понять лишь в связи с экономическим базисом, Маркс учитывал и противоположное влияние. Например, ни одна система экономических отношений не может утвердиться без предварительного создания системы прав собственности и юридических обязательств; то есть, надстройка не просто отражает производственные отношения, но и сама воздействует на них. Таким образом, вся трехступенчатая модель предусматривает взаимовлияние ее элементов<sup>1</sup>. И в-третьих, Маркс не утверждал, что всякая внеэкономическая деятельность определяется базисом. Вопрос о том, можно ли вообще включать художественное творчество в состав надстройки, является спорным. Но даже те сферы, которые, несомненно, принадлежат к надстройке, не определяются *исключительно* базисом. Как политические институты, так и религия имеют собственную динамику развития, что Маркс и Энгельс признавали в своих исторических трудах, и экономические факторы, особенно в краткосрочной перспективе, могут играть второстепенную роль в объяснении событий; как отмечает Бродель, Маркс был, по сути, теоретиком *долгосрочной перспективы* (см. с. 145)<sup>2</sup>. Духу Марксова учения, возможно, больше соответствует точка зрения, что экономическая структура устанавливает ограничительные условия, а не определяет элементы надстройки во всем их своеобразии. Энгельс недвусмысленно высказался по этому вопросу. В одном из писем через несколько лет после смерти Маркса он заметил:

Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим элементом *в конечном счете* является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что будто экономический момент является *единственно определяющим* моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положение – это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Эта интерпретация убедительно обосновывается в: Melvin Rader, *Marx's Interpretation of History*, Oxford University Press, 1979. Противоположную точку зрения см. в: G.A.Cohen, *Karl Marx's Theory of History: A Defence*, Oxford University Press, 1978.

<sup>2</sup> Fernand Braudel, "History and the social sciences: *la longue durée*", 1958, цит. по Fernand Braudel, *On History*, Weidenfeld & Nicolson, 1980, p.51.

<sup>3</sup> Ф.Энгельс – И.Блоху, 21 сентября 1890 г., цит. по: Соч., т.37, с.394.

Очевидно, метафора «базис/надстройка» поддается детерминистскому истолкованию, и некоторые высказывания Маркса могут быть истолкованы таким образом, но его труды в целом не дают основания предполагать, что он рассматривал ее в таком узком понимании.

Одной из отличительных особенностей учения Маркса является его периодизация истории. Он выделял три исторические эпохи, вплоть до современного ему периода, каждую из которых характеризовал способ производства более прогрессивный, чем в предыдущую эпоху. Античное общество (Греция и Рим), сменило феодальное, возникшее после падения Римской империи, и соответственно капиталистическое (или «современное буржуазное») общество появилось сначала в Англии в XVII в., и затем восторжествовало повсеместно в Европе, особенно в результате Французской революции. Политическую остроту этой периодизации придавало убеждение Маркса, что на смену капиталистическому обществу со временем придет социалистическое, а вместе с ним и полная самореализация человечества: действительно, когда Маркс впервые начертил эту схему в 1846 г., он верил, что пришествие социализма – дело недалекого будущего. Маркс утверждал, что эта периодизация возникла в результате его исторических изысканий, а не догматического теоретизирования, и это подтверждается изменениями и уточнениями, которые он внес в свете дальнейших исследований. Позднее он выделил еще один способ производства – германское общество, современное античному и ставшее одним из источников феодального общества<sup>1</sup>. Азию он вынес в отдельную категорию, отличную от Европы: по Марксу, азиатский способ производства не обладал достаточной внутренней динамикой исторических перемен, и капитализм (а значит, и социализм) на Востоке мог быть создан лишь в результате колониализма. В отношении России он за сорок лет до Октябрьской революции отказался от своей прежней точки зрения, что полное развитие капитализма является необходимой предпосылкой социализма. Маркс упрекал тех критиков, которым непременно нужно

«превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, какими бы ни были исторические условия, в которых они оказываются»<sup>2</sup>.

Короче, Маркс не создавал единой схемы эволюции, которой любое общество обречено неукоснительно следовать.

---

<sup>1</sup> Karl Marx, *Pre-Capitalist Economic Formations*, Lawrence & Wishart, 1964, особенно см. предисловие Э.Дж.Хобсбаума.

<sup>2</sup> К.Маркс. Письмо в редакцию «Отечественных записок», ноябрь 1877 г., цит. по: К.Маркс, Ф.Энгельс. соч., т.19, с.120.

Подобная жесткая периодизация плохо бы сочеталась с Марксовой концепцией общественных изменений, самой богатой и многообещающей частью его исторической теории. Эту концепцию Маркс подытожил в абзаце, непосредственно следующем за процитированным выше отрывком из предисловия к «Критике политической экономии» 1859 г.:

«На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке»<sup>1</sup>.

По мнению Маркса, противоречия между производительными силами и производственными отношениями являются главной детерминантой долгосрочных исторических изменений: каждый способ производства несет в себе семена своего преемника. Таким образом, если взять излюбленный им пример, Английская революция XVII в. произошла потому, что производительные силы, характерные для капитализма, достигли такого уровня, когда их дальнейшее развитие сдерживалось феодальными отношениями собственности, санкционированными раннестюартовской монархией: следствием революции стала перестройка производственных отношений, расчистившая путь для начавшейся сто лет спустя промышленной революции.

Эта довольно абстрактная концепция исторических изменений проявляется в форме *классовых противоречий*. Маркс дал оригинальное определение классов не в зависимости от богатства, положения или образованности – критериев, общеупотребительных в его время, а в соответствии с их местом в процессе производства. Разделение труда, характерное для любого способа производства, начиная с античного общества, приводит к возникновению классов, чьи подлинные интересы носят взаимно антагонистический характер. На каждом этапе развития существовал свой господствующий класс, а также класс, которому суждено его свергнуть. Так, Маркс считал, что Английская революция произошла благодаря действиям городской буржуазии, развивавшей новые капиталистические производительные силы, и точно так же он ожидал, что новый класс – фабричный пролетариат, дитя промышленного капитализма, добьется победы социализма еще при его жизни. Классовая борьба выражает существующие в обществе противоречия, движущие историю вперед. Это не означает, что историю

---

<sup>1</sup> К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.13, с.7.

творяют массы. Хотя Маркс считал, что надежды человечества на лучшее будущее воплощены в пролетариате, в его интерпретации более ранних периодов истории массам отводилась второстепенная роль; он слишком хорошо понимал, что мир, в котором он живет, фактически создан буржуазией: ее достижения вызывали у Маркса смешанное чувство восхищения и ненависти.

Классовая теория Маркса – подходящий пример для анализа его отношения к роли человеческого фактора в истории. В структурном плане классы определяются их отношением к средствам производства, но Маркс знал, что для эффективной политической деятельности класса необходимо *классовое самосознание* его членов. Долгосрочная траектория перемен может определяться диалектическими отношениями между производительными силами и производственными отношениями, но момент и конкретная форма перехода от одной стадии развития к другой зависят от сознания реальных людей и их способности к действию. Все силы Маркс отдал тому, чтобы вооружить современный ему пролетариат пониманием механизма действия материальных сил в обществе и научить, как следует вести борьбу против капиталистического строя. Люди – жертвы материальных сил, но при соответствующих условиях они могут стать орудием исторических изменений. Этот парадокс является сердцевинной Марксовой концепции истории. Как он писал в своей лучшей работе по современной истории «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» (1852):

«Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»<sup>1</sup>.

Как именно Маркс понимал взаимосвязь между действиями и условиями, остается непонятным, но, как он утверждал, ему удалось выявить долгосрочные структурные факторы, определяющие в конечном счете неизбежность определенных исторических событий. Они представляют собой, так сказать, главные ограничители, в пределах которых лежит сфера деятельности людей, каждого в отдельности или в составе групп.

#### IV

Каково же значение теорий Маркса непосредственно для работы историков? Как мы видели, на их основе легко создаются упрощенные застывшие схемы, и именно в таком виде их проповедовали многие из первых марксистов, чьим главным интересом была политическая

---

<sup>1</sup> К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.8, с.119.

борьба и которые вполне удовлетворялись однозначным детерминизмом, указывающим на пролетарскую революцию в ближайшем будущем. Основатели исторического материализма относились к такому подходу без всякого сочувствия. Как заметил Энгельс в 1890 г.:

«У многих немцев из молодого поколения фразы об историческом материализме (ведь можно все превратить в фразу) служат только для того, чтобы как можно скорее систематизировать и привести в порядок свои собственные, относительно весьма скудные исторические познания (экономическая история ведь еще в пленках!) и затем возомнить себя великими»<sup>1</sup>.

Маркс подчеркивал, что его теория – это руководство для исследователя, а не замена самого исследования:

«На самом деле то, что обозначается словами «назначение», «цель», «зародыш», «идеал» прежней истории, абстракция от того активного влияния, которое оказывает предшествующая история на последующую»<sup>2</sup>.

Эти абстракции сами по себе не имеют никакой ценности. По мнению Маркса, они могут лишь помочь упорядочить исторический материал. Но они ни в коем случае не дают рецепта или схемы, какую дает философия, чтобы аккуратно подравнивать исторические эпохи. Напротив, трудности начинаются тогда, когда исследователь приступает к наблюдению и упорядочению. Маркс отвергал не историческое исследование как таковое, а метод, применяемый ведущими историками его времени. Их ошибка, утверждал он, заключается в следующем: они принимают на веру то, что исторические деятели говорят о своих мотивах и стремлениях. Тем самым Ранке и его подражатели оказываются в плену господствующей идеологии изучаемого периода, которая является лишь прикрытием подлинных материальных интересов господствующего класса. «Объективной» истории, то есть диалектической взаимосвязи между производительными силами и производственными отношениями, можно достичь, исследуя экономическую структуру обществ прошлого, не обращая внимания на субъективные высказывания исторических личностей:

«Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота [социальной революции] по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями»<sup>3</sup>.

В то же время, сам Маркс так и не выработал ясной методологии истории. Его собственные исторические труды варьировались от

<sup>1</sup> К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.37, с.371.

<sup>2</sup> Цит. соч., т.3, с.43.

<sup>3</sup> Цит. соч., т.13, с.7.



увлекательного политического нарратива в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» (1852) до абстрактного экономического анализа в первом томе «Капитала» (1867). В его концепции производительных сил и производственных отношений, а также взаимосвязи между базисом и надстройкой остаются неясности. Поэтому у историков, придерживавшихся марксистской традиции, хватало работы по интерпретации его идей.

В первые несколько десятилетий после смерти Маркса в 1883 г. исторический материализм начал оказывать широкое, хотя и не всегда осознанное воздействие на интеллектуальный климат по мере того, как основные его работы переводились на другие европейские языки и создавались социалистические партии, исповедующие марксизм. Марксизм, несомненно, был одним из основных течений, способствовавших возникновению экономической истории как отдельной сферы исследований (см. с. 114-115). Как признавал в 1929 г. Дж. Х. Клэпхэм, не жаловавший социализм, «марксизм методом притяжения и отталкивания, пожалуй, больше любого другого учения способствовал тому, чтобы люди начали думать об экономической истории и изучать ее»<sup>1</sup>. Но прошло куда больше времени, прежде чем содержание и метод марксистской интерпретации истории начали оказывать свое воздействие. Сначала он весьма существенно затронул практическую деятельность историков-профессионалов в Советском Союзе, где после прихода большевиков к власти и вплоть до сталинского «закручивания гаек» в 1931-1932 гг. шли весьма оживленные научные исследования и дискуссии в рамках марксистской теории<sup>2</sup>. Подчинение работы историков в России жесткой партийной линии совпало с превращением марксизма в мощный стимул интеллектуальной жизни на Западе. Побудительными мотивами к этому стали очевидный кризис капиталистической системы в результате начавшейся в 1929 г. Великой депрессии и явное банкротство либеральной демократии перед лицом фашизма. Но хотя в 1930-х гг. в Британии и повсюду были проведены важные первопроходческие исследования истории в духе марксизма, они в основном были делом активных членов коммунистической партии, на которых большинство историков глядело с подозрением, и потому не получили особого признания в научных кругах. Однако с 1950-х гг. марксистский подход к истории приобрел гораздо более широкое влияние – причем среди историков, никак не связанных с компартией, а в ряде случаев вообще не проявлявших политической активности. Многие признанные лидеры

---

<sup>1</sup> J.H.Clapham, “The study of economic history”, 1929, цит. по: Harte, *Study of Economic History*, pp.64-65.

<sup>2</sup> John Barber, *Soviet Historians in Crisis*, 1928-30, Macmillan, 1981.

исторической науки, такие, как Кристофер Хилл и Э.Дж.Хобсбаум, выступают с марксистских позиций. Сам Хобсбаум (все еще остававшийся членом компартии) в 1978 г. справедливо заметил:

«Сегодня, пожалуй, ни один историк-немарксист уже не может не обсуждать либо самого Маркса, либо труды кого-нибудь из историков-марксистов в процессе своей нормальной научной работы»<sup>1</sup>.

Почему же интерпретация истории, возникшая как революционная критика современного общества и уязвимая для догматических искажений, привлекает такое внимание ученых? Вряд ли причина состоит в главной роли, которую марксизм уделяет экономической истории, ведь большинство специалистов в этой области (особенно в Британии и Соединенных Штатах) не являются марксистами. Нельзя объяснить привлекательность марксизма и его взглядом на историю «с позиции обездоленных»: хотя марксистский подход придает большой вес роли масс в определенных исторических ситуациях, он далек от того, чтобы трактовать историю с позиции низов, не волнует его и превознесение героизма предыдущих поколений пролетариев. Подлинной причиной сильной привлекательности марксизма является то, что он прекрасно отвечает потребности историка в теории, причем во всех трех областях, где теория особенно необходима.

Марксистская модель «базис/надстройка» представляет собой весьма полезный способ постижения всей совокупности социальных отношений в любом конкретном обществе. Дело не просто в том, что в ней есть место для всех политических, социальных, экономических и технологических аспектов; при полномасштабном марксистском анализе все общепринятые различия между ними теряют силу. Социальная и экономическая история становятся неразделимым целым, а политические исследования избавляются от опасности превратиться в мелочную реконструкцию кривлянья профессиональных политиков на их собственной арене (см. с. 111-112). Привлекательность «тотальной истории» школы «Анналов» также состоит в ее противостоянии научной раздробленности, но Броделю и его последователям явно не удалось создать удовлетворительной модели, интегрирующей политическую историю с исследованиями окружающей среды и демографии, которые составляют основу их работы (см. с. 124-127). По крайней мере в этом отношении «тотальная история» уступает марксистской с ее упором на взаимодействие между производительными силами, производственными отношениями и надстройкой. Неудивительно, что один из лучших современных мастеров широкого исторического

---

<sup>1</sup> Eric Hobsbawm, "The Historians' Group of the Communist Party" in Maurice Cornforth (ed.), *Rebels and their Causes*, Lawrence & Wishart, 1978, p.39.

обзора, Хобсбаум, является марксистом, глубоко понимающим труды самого классика<sup>1</sup>.

Это же взаимодействие спасает марксизм от антиисторической ошибки, столь характерной для других теорий, – тенденции рассматривать социальное равновесие как норму. Фундаментальный постулат историков-марксистов состоит в том, что любое общество содержит и стабилизирующие и подрывные элементы (противоречия), а исторические перемены происходят, когда последние вырываются из рамок существующей общественной системы и в процессе борьбы устанавливают новый порядок. Историки сочли понятие диалектического взаимодействия бесценным орудием для анализа общественных изменений разной интенсивности: от едва заметного движения внутри стабильной общественной формации до периодов революционного брожения.

Претензии марксизма на то, что он открыл направленность всего исторического процесса – наиболее трудный для оценки компонент этой теории. Сегодняшних историков-марксистов не слишком привлекают гигантские эволюционные схемы, и, вероятно, мало кого из них волнует, насколько их исследования могут пролить свет на перспективу обрисованного Марксом бесклассового общества будущего. Но вряд ли можно усомниться, что марксизм сегодня – единственный наследник концепции истории как прогресса. Утверждение, что крупные социальные конфликты в истории заканчиваются переменами к лучшему, обладает большой притягательной силой, как это ясно видно из одного из самых последовательно марксистских замечаний Кристофера Хилла о Гражданской войне в Англии:

«Победа Карла I и его банды означала бы лишь экономический застой в Англии, стабилизацию отсталого феодального общества в век коммерции, и впоследствии потребовала бы еще более кровавой борьбы за свободу. Сторонники парламента думали, что сражаются за дело, угодное богу. Но они уж точно сражались за будущее, убирая преграду на пути вперед»<sup>2</sup>.

Использование марксистского подхода может привести к тому, что весьма ограниченные по проблематике исследования приобретают большую значимость в связи с их местом в широком историческом процессе.

Откликнуться на притягательную силу теоретической широты марксизма для историка не означает, что он окажется в плену ортодоксии. Развитие марксистской историографии в последние лет тридцать,

---

<sup>1</sup> См. его труды: *Age of Revolution*, Weidenfeld & Nicolson, 1962; *Age of Capital*, Weidenfeld & Nicolson, 1976.

<sup>2</sup> Christopher Hill, *The English Revolution 1640*, 3rd edn., Lawrence & Wishart, 1955, p.43.

особенно в Британии, имеет одну замечательную черту – разнообразие. По мере ознакомления с трудами Маркса, историки реагировали на различные, диаметрально противоположные линии в его теориях, что отразилось в недавних разногласиях среди ученых-марксистов по поводу того, что посвященные называют «культурализмом» и «экономизмом». Эти разногласия ярче всего проявились в реакции на наиболее популярную из книг, когда-либо написанных британскими марксистами – «Формирование английского рабочего класса» Э.П.Томпсона (см. выше, с.122). Ее центральной темой является то, каким образом в ответ на обнищание и политические репрессии английские трудящиеся выработали новое сознание, так что к 1830 г. они обрели коллективную идентичность в качестве рабочего класса и способность к коллективным политическим действиям; это сознание не возникло автоматически как побочный продукт фабричной системы, но было результатом осмысления опыта в свете хорошо развитой врожденной радикальной традиции. Книга, таким образом, представляет собой «исследование активного процесса, в равной мере вызванного деятельностью людей и объективными условиями»<sup>1</sup>. Как утверждает сам Томпсон, его исследование соответствует признанию Маркса, что люди в какой-то степени «сами творят свою историю». В то же время его критики отмечали, что Томпсон недооценил значение оговорок, которыми Маркс снабдил этот тезис. Они указывали, что, отказавшись от детального анализа перехода от одного способа производства к другому, Томпсон не сумел оценить укорененность классов в экономические отношения и потому преувеличил роль коллективного человеческого фактора; проявив теоретическую небрежность, историк оказался в плену субъективного опыта своих персонажей<sup>2</sup>. Томпсон остался непреклонен и подтвердил свой тезис о необходимости придерживаться определенного равновесия между теорией и опытом и толковать марксизм как развивающееся и гибкое учение, а не как закрытую систему<sup>3</sup>. Сила его научного таланта так велика, что «культурализм» – или «социалистический гуманизм», как предпочитал его называть сам Томпсон<sup>4</sup>, – скорее всего, в обозримом будущем сохранит свое место в марксистской историографии наряду с «экономизмом».

«Формирование английского рабочего класса» – это проявление другой ярко выраженной тенденции британской марксистской

<sup>1</sup> E.P.Thompson, *The Making of the English Working Class*, Penguin, 1968, p.9.

<sup>2</sup> См.: Richard Johnson, “Thompson, Genovese and socialist-humanist history”, *History Workshop Journal*, VI, 1978, pp.79-100, и Perry Anderson, *Arguments within English Marxism*, Verso, 1980.

<sup>3</sup> E.P.Thompson, *The Poverty of Theory*, Merlin Press, 1978, в особенности с.110-119.

<sup>4</sup> *Ibid.*, p.88.

историографии; ее интереса к народным движениям практически вне зависимости от их эффективности. Одно из критических замечаний в адрес марксизма, как и других целенаправленных интерпретаций истории, состоит в том, что он искажает наше понимание прошлого, уделяя чрезмерное внимание личностям и движениям, стоявшим на стороне «прогресса». Но Томпсон сосредоточивается не столько на новых фабричных рабочих, которые в будущем составили ядро организованного рабочего класса, сколько на жертвах промышленной революции, вроде ткачей, работавших на ручных станках, которых фабричная система лишила средств к существованию. Эта тенденция еще более явно прослеживается в исследованиях Кристофера Хилла об Англии XVII в. В последние годы в таких работах, как «Мир, перевернутый вверх дном» (1972), его внимание все больше переключается с успешной «буржуазной» революции к «восстанию внутри революции»<sup>1</sup> – деятельности социалистических и либертарианских сект вроде диггеров и рантеров, опередивших свое время и полностью подавленных победителями в Гражданской войне. Но для Хилла это не абстрактный интерес к деталям прошлого. Он считает, что в нашем нынешнем обществе радикальные идеи этих сект могут найти применение в практике социализма и, открывая для себя эту утраченную традицию, мы можем извлечь уроки из их идей и опыта; в конце книги и он призывает нас «действовать, а не только говорить»<sup>2</sup>. В том же духе – хотя и не столь явно – высказывается и Томпсон, предполагая, что идеи народных движений периода английской промышленной революции, пусть и потерпевших поражение, могут пригодиться и сегодня; если не в Англии, то в странах Третьего мира, где процесс индустриализации еще находится в начальной стадии<sup>3</sup>.

Но, каким бы увлекательным ни представлялось исследование народных движений, марксистская история – это не только «взгляд снизу» (кстати, ни Томпсон, ни Хилл никогда не утверждали обратного). Исход классовых битв в итоге решается на политическом уровне, и новый господствующий класс осуществляет свою власть через контроль над государством. Можно настаивать, хотя такие утверждения и не пользуются популярностью, что взгляд на историю «сверху» занимает не менее важное место в трудах историков-марксистов. Результаты этого куда интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь значение государства нельзя попросту свести к роли политического орудия гегемонии определенного класса: это было бы «вульгарно марксистским» упрощением. Излюбленная ныне точка зрения

---

<sup>1</sup> Christopher Hill, *The World Turned Upside Down*, Penguin, 1975, p.14.

<sup>2</sup> Ibid., p.386.

<sup>3</sup> Thompson, *The Making of the English Working Class*, p.13.

заключается в том, что историческая роль государства состоит в защите общих долгосрочных интересов господствующего класса – а точнее, в обеспечении условий, при которых способ производства, лежащий в основе этого господства, сможет существовать и в будущем. При реализации этой функции государство часто вступает в конфликт с насущными краткосрочными интересами отдельных слоев правящего класса. Так, в «Происхождении абсолютистского государства» (1974) Перри Андерсон доказывает, что антагонизм европейских абсолютных монархий XVII-XVIII вв. в отношении отдельных слоев аристократии не может заслонить того факта, что эти режимы всеми силами стремились к поддержанию феодальных отношений, особенно дворянского землевладения. Развивая эту мысль, можно сказать, что государственная власть зависит не только от контроля за средствами принуждения, но и от определенной легитимности, которой она обладает в глазах подданных; а поскольку такая легитимность невозможна, если государство будет открыто отстаивать интересы исключительно одного класса, оно должно в определенной степени учитывать принципы общего блага и естественной справедливости. Единственной альтернативой были бы классовые конфликты и массовое недовольство, способные поставить под угрозу само существование господствующего способа производства. Поэтому государство, как правило, демонстрирует определенную независимость от класса, чьи интересы оно в первую очередь представляет, но вопрос о степени автономии, которую оно реально может себе позволить, естественно, является источником немалого напряжения в классовом обществе. Таким образом, марксистский подход, ничуть не отказываясь от политической истории как таковой, требует особо тщательного анализа различных влияний, которые испытывает на себе государство, приводящих порой к осуществлению разных и даже противоположных политических линий в пределах одной общественной формации. Так, даже на эту сферу исследований, наиболее отягощенную грузом традиционной науки, марксистская историография способна оказать освежающее и стимулирующее воздействие.

Тем не менее, беспристрастный анализ марксистского понимания истории серьезно затрудняется преувеличенными амбициями самого Маркса. Он утверждал, что последовательность смены способов производства можно определить с «естественно-научной точностью»<sup>1</sup>, и эта точка зрения полностью разделялась официальной историографией стран советского блока. Как и многие другие обществоведы XIX в., Маркс был ослеплен очевидными успехами естественных наук.

---

<sup>1</sup> К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.13, с.7.

Сосредоточивая внимание на материальных силах в истории, а не идеологии или мотивации, он считал, что сможет таким образом преодолеть субъективизм, присущий традиционной исторической науке. Но даже если мы согласимся, что долгосрочные изменения в истории действительно являются результатом развития процесса производства, научная точность все равно останется иллюзорной целью, ведь изучать этот процесс мы вынуждены на основе документов и других источников, созданных людьми, чьи представления об окружающем их материальном мире искажались нематериалистическими факторами. Проникновение за пределы поверхностного значения источников к их «подлинному» смыслу – во многом вопрос чуткости и оценки, а не безупречных логических доказательств. Ограничение причин событий материальными факторами не освобождает марксиста от трудностей, связанных с любой попыткой истолкования истории: пробелов в источниках и их неспособности четко и недвусмысленно указать на причинно-следственные связи.

У марксиста есть две возможности выхода из этой неудовлетворительной ситуации. Во-первых, он может поставить теорию на высокий пьедестал, вне досягаемости сиюминутного мира эмпирических данных: глубинные структуры, лежащие в основе как прошлого, так и настоящего, невозможно раскрыть, собрав все факты. Они доступны лишь пониманию тех, кто владеет правильной теорией. Такую позицию заняли представители влиятельной «структуралистской» школы марксизма во главе с французским философом Луи Альтюссером. Правильную теорию можно почерпнуть при правильном прочтении зрелых работ Маркса, особенно «Капитала», то есть таком прочтении, при котором роль человеческого фактора практически отрицается. Отказ от эмпирического метода «структуралисты» отстаивают (вопреки тому, что сам Маркс утверждал обратное) на том основании, что любой исторический документ искажен структурой мышления и языка, преобладавшей в период его написания: «подлинные» исторические факты для нас недостижимы, а доступные нам искаженные образы прошлого не имеют ровно никакого значения<sup>1</sup>. Вполне естественно, историки резко выступают против подобного подрыва основ своей дисциплины, а разбить аргументы Альтюссера можно без особого труда. Историки опираются не только на письменные тексты; они используют и материальные артефакты, дающие информацию о прошлом вне зависимости от языка и связанных с ним ассоциаций. Кроме того, и это главное, весь инструментарий научной критики источников имеет целью проникнуть в ментальные категории их авторов

---

<sup>1</sup> Barry Hindes and Paul Q. Hirst, *Pre-Capitalist Models of Production*, Routledge & Kegan Paul, 1975, pp.308-313.

и культуры, в рамках которой они создавались, и, сведя воедино самые разнообразные данные, составить представление об изучаемом периоде, недоступное никому из современников<sup>1</sup>. Даже среди марксистских идеологов «мода на Альтюссера» явно идет на убыль. Она не оказала почти никакого влияния ни на практическую науку, ни на представление о ней широкой публики.

Другой выход – признать (но не преувеличивать) ограничения, которые природа исторического исследования налагает на стремление к «научности», и принять участие в совместной работе с историками, разделяющими иные убеждения. В целом именно такой линии придерживаются Хилл, Хобсбаум, Томпсон и большинство историков-марксистов в современной Британии. А это значит – серьезно отнестись к упрекам в «ограничительстве», обычно предъявляемым любой исторической теорией и марксизму в особенности. Пожалуй, самой большой слабостью марксистской теории является недооценка силы связей между людьми, возникающих по причинам, совершенно не зависящим от производства. Трудно оспорить то, что религиозная, расовая или национальная принадлежность является в долгосрочном плане как минимум столь же важной, как и принадлежность классовая. От подобных связей нельзя просто отмахнуться, назвав их «ложным сознанием», внедряемым правящим классом, чтобы низшие сословия не осознали, что подвергаются эксплуатации; вероятнее всего, эти связи удовлетворяют фундаментальную человеческую потребность. Как и другие социальные теории, универсалистские рецепты Маркса не избежали чрезмерного влияния проявлений современной ему обстановки. Классовая самоидентификация и классовая борьба были характерными чертами находящихся на стадии индустриализации Германии, Франции и Британии, где Маркс провел всю свою жизнь, но они куда меньше проявлялись в более ранние периоды, и исследователи доиндустриальных обществ испытывают огромные трудности, пытаясь применить к ним марксистскую теорию в полном объеме. Примечательно, что Хилл в своих работах об Англии XVII в. проявляет настойчивое стремление рассматривать религиозные убеждения как самостоятельный фактор<sup>2</sup>. Марксизм во многом помогает понять историю средних веков и раннего нового времени, но он не слишком подходит для «тотальной истории» доиндустриальных обществ Европы и тем более Азии и Африки.

---

<sup>1</sup> Классическим опровержением «структурализма» является: E.P.Thompson, *The Poverty of Theory*. В более сжатой форме оно содержится в: Raphael Samuel, "History and theory", in: R.Samuel (ed.), *People's History and Socialist Theory*, Routledge & Kegan Paul, 1981, pp.xl-lii.

<sup>2</sup> Ср. работу Хилла *English Revolution* с его же *The World Turned Upside Down*, написанной тридцать с лишним лет спустя.



## V

Мой продолжительный анализ марксистской исторической теории некоторые читатели могут расценить как субъективную приверженность автора вышедшему из моды радикализму. Разве марксизм не оказался на свалке теперь, после 1989 г., когда во всем мире сохранились лишь островки марксистских режимов, а международное коммунистическое движение потерпело полный крах? Впрочем, еще до этих событий группа самозванных «ревизионистов» вознамерилась дать бой марксистскому влиянию и «свергнуть с престола» Хилла, Томпсона и Хобсбаума – «ту когорту ученых, чье мышление сформировалось по матрице межвоенного марксизма», по выражению одного из ревизионистов<sup>1</sup>. Несомненно, в последние пятнадцать лет бал правят консерваторы с их недоверчивым отношением к марксизму.

Сейчас еще рано утверждать, какими будут долгосрочные последствия сдвига 1989-1992 гг. в интеллектуальном плане, но сразу по двум причинам можно предположить, что марксизм вряд ли удастся быстро списать со счетов. Во-первых, большинство историков-марксистов мало интересовалось возможным влиянием их работы на политический процесс в настоящем и будущем, придерживаясь мнения о минимальной связи между исторической теорией Маркса и его революционно-политическим учением. Во-вторых, нынешнее враждебное отношение, как бы велико оно ни было, не изменит того факта, что марксизм оказал совершенно беспрецедентное воздействие на историческую науку и в качественном, и в количественном смысле. Эта теория не имеет равных по широте охвата и уровню научной проработки. Пока историки признают необходимость теории, они будут обращаться к марксистской традиции.

Обоснованность этого прогноза станет совершенно бесспорной, если мы учтем сравнительную теоретическую бедность других направлений истории. Марксизм, несомненно, вызывает неприятие со стороны многих британских историков, но это неприятие не носит целиком теоретического характера. Отвергая категории исторического материализма, консерваторы указывали на ключевое значение других сил в истории, таких, как верховенство закона, национальное государство и объединительная роль церкви<sup>2</sup>. Но результатом этого является другой угол зрения, но не другая теория исторического развития. Дошедшие

---

<sup>1</sup> J.C.D.Clark, *English Society 1688-1832: Ideology, Social Structure and Political Practice during the Ancien Régime*, Cambridge University Press, 1985, p.1: см. также его работу: *Revolution and Rebellion: State and Society in England in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Cambridge University Press, 1986, p.2.

<sup>2</sup> См., например, работы Дж.Элтона и Дж.Кларка.

до нас исторические источники содержат столько интересующего консерваторов материала, что они вполне могут говорить о якобы чисто эмпирическом характере своей работы. Теория, таким образом, становится жестом отчаяния со стороны тех, кто пытается пробиться с обочины на столбовую дорогу исторической науки. Те, кого интересует мир как он есть, а не каким он может быть, не нуждаются в теории. Одним из редких исключений является использование специалистами по экономической истории теории модернизации для объяснения начавшегося в XVIII в. глобального процесса перехода к индустриальному урбанизированному обществу. Однако эта теория не приобрела особой популярности за пределами Соединенных Штатов<sup>1</sup>.

Историческая теория, таким образом, остается в основном уделом левых. До 1970-х гг. марксизм обладал такой гегемонией в левых кругах, что альтернативные ему теории возникали в рамках *самой* марксистской традиции, как мы уже показали на примере таких историков, как Э.П.Томпсон. В последнее время такого рода теории рождаются уже за пределами марксизма, хотя обычно не без его влияния. Одним из таких направлений стали расовые и этнические категории. Под общей шапкой «постколониализма» ряд исследователей разрабатывает схему понимания современного мира, разрушая традиционную концепцию национального государства и вводя новые понятия: взаимозависимость, этническое разнообразие, расовая «инородность» и глобальное неравенство. Это направление в ближайшие годы, несомненно, будет развиваться<sup>2</sup>. Другим подобным направлением по логике должна стать история с точки зрения «зеленых», где концептуализация и периодизация будут построены вокруг вопросов окружающей среды; пока, впрочем, особых признаков применения подобного подхода не наблюдается.

Тенденция к развитию новых теоретических направлений в настоящее время особенно наглядно проявляется в разработке вопросов *гендера* как фундаментального структурирующего принципа исторического анализа. Катализатором этих исследований в начале 1980-х гг. стало растущее понимание необходимости новой социальной базы для эффективной политической деятельности левых, а также изменения в области феминистской мысли. Как мы уже показали, первоначально феминистская историография была нацелена на историческое обоснование самой идеи, сбор документальных свидетельств женского опыта и достижений (см. гл.5). При всех успехах в выявлении скрытых

---

<sup>1</sup> W.W.Rostow, *The Stages of Economic Growth*, Cambridge University Press, 1960.

<sup>2</sup> Catherine Hall, "Histories, empires and the post-colonial moment" in: Iain Chambers & Lidia Curti (eds.), *The Post-Colonial Question: Common Skies, Divided Horizons*, Routledge, 1996, pp.65-77.

или отрицаемых фактов подобная «женская» история имела существенную ограниченность. Она стремилась восстановить отдельный женский мир – «его историю» – в противоположность традиционной историографии, но не имела эффективного плана действий по изменению этого традиционного взгляда (а в некоторых случаях и особой заинтересованности в таком изменении). Какое-то время оставалось неясным, станет ли «женская» история одним из интеллектуальных направлений движения за эмансипацию женщин или превратится в часть исторической науки, играющую потенциально преобразовательную роль. Развитие событий в 1980-1990-х гг. свидетельствует в пользу второго варианта.

Как зрелое научное направление, история женщин сегодня характеризуется тремя принципами, которые в совокупности открывают путь для создания целостной исторической теории. Во-первых, «женщина» уже не рассматривается как одна неразделимая социальная категория. Классовые, расовые и культурные представления о различиях между полами оказывали огромное влияние на восприятие женщин – и на восприятие женщинами самих себя, – и в большинстве научных исследований рассматриваются отдельные группы, а не «женский пол» в целом. Даже при попытках создания общих работ по истории женщин центральное место занимают культурные и социальные различия<sup>1</sup>. И во-вторых, такому же переосмыслению как и категория «женщин», подвергся и стандартный тезис об их постоянном угнетении мужчинами. Термин «патриархат» подвергся критике как предполагающий, что разделение по половому признаку является основополагающим принципом стратификации человеческого общества, присутствует во всех периодах и тем самым оказывается «вне» истории; объясняя все, он не объясняет ничего. Понятие «патриархат» можно и сейчас успешно использовать для обозначения половой иерархии в рамках домохозяйства, особенно там, где мужчины руководят своеобразным домашним производством, как это имело место в доиндустриальной Европе. Но история демонстрирует гигантское разнообразие уровней угнетения, сопротивления, адаптации и сотрудничества в отношениях между мужчиной и женщиной, и задача историка состоит в том, чтобы объяснить это разнообразие, а не затушевывать его универсальным принципом подавления одного пола другим<sup>2</sup>. В-третьих, – и это главное, – «женская» история стала все

---

<sup>1</sup> См., например: Olwen Hufton, *The Prospect Before Her: a History of Western Women, 1500-1800*, Harper Collins, 1995.

<sup>2</sup> Классическим обзором всех «за» и «против» понятия «патриархат» является статья Шейлы Роуботам Салли Александер и Барбары Тэйлор в: Raphael Samuel (ed.), *People's History and Socialist Theory*, Routledge & Kegan Paul, 1981, pp.363-373.

больше заниматься и историей мужчин: не в традиционном восприятии как абстрактных бесполок существ, а в их взаимосвязи с другой половиной человечества. Это значит, что исторический образ мужчины – это образ мужа и сына, а исключение им женщины из сферы общественной жизни является предметом исследования, а не аксиомой. Как выразилась Джейн Льюис, «наше понимание системы отношений между полами/гендерами не будет иметь и намека на полноту, если мы не поймем всю структуру «мужского» мира и формирования «мужественности»<sup>1</sup>.

Такой подход больше, чем любой другой, способствовал уточнению предыдущего понимания термина «патриархат». Рассмотрение обоих полов во взаимосвязи выводит на первый план пространственно-временные различия, а не общие структуры. Историография, вдохновленная идеями феминизма, преодолела стадию пробуждения самосознания и перешла к научному объяснению<sup>2</sup>.

Гендерные исследования являются теоретической попыткой учесть проблемы обоих полов и их сложные взаимоотношения, вписав в картину прошлого, и тем самым модифицировать историческую пауку *вообще*. Кроме тендерных исследований в истории женщин существуют и другие течения, но именно они представляются наиболее многообещающими с точки зрения дисциплины в целом. Термин «гендер» в общеупотребительном смысле означает социальную организацию различий между полами. Он воплощает тезис о том, что большинство различий между полами, которые считаются естественными (или «богом данными»), на самом деле формируются обществом и культурой, а значит, их следует воспринимать как результат исторического процесса. (Конечно, именно эта путаница между понятиями природы и культуры придала стратификации по гендерному признаку такую долговечность, и стала причиной отсутствия ее следов в большинстве исторических источников.) Гендерные исследования сосредоточены не столько на угнетенном положении одного из полов, сколько на всей сфере отношений между полами. А эта сфера включает не только очевидные контакты вроде брака и секса, но и все социальные отношения и политические институты, которые, согласно этой точке зрения, в разной степени структурируются тендером: исключением женщин, поляризацией мужских и женских качеств и т.д.

---

<sup>1</sup> Jane Lewis (ed.), *Labour and Love: Women's Experience of Home and Family 1850-1940*, Blackwell, 1986, предисловие редактора, с.4. См. также: John Tosh "What should historian do with masculinity? Reflections on nineteenth-century Britain", *History Workshop Journal*, 38, 1994, pp.179-202.

<sup>2</sup> Natalie Zemon Davis, "Women's history' in transition: the European case", *Feminist Studies*, III, 1975, pp.83-103.

Мужчины формируются гендером не меньше, чем женщины. И социальную власть мужчин, и их «мужские» качества можно понять лишь в качестве аспектов гендерной системы; они не являются «естественными» или неизменными, но определяются изменчивым характером отношений с женщинами. Такой подход характерен для последних исследований сложной эволюции термина «мужественность», начиная с раннего нового времени, и лучших работ по истории семьи<sup>1</sup>. Поскольку правильно понять каждый из полов можно лишь во взаимосвязи с другим, гендерные исследования обладают концептуальным инструментарием для охвата общества в целом, и на этой основе – потенциалом для создания теории структуры общества и исторических перемен.

Весьма уместным в этой связи будет сравнение с марксизмом. Гендерной истории пришлось испытать те же сложности, связанные с одновременными потребностями научного объяснения и политики эмансипации, что и истории классов. Обладая потенциалом целостного социального анализа, гендерные исследования могут исправить как минимум некоторые недостатки марксистской теории. Историки-марксисты никому не уступят в анализе производства, но их теория придает куда меньшее значение воспроизводству, как в биологическом, так и в социальном плане. В то же время в этом состоит одна из сильных сторон гендерной теории, что и продемонстрировали последние исследования о роли женщин в промышленной революции<sup>2</sup>. В более широком плане, гендерная история может привести к устранению жесткого разделения между сферами общественного и личного, характерного практически для всех исторических исследований, включая марксистские. Работа Леонор Давидофф и Кэтрин Холл «Превратности семьи» (1987), наиболее впечатляющее достижение британской гендерной историографии, позволяет предположить, что такое разделение, возможно, не позволяло раскрыть всю сложность экономической и общественной жизни прошлого. Главный тезис авторов состоит в том, что в Англии начала XIX в. основной целью деловой активности было поддержание семьи и дома – и наоборот, положительные качества, присущие мужчинам из среднего класса в быту (трезвость, чувство долга и т.д.), отвечали потребностям профессиональной и предпринимательской деятельности. В подобных работах связь между гендером и классом раскрывается во всей своей сложной специфике.

---

<sup>1</sup> Michael Roper and John Tosh (eds.), *Manful Assertions: Masculinities in Britain since 1800*, Routledge, 1991; Leonore Davidoff and Catherine Hall, *Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class 1780-1850*, Hutchinson, 1987.

<sup>2</sup> Louise Tilly and Joan Scott, *Women, Work and Family*, 2nd edn., Methuen, 1987.

Другой вопрос – каким образом эту связь можно обобщить теоретически. В принципе феминистские интерпретации истории занимают пространство между двумя «пуристскими» позициями. На одном краю находятся те, кто считает патриархат главной причиной неравенства, по сравнению с которым все другие формы социальной дифференциации имеют второстепенное значение. На другом – диаметрально противоположные утверждения феминисток, озабоченных сохранением союза с левыми: гендерные различия являются одним из аспектов производственных отношений, и в теоретическом плане их место – между производительными силами и надстройкой. В самых крайних вариантах класс предопределяет гендер. Эти разногласия, вероятно, можно преодолеть, приняв так называемый двойной вариант социального устройства, включающий и гендерный, и классовый подход, и частную, и общественную жизнь<sup>1</sup>. В любом случае, историческая наука скорее, чем любая другая дисциплина, позволит продвинуться в изучении этих вопросов, и это одна из причин, почему гендерные исследования пользуются все большим вниманием как со стороны историков, так и других ученых.

## VI

Представители немарксистской и нефеминистской историографии едины во мнении, что попытки убежденных сторонников какой-либо теории применить ее к конкретным событиям прошлого приводят к односторонней интерпретации, искажающей подлинную сложность исторического процесса. Но все историки, кроме непримиримых традиционалистов, признают, что теория – весьма продуктивный стимулятор гипотез. Ее ценность, утверждают они, состоит не в ее способности объяснять события, а в постановке интересных вопросов и привлечении внимания ученых к новым источникам, то есть теория – это ценный *эвристический* инструмент. Исторические исследования обычно показывают, что теории не выдерживают проверки всем богатством подлинных событий, но в процессе такой проверки могут обнаружиться новые области для изучения. С этой точки зрения у марксистской теории очень хороший послужной список таких «плодотворных ошибок»<sup>2</sup>: при всех своих недостатках она породила большой объем исторических знаний о связях между политическим

---

<sup>1</sup> Joan Kelly, *Women, History and Theory*, Chicago University Press, 1984, ch.3.

<sup>2</sup> H.R.Trevor-Roper, “History: professional and lay”, 1957, цит. по: H.L.Lloyde-Jones, V.Pearl and B.Worden (eds.), *History and Imagination*, Duckworth, 1981, p.13.

процессом и социально-экономической структурой. Примерно то же самое можно сказать и о вкладе гендерных исследований в изучение роли женщин и взаимоотношений полов. Аналогичным образом, попытки создания сравнительно-исторических трудов не столько позволяют выявить общие закономерности, сколько привлекают внимание к фундаментальным различиям между рассматриваемыми периодами и регионами.

Такой подход можно назвать минималистским оправданием существования теории в исторической науке. Однако при этом из поля зрения ускользает тот факт, что историческое знание включает не только конкретные ситуации и процессы, имевшие место в прошлом. Историки с их профессиональной приверженностью к работе с первоисточниками слишком часто забывают о существовании общих проблем научной интерпретации, требующих изучения: как объяснить долговременные процессы вроде индустриализации или развития бюрократии, или возникновение таких институтов, как феодализм и рабство в совершенно не связанных друг с другом обществах. Чем шире масштаб исследования, тем сильнее потребность в теории, которая не просто указывает историку на новые данные, но и действительно пытается *объяснить* тот или иной процесс или закономерность. Марксистская историография, даже если не признавать за ней никаких других заслуг, по крайней мере вывела некоторые «большие вопросы» на научную авансцену и способствовала превращению и предмет исследования тех неосознанных моделей, которые сплошь и рядом содержатся в работах самых непримиримых критиков теории. Такой же очевидный эффект вызывает сейчас внедрение гендерных теорий в историческую науку.

Сознательное использование социальных теорий историками для прояснения этих общих вопросов находится еще в зачаточном состоянии. Этот процесс привел к появлению большого количества «редукционистских» работ, написанных второсортными историками, стремящимися показать себя крупными теоретиками. Но в работах лучших историков – а именно по ним и следует судить об успехе всего предприятия – знание контекста и владение источниками обеспечивают нужное соотношение между теорией и фактами. Как отмечал Томпсон, историческое знание движется вперед благодаря «хрупкому равновесию между синтетическим и эмпирическим методами, несоответствию между моделью и действительностью»<sup>1</sup>. Следует ожидать, что при таком дисциплинированном подходе социальные теории не всегда смогут выдержать испытание фактами, но это не причина для

---

<sup>1</sup> Thompson, *The Poverty of Theory*, p.78.

отказа от их применения. Задачей историков является проверка теорий, их совершенствование и выработка новых всегда на основе фактов в самом широком понимании. И делают они это не в погоне за теорией в последней инстанции или «законом», который «решит» ту или иную интерпретационную проблему, но потому что без теории они просто не могут подступиться к действительно значимым вопросам истории.



## Глава 9 История в цифрах

Возрождение интереса к социальной теории, чему мы посвятили предыдущую главу, представляет собой лишь один из аспектов влияния общественных наук на историю в последние годы. По мере выявления новых видов источников и выработки новых методов использования известных материалов происходило расширение технических возможностей исторической науки. Важнейшим новшеством в этой области стали количественные методы исследования. Ни одна из отраслей исторической науки не избежала их воздействия, а в сферах экономической и социальной истории они произвели своего рода переворот. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, происшедшее в первой половине XX в. смещение акцента с индивида в сторону масс (гл. 5) имело серьезные технические последствия. Пока историки сосредоточивались на деяниях великих, им практически не приходилось делать подсчетов. Но стоило им всерьез заинтересоваться проблемами экономического развития, социальных изменений и историей целых групп населения, вопросы численности и процентного соотношения приобрели невероятную важность. Специалисты по экономической и социальной истории, обратившиеся к опыту общественных наук, убедились, что количественный элемент занимает существенное место и в экономике, и в социологии. Значит, историкам, намеревавшимся заняться теми же вопросами, что экономисты и социологи, некуда было деваться: либо использовать методы этих дисциплин, либо по крайней мере проверять их пригодность. Другая причина носит чисто технологический характер. В 1960-е гг. компьютеры

стали дешевле, доступнее и «умнее», а спектр обрабатываемых данных и выполняемых операций быстро расширялся, что соответствовало потребностям исторического исследования. В результате целый ряд количественных подсчетов, которые человек не способен произвести вручную, впервые стал практически возможен. В этой главе я постараюсь обрисовать сферу применения количественных методов и показать, насколько они изменили методологию исторического исследования.

## I

Причиной появления количественных методов стал тот факт, что историкам, делающим количественные выводы, стоит, по крайней мере, формулировать их на основе подсчетов, а не оценки «на глазок». Приведу два простых примера, чтобы продемонстрировать в чем тут разница. Во-первых, было не вполне логично предположить, что средний рост британцев за последние двести лет увеличился благодаря улучшению питания и профилактике заболеваний. Но только когда Родерик Флауд и его коллеги провели систематическое исследование записей о вербовке в армию и данных благотворительных организаций, стало ясно, что долговременная тенденция к увеличению роста в середине XIX в. сменилась на противоположную или что общие цифры за XVIII в. демонстрируют гигантский разрыв между аристократией и бедняками; как не без гордости заметили авторы, это была «первая попытка создания антропоцентричной истории Британии и Ирландии»<sup>1</sup>. Мой второй пример связан с более острым вопросом – проблемой атлантической работорговли. До недавнего времени историки считали, что общее число африканцев, перевезенных в Новый Свет с XV по XIX в., составило от 15 до 20 млн. В основе этой цифры лежали в основном догадки, высказанные специалистами в XIX в., многие из которых были активными участниками движения за запрет работорговли. В своем количественном исследовании «Атлантическая работорговля: перепись» (1969), Филип Куртин приходит к выводу, что эта цифра сильно преувеличена. После критической оценки и суммирования данных, имеющихся по отдельным периодам и регионам, охваченным работорговлей, он показал, что общее число рабов колебалось от 8 до 10,5 млн. человек. Это уточнение никак не связано с моральной оценкой работорговли: какова бы ни была общая цифра, это явление остается грязным пятном на репутации западной цивилизации.

---

<sup>1</sup> Roderick Floud, *Height, Health and History: Nutritional Status in the United Kingdom, 1750-1980*, Cambridge University Press, 1990, p.29.

Но цифры, полученные Куртином, впервые дают солидную основу для оценки воздействия работорговли на общества тропической Африки и обеих Америк<sup>1</sup>.

В ходе своей работы историки делают количественные выводы чаще, чем может показаться на первый взгляд. Очевидно, вопросы вроде: каков был доход Карла I в 1642 г. или сколько людей проголосовало за либеральную партию на всеобщих выборах 1906 г. – требуют настолько точного ответа, насколько позволяют источники, и читатель солидного научного труда не удовлетворится меньшим. Но многие из более широких обобщений, которые обычно делают историки, также по сути носят количественный характер – например, британский рабочий класс к 1914 г. был грамотным или в раннее новое время английские женщины поздно выходили замуж. Такие формулировки могут отражать наблюдения вдумчивого современника, или быть результатом сопоставления ряда хорошо документированных случаев. Но можем ли мы быть уверены, что современник не ошибался, а приведенные случаи носят типичный характер? Только количественный анализ может развеять резонные сомнения относительно подобных выводов, показав, насколько распространенной была грамотность и в каком возрасте женщины действительно вступали в брак. До недавнего времени большинство историков не слишком охотно воспринимали этот аргумент. В 1940-х гг. Дж.М.Тревельян оценивал фактологическую базу своей научной специализации следующим образом:

«Обобщения, составляющие неотъемлемую часть работы специалиста по социальной истории, неизбежно основываются на небольшом количестве конкретных случаев, которые считаются типичными, но не могут отразить истину во всей ее полноте и сложности»<sup>2</sup>.

Подобный метод вызывает вопросы, ведь выборку очень просто сделать таким образом, чтобы отобранные случаи соответствовали гипотезе исследователя, а значит, вывод может оказаться недостоверным. Сегодня данные историков, подобно Тревельяну использовавших качественные методы, подвергаются все большей модификации и уточнению благодаря количественному анализу данных, отражающих состояние общества в целом. Это позволяет выявить не только общую тенденцию, но и вариации и исключения, раскрывающие специфический опыт отдельных общин и групп. Так, важность работы Куртина о работорговле состоит не только в установлении общих

---

<sup>1</sup> Цифры Куртина стали предметом продолжающихся споров среди специалистов по количественным методам. См.: Paul E. Lovejoy, "The volume of the Atlantic slave trade: a synthesis", *Journal of African History*, XXIII, 1982, pp.473-501; J.Inikori (ed.), *Forced Migration*, Hutchinson, 1982.

<sup>2</sup> G.M.Trevelyan, *English Social History*, Longman, 1944, p.viii.

цифр, но и в определении районов концентрации этого промысла в XVIII в., особого урона, которые понесли Ангола и область дельты Нигера по сравнению с другими регионами, откуда вывозились будущие рабы. Наконец, самой амбициозной задачей количественных исследований является освещение какого-либо крупного процесса в целом путем оценки и сопоставления всех относящихся к нему факторов: почему в XVIII в. население Англии столь радикально увеличилось? Какое воздействие оказало строительство железных дорог в середине XIX в. на экономику США? В таких случаях количественные методы претендуют не просто на роль вспомогательного инструмента, но на центральное место в историческом исследовании.

За последние сорок лет к количественным исследованиям были привлечены огромные научные силы, разрабатывались все более сложные методы статистического анализа. Результаты этой работы часто преподносятся в узкотехнической, недоступной для неспециалистов форме – достаточно заглянуть в любой из последних номеров “Economic History Review” или “Journal of Economic History”, чтобы в этом убедиться. Это, несомненно, создает проблемы для историков, не использующих количественные методы: с одной стороны, они не очень-то настроены принимать эти результаты на веру, с другой – им слишком хорошо известно, какое значение сегодня придается любому количественному анализу. Но чтобы понять, откуда берутся данные для количественных исследований, да и общих методов их применения, специальных знаний не требуется. Не нужно вдаваться в технические подробности, чтобы выявить сильные и слабые стороны этих методов, показать, каких результатов можно достичь с их применением, а каких – нет.

## II

Область, где количественные методы особенно необходимы и где они, несомненно, дали наибольшую отдачу, – это историческая демография. Демография без цифровых данных – абсурд, так что в этой сфере специалисты по количественным исследованиям могут с полным основанием считать себя незаменимыми. Историческая демография отнюдь не ограничивается простым подсчетом численности населения данной территории в разные периоды прошлого – хотя и это непросто в отсутствие надежных данных переписей. Разбивка населения по возрастам, полу и размеру хозяйства важнее, чем общая численность. Такие подсчеты позволяют выявить соотношение работающих и иждивенцев, процент хозяйств с использованием труда домашних слуг и другие показатели, представляющие ценность для

исследователей экономических и социальных вопросов. Самой сложной задачей специалиста по исторической демографии является установление причин изменений в составе населения или их отсутствия. Это первый шаг к определению уровней рождаемости, смертности и количества браков. Каждый из этих «показателей жизнедеятельности» в свою очередь испытывает влияние множества различных факторов, определяемых с разной степенью сложности – распространение контрацепции и количество абортов, возраст вступления в брак и количество внебрачных рождений, воздействие голода и эпидемий и т.д. Многих историков такого рода исследования привлекают тем, что позволяют раскрыть закономерности, относящиеся к обществу в целом, а не к одному из его срезов, получившему освещение в описательных источниках. В отношении доиндустриальной эпохи, уровень развития которой был гораздо ближе к простому поддержанию жизнедеятельности, чем уровень современного общества, демографию можно считать определяющим фактором социальной и экономической жизни. Поэтому историческая демография занимает центральное место в концепции «тотальной истории» в духе школы «Анналов», представители которой сосредоточивают усилия в первую очередь на периоде раннего нового времени<sup>1</sup>.

Историческая демография использует два основных вида источников. Первый – данные о численности всего населения страны или общины в конкретный момент времени. Наличие таких данных составляет основу современных переписей населения, изобретенных в Скандинавии в середине XVIII в. В Британии общенациональные переписи проводятся раз в десять лет начиная с 1801 г., и, согласно общепризнанному мнению, после 1841 г. (когда впервые стала указываться фамилия каждого) погрешности в общих цифрах населения приобрели статистически несущественный характер. Из более ранних периодов до нас дошли другого рода списки – налоговые ведомости, записи в церковноприходских книгах, заявления о политической лояльности и т.п. Однако, хотя по идее эти документы должны были охватывать все население, на практике это, как правило, было не так, причем уровень погрешности неясен и не отвечает каким-либо закономерностям. Поскольку переписи были введены сравнительно недавно, чрезвычайно трудно, к примеру, установить связь между демографическими изменениями и началом индустриализации в Британии в конце XVIII в. И здесь слово за вторым видом источников – последовательными записями о «жизнедеятельности» в определенной местности. Для истории Англии наиболее важная категория таких источников –

---

<sup>1</sup> См., например: Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasants of Languedoc*, University of Illinois Press, 1974.

приходские книги, которые велись священниками англиканской церкви, начиная с 1538 г., когда им было законодательно предписано регистрировать все крещения, свадьбы и похороны в своем приходе; эта система просуществовала до введения гражданской регистрации в 1837 г. Взяв за основу приходские книги, Э.А.Ригли и Р.С.Скоуфилд рассчитали общенациональный уровень рождаемости, смертности и вступлений в брак, а затем использовали эти данные для установления численности населения Англии с середины XVI в. до 1801 г. В результате им удалось с большей точностью выделить небольшие вариации в динамике роста населения и продемонстрировать преобладающее влияние изменений в количестве заключенных браков на долгосрочный уровень этого роста<sup>1</sup>.

Работа Ригли и Скоуфилда является примером *агрегативного* анализа, то есть обработки суммарных данных. Но те же самые авторы применили к приходским книгам и совершенно иной подход, основанный на том, что каждая запись включает имена конкретных людей. Таким образом, можно реконструировать демографическую историю прихода с точки зрения роста и упадка входящих в него семей. Эта методика, носящая название «восстановление семей», является примером номинативного анализа, то есть анализа, основанного на именах, а не суммарных цифрах. Это крайне трудоемкий процесс: на реконструкцию семейной истории одного прихода, состоящего из 1000 человек в течение 300-т лет требуется примерно 1500 часов, или годовой объем работы<sup>2</sup>. Но такой метод обладает тем преимуществом, что позволяет выявить закономерности рождаемости и смертности с большей подробностью, а также в конкретном социально-экономическом контексте. Информация о том, что уровень рождаемости повысился, а смертность понизилась, сама по себе мало что дает для понимания причин изменения численности населения; но хорошее исследование по реконструкции семей показывает, что повышение рождаемости было связано, скажем, со снижением возраста, в котором женщины вступали в первый брак, или уменьшением числа женщин, всю жизнь остававшихся незамужними. Эти данные, в свою очередь, можно проанализировать в свете условий, преобладавших в данной местности<sup>3</sup>.

Вторая область, где количественные методы доказали свою важность, – это история социальной структуры общества. На практике эта область тесно связана с исторической демографией, поскольку обе они

---

<sup>1</sup> E.A.Wrigley and R.S.Shofield, *The Population History of England, 1541-1871*, Arnold, 1981.

<sup>2</sup> E.A.Wrigley (ed.), *An Introduction to the English Historical Demography*, Weidenfeld & Nicolson, 1966, p.97.

<sup>3</sup> См., например, подробный анализ данного метода в: David Levine, *Family Formation in an Age of Nascent Capitalism*, Academic Press, 1977, pp.153-174.

в основном пользуются одними и теми же источниками. Любой источник, содержащий список всего населения или записи о его «жизнедеятельности», открывает потенциальную возможность разбивки населения по социальным группам. Проще всего это сделать, если группы определяются по полу и возрасту. Но историки становятся все изобретательнее в искусстве вычленять и другие аспекты социальной структуры из демографических данных. Одним из таких аспектов является изменение размера и структуры домохозяйств. Данные анализа гражданских записей и «восстановления семей» полностью опровергли традиционное мнение, что для доиндустриального общества Западной Европы были характерны большие, сложные домохозяйства «расширенно-семейного» типа<sup>1</sup>. С середины XIX в. вопросы, задаваемые при переписях населения, отличались все большим разнообразием и точностью, и, следовательно, количественному анализу может быть подвергнут весь спектр социальных вопросов – род занятий, социальное положение, религиозная принадлежность, миграция из деревни в города и т.д.<sup>2</sup> Основной предпосылкой «новой городской истории» в США стала возможность реконструкции меняющейся социальной структуры городского населения путем анализа рукописных листов всеамериканских переписей в сочетании с номинативными данными (прежде всего архивами налоговой службы, городскими справочниками и записями о регистрации рождений, браков и смертей)<sup>3</sup>.

На первый взгляд, может показаться удивительным, что количественные методы находят применение и в области *политической истории*. Ведь, в конечном счете, ее объектом являются «уникальные» события, действия и мотивы отдельных политиков. Но стоит расширить масштаб исследований до уровня политической системы в целом, как в дело вступают количественные методы. Это особенно очевидно на примере исследований поведения электората. Псефология – изучение современных выборов – это во многом работа с цифрами, и анализ выборов прошлого также требует количественного подхода. Конечно, за период до 1950-х гг., когда получили распространение опросы общественного мнения, выявление политических пристрастий электората было связано с большими трудностями (многие утверждают, что они сохраняются и при анализе сегодняшних выборов). Но у историка есть преимущества, которых лишены современные псефологи. Так, до принятия Закона о голосовании 1872 г. парламентские

---

<sup>1</sup> Peter Laslett (ed.), *Household and Family in Past Time*, Cambridge University Press, 1972.

<sup>2</sup> Методологические аспекты такого анализа в деталях рассматриваются в: E.A. Wrigley (ed.), *Nineteenth Century Society*, Cambridge University Press, 1972.

<sup>3</sup> См., например: Leo F. Schnore (ed.), *The New Urban History*, Princeton University Press, 1975.

выборы в Британии проводились на основе открытого голосования, и каждый поданный голос регистрировался отдельно. Проанализировав эти списки в сочетании с другими номинативными данными о доходе, социальной и религиозной принадлежности избирателей, можно сделать обоснованные выводы о социальной базе политических партий в Британии XIX в.<sup>1</sup>

Количественные методы с успехом используются и для решения другой задачи политической истории – изучения политических элит. Было бы слишком просто строить изображение элиты – да и любой социальной группы – на основе нескольких хорошо известных биографий. Но если речь идет о четко очерченной элитарной группе – например, членах палаты общин, – можно собрать биографические данные о всех парламентариях (см. с. 111). Именно это стало главным вкладом Нэмира в развитие исследовательских методов. Историки, шедшие по его стопам, лишь подвергали эту «коллективную биографию» более жесткому количественному анализу. По-настоящему оригинальным достижением специалистов по количественным методам стало изучение политического поведения – а не происхождения – членов законодательных органов. В большинстве современных парламентов поданные голоса регистрируются: в палате общин полные поименные списки существуют с 1836 г. Их можно систематизировать по характеру обсуждаемых вопросов и сравнить с обобщенными биографическими данными, тогда прояснится база поддержки или противостояния определенной политической линии. Такого рода исследования особенно распространены в США в рамках модного течения «новой политической истории»<sup>2</sup>.

И наконец, количественные методы оказали решающее влияние на экономическую историю. Причины этого очевидны. Экономика, как и демография, в большой степени связана с цифровыми данными. Главные элементы экономической системы – цены, доходы, производство, инвестиции, торговля и кредит – поддаются точному исчислению; более того, оно просто необходимо, если мы хотим четко понять механизм действия этой системы. С конца XIX в., когда экономическая история выделилась в отдельную дисциплину, специалисты в этой области занимались сбором количественных данных обычно в качестве одного из аспектов своих исследований. Однако лишь в последние сорок лет историки сумели справиться с проблемой построения

---

<sup>1</sup> См.: J.R.Vincent, *Pollbooks: How Victorians Voted*, Cambridge University Press, 1967.

<sup>2</sup> Allan G. Bogue, “The new political history”, в: Michael Kammen (ed.), *The Past Before Us*, Cornell University Press, 1980. О применении количественных методов в изучении английской истории см.: W.O.Aydelotte, *Qualification in History*, Addison Wesley, 1971.



широкомасштабных статистических схем, часто на основе разнообразных и несовершенных источников, с целью прояснения долгосрочных тенденций экономического развития. В Британии наиболее последовательную попытку такого рода предприняли Б.Р.Митчелл и Филлис Дин в своем «Британском историко-статистическом сборнике» (1962). Но некоторые французские историки раздвинули рамки этого подхода до предела: сторонники «серийной истории» (*l'histoire serielle*) стремятся к созданию долгосрочных статистических схем развития цен, урожайности, уровней ренты и доходов, которые в совокупности позволят им выстроить модель развития Франции – а в конечном счете, и всей Европы – в период раннего нового времени<sup>1</sup>. Амбиции американской «новой экономической истории» (или «клиометрии») простираются еще дальше; ее мы подвергнем критическому анализу в пятом разделе данной главы.

Некоторые думают, что широкомасштабное применение количественных методов не оставляет место для традиционных навыков исторического исследования и требует появления ученых «нового типа». Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности. Статистические технологии заработают, только если рассматривать их как *дополнение* к инструментарию историка и подвергать той же проверке, что и другие исследовательские методы. Учитывая особое доверие, которое современное общество испытывает к любым цифровым данным, необходимость в проверке их надежности, по крайней мере, столь же велика, как и в случае с письменными источниками. После того, как достоверность цифр установлена, их интерпретация и применение для решения конкретных исследовательских задач требует тех же качеств – аналитических способностей и интуиции, – что и любые другие данные. На каждой из этих двух стадий возникают свои проблемы.

Историк, которому посчастливится наткнуться на готовую статистическую сводку – скажем, таблицу импорта-экспорта или данные ряда переписей, – сэкономит себе массу времени и усилий. Но надежность таких источников не следует принимать на веру. Нам необходимо знать, каким именно способом эти цифры сводились воедино. Не повлиял ли на них личный интерес непосредственного исполнителя – например, не преуменьшил ли налоговый инспектор собранную им сумму, чтобы прикарманить разницу, не взял ли эти цифры с потолка кабинетный бюрократ и не ошибся ли при подсчете малограмотный чиновник.

---

<sup>1</sup> Наиболее четкое обоснование этого подхода на английском языке содержится в: Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Territory of the Historian*, Harvester, 1979, ch.2.

Все эти сомнения возникают в связи с впечатляющими на вид статистическими сводками, публиковавшимися британской колониальной администрацией в Африке, которые часто основывались на отчетах необразованных вождей. Насколько велика вероятность ошибок при их копировании, когда эти данные кочевали между разными уровнями бюрократической машины? Может быть, два разных чиновника два раза внесли в сводку одну и ту же цифру? Если статистические сводки формировались на основе вопросников – при переписях и социальных исследованиях, – мы должны знать, в какой форме ставились эти вопросы, чтобы установить вероятность путаницы при ответах, и учитывать, что некоторые из них – например, о доходах и возрасте – могли быть не всегда откровенными. Только исследование обстоятельств составления сводки с применением традиционных исследовательских навыков может дать ответ на эти вопросы.

Зачастую историков интересует не столько отдельные цифровые сводки, сколько их сопоставление за конкретный период времени, достаточный, чтобы выявить определенную тенденцию. Соответственно, требуется проверка не только надежности, но и сравнимости цифровых данных. Какой бы точной ни была каждая из сводных цифр в хронологической таблице, они составляют статистическую последовательность лишь при полной совместимости между собой, то есть если они отражают одну и ту же переменную. Стоит слегка изменить статистическую базу для расчета, и она уже совершенно непригодна для сравнительного анализа. Классификация, которая на бумаге выглядит вполне четкой и связной, может по-разному применяться в отдельные моменты времени и в разных местах, и это одна из причин, почему к сравнительной криминальной статистике следует относиться с большой осторожностью. Или, например, постоянное уточнение графы «род занятий» в каждой английской переписи населения начиная с 1841 г. означает, что выявление уровней «роста» или «упадка» отдельных профессий – весьма трудная задача. Даже самые простые на первый взгляд статистические таблицы содержат подобного рода ловушки. Полные статистические сводки по английской торговле существуют с 1696 г., когда была учреждена должность генерального инспектора по импорту и экспорту. Но поскольку таблицы цен, составленные первым генеральным инспектором, использовались почти в неизменном виде до конца XVIII в., в течение которого некоторые цены повысились, а другие упали, данные этой статистики в первоначальном виде нельзя использовать для расчета изменений торгового баланса<sup>1</sup>. Современные статистические таблицы тоже не всегда проходят тест на совместимость. Возьмем, к

---

<sup>1</sup> G.N.Clark, *Guide to English Commercial Statistics, 1696-1782*, Royal Historical Society, 1938.

примеру, официальный индекс стоимости жизни, отражающий соотношение между стоимостью типовой «потребительской корзины» и текущим уровнем зарплаты. В Британии этот индекс был впервые введен в употребление в 1914 г., и по идее во время Великой депрессии 1930-х гг. он должен был показать снижение уровня жизни. Но в межвоенный период ценовая составляющая индекса основывалась на той же «потребительской корзине», хотя структура потребления уже изменилась, а значит процентное содержание отдельных товаров (свежих овощей, мяса, одежды и т.д.) образца 1914 г. уже не соответствовало их реальному соотношению в бюджете средней семьи<sup>1</sup>.

Однако большинство количественных исследований не основаны на готовой статистике. Лишь в конце XVII в. начали обсуждаться преимущества статистического подхода к вопросам общественной жизни, только в XIX в. были выделены необходимые трудовые и финансовые ресурсы для его воплощения в жизнь, а уже в XX в. государственные учреждения и частные организации стали собирать статистическую информацию действительно в полном объеме. По большинству интересующих историков проблем цифровые данные, скорее всего, придется по крупицам собирать из уцелевших материалов. Выстроить количественные данные таким образом, чтобы из них можно было сделать обоснованные статистические выводы – дело отнюдь не простое. Пока историк выискивает данные из разнообразных и фрагментарных источников, перед ним раз за разом будут возникать проблемы, связанные с их достоверностью и совместимостью. Систематизация данных в форме таблиц тоже становится задачей историка; а ее принципы связаны скорее с вопросами исследовательского анализа, чем статистическими методами.

Самая главная проблема при составлении статистики, это проблема отбора, которая приобретает особую остроту. Конечно, есть количественные исследования, тематика которых сформулирована так узко, что позволяет привлечь все относящиеся к ней данные: примером является составленная У.О.Эйделоттом на основе количественных методов «коллективная биография» всех членов парламента с 1841 по 1847 г. (период пребывания сэра Роберта Пиля на посту премьер-министра, который привел к расколу партии тори из-за хлебных законов)<sup>2</sup>. Но, как мы уже убедились, одной из привлекательных сторон

---

<sup>1</sup> B.R.Mitchell and Phyllis Deane, *Abstract of British Historical Statistics*, Cambridge University Press, 1962, p.466. Анализ проблем, связанных с индексом стоимости жизни см. в: Roderick Floud, *An Introduction to Quantitative Methods for Historians*, 2nd edn., Methuen, 1979, pp.125-129.

<sup>2</sup> W.O.Aydelotte, "On the business interests of the gentry in the Parliament of 1841-47" в: G. Kitson Clark, *The Making of Victorian England*, Methuen, 1962. См. также: W.O.Aydelotte, *Qualification in History*, ch.5.

количественного подхода является предоставляемая им возможность для выводов не только о небольших элитах, но и о продолжительных периодах развития целых классов, или даже всего общества. А поскольку гигантская бюрократическая машина большинства современных государств способна сравнительно легко собирать статистические данные общенационального масштаба по любым вопросам, ни один историк, сколько бы помощников и компьютерного времени он ни имел в своем распоряжении, не способен привлечь все первоисточники, необходимые для количественного исследования, скажем, размеров фермерских хозяйств в тюдоровской Англии или личных доходов британцев в начале викторианской эпохи. Современные статистики разработали надежную методику получения случайной выборки, при которой каждый из элементов, входящих в целое, имеет равные шансы попасть в выборку. В исторических исследованиях буквальное применение этой методики не всегда целесообразно, но ученый обязан по крайней мере гарантировать, чтобы каждая составляющая была представлена в выборке. В рамках одного из проектов для компьютерного анализа были подготовлены отчеты счетчиков, проводивших перепись 1851 г., с тем чтобы получить ответы на ряд вопросов об экономической и социальной структуре общества, которые не нашли отражения в опубликованном тогда докладе о результатах переписи; в качестве выборки было взято 2 % от общего количества отчетов, представлявшие все население одного из каждых 15-ти «нарезанных» для проведения переписи округов (всего их было 945). Вся собранная в ходе переписи информация об этих 415-ти тыс. человек была загружена в компьютер, и в результате историки получили более ясное представление о различиях в уровне образования, землевладении, устройстве домохозяйств, численности трудовых ресурсов, занятых в различных отраслях, и много других сведений<sup>1</sup>.

За историков, изучающих периоды до XIX в., проблему отбора полностью или частично решило время. Дошедшие до нас фрагменты тоже являются своего рода выборкой из первоначального массива документов, однако необходимо понимать, что она отнюдь не случайна. Некоторые категории документов имеют больше шансов уцелеть, чем другие, поскольку владельцы были больше заинтересованы в их сохранении или обладали для этого лучшими возможностями по причинам, которые способны существенно исказить выборку. Так, в дошедших до нас деловых архивах почти всегда преобладают документы успешных, долговечных компаний, а не предприятий малого бизнеса,

---

<sup>1</sup> Предварительный обзор полученных результатов содержится в: Michael Anderson and others, "The national sample from the 1851 Census in Great Britain", *Urban History Newsletter*, 1977, pp.55-59.

чаще всего становившихся жертвами кризисов. Аналогичная проблема преследовала и Лоуренса Стоуна, исследовавшего историю английской аристократии с 1558 по 1641 г. Хотя у него была какая-то информация обо всех 382-х титулованных особах того периода, процент аристократических семей, чьи бумаги сохранились достаточно полно, не превышал одной трети, и это были в основном семьи богатых графов, а не мелких баронов, чьим владениям в большей степени угрожал распад или раздробление. Стоуну, таким образом, пришлось делать поправку на то, что многие его выводы сделаны на основе нерепрезентативной выборки<sup>1</sup>.

#### IV

Установив, что цифровые данные являются достоверными, взаимно совместимыми и репрезентативными, историк должен сделать так, чтобы они заработали. Иногда цифры дают четкий ответ на поставленный вопрос, и остается лишь найти для них оптимальную изобразительную форму – таблицу, график, гистограмму, плоский «пирог» или пирамиду. Могут понадобиться некоторые элементарные вычисления, например процентного соотношения или средних величин. Результаты исследований по экономической истории в таких вопросах, как экспорт и производство, зачастую могут быть представлены в непосредственном виде, получившем у специалистов название «описательная статистика»; ее прекрасным примером являются сорок с лишним страниц таблиц и диаграмм, приведенных в конце книги Э.Дж.Хобсбаума «Промышленность и империя» (1968), посвященной экономической истории Британии с 1750 г. Но по мере увеличения роли количественных методов истории все больше понимают – важен не столько непосредственный смысл самих цифровых данных, сколько выводы, сделанные на их основе.

Получение этих выводов может быть преимущественно статистическим процессом. Скажем, если речь идет об объемистых подборках экспортной статистики, исследователь, возможно, захочет выделить долгосрочную тенденцию роста или упадка, их регулярные, а также случайные колебания, вызванные войной, мором, зигзагами государственной политики; осуществить это можно лишь с помощью сложной методики анализа временных рядов<sup>2</sup>. В своей «обратной проекции» численности населения Англии с XIX по XVI в. Ригли и Скоуфилд используют еще более сложные статистические методы; мало

---

<sup>1</sup> Lawrence Stone, *The Crisis of the Aristocracy, 1558-1641*, Oxford University Press, 1965, p.130.

<sup>2</sup> Floud, *An Introduction to Quantitative Methods for Historians*, pp.88-122.

кто из историков сможет преодолеть построенный ими лабиринт. С точки зрения историка, особенно полезной статистической процедурой является установление коэффициента корреляции, то есть демонстрация связи между двумя переменными. Зачастую бывает необходимо знать, существует ли такая связь и к какому типу она относится – скажем, между численностью партий и поведением электората или между продолжительностью брака и количеством потомства. Если для каждой переменной имеются надежные статистические данные, связь между ними может быть установлена статистическими методами. В такого рода исследованиях огромную помощь может оказать компьютер. Представим, что исследователь собрал сведения по 12-ти параметрам (например возраст, образование, партийная принадлежность, избирательный округ, доход, род занятий, и характер голосования по 6 различным вопросам) на каждого из 500-т членов законодательного органа и хочет сравнить их по каждой из 12-ти переменных. Вычислить необходимые корреляции вручную практически невозможно, а правильно запрограммированный компьютер распечатает необходимые таблицы за несколько минут<sup>1</sup>.

В результате может обнаружиться корреляция, о которой исследователь и не подозревал, открывающая новое плодотворное направление исследования. Тем не менее, не стоит преувеличивать значение статистически подтвержденной корреляции; она не учитывает возможность простого совпадения, не показывает, какая из переменных повлияла на другую; может случиться и так, что они обе предопределяются воздействием третьей, еще не выявленной переменной. Решая все эти вопросы, историк должен опираться на собственный здравый смысл, знания о периоде и связанных с ним проблемах.

Но большинство историков, строящих выводы на основе количественных данных, вообще не нуждаются в статистических методах; они трактуют цифру как индикатор или «индекс» существования другого, менее осязаемого феномена, о котором нет прямой количественной информации. Очень хочется сделать вывод о политических пристрастиях, исходя из статистики электорального поведения, о влиянии книги – из объема ее продаж или о глубине религиозности – из отчетов о пасхальных причастиях, но ни один из этих выводов нельзя принять на веру, а их обоснованность не зависит от статистических принципов. Каждый из них зависит от научно обоснованного знания о других факторах, способных оказать влияние на цифровые данные. Не было ли подкупа избирателей, и не привлекала ли их харизма личностей, а не программа партии? Может быть, книга раскупалась под

---

<sup>1</sup> Я в упрощенном виде привожу пример из: Edward Shorter, *The Historian and the Computer*, Prentice Hall, 1971, pp.5-8.

влиянием моды и затем ставилась на полку непрочитанной? Существует ли уверенность, что причастие имело для сельских прихожан такое же значение, как и для священников, составлявших отчеты?<sup>1</sup> Привлечение демографических данных к истории семей также превратилось в минное поле. Хотя бы один пример: без солидного подкрепления качественными данными нельзя утверждать, что небольшая разница в возрасте между мужем и женой (что уже наблюдалось в Англии периода раннего нового времени) указывает на более нежные и дружеские отношения в браке<sup>2</sup>. Таким образом, там, где цифровые данные связаны с крупной научной проблемой, количественные методы как таковые порой бесполезны. Как признают трое ведущих специалистов в этой области:

«Статистические манипуляции позволяют лишь пересистематизировать данные; они не могут, за исключением самого элементарного уровня, дать ответы на общие вопросы, а их значение с точки зрения интересующих историков проблем интерпретации – задача не арифметики, а логики и дара убеждения»<sup>3</sup>.

Статистика может служить выявлению и прояснению конкретной тенденции; но то, как мы интерпретируем эту тенденцию, ее значение и причины возникновения – вопросы научной оценки, основанные на опыте исторических исследований, которого лишен ученый, чья подготовка связана только с количественными методами.

## V

Существует, однако, еще один количественный подход к истории, сторонники которого утверждают, что им в какой-то степени удалось преодолеть указанные ограничения, вызвав тем самым горячие споры. Для этого подхода, возникшего в Соединенных Штатах в 1960-е гг., его создатели придумали термин «клиометрия», и к настоящему времени он стал общепринятым, хотя те, кто относится к нему с осторожностью, предпочитают не забывать о сопровождающих это слово кавычках. Клиометрия исходит из тезиса, что некоторые области человеческой деятельности можно лучше всего понять как систему, в которой и сами переменные, и связи между ними поддаются количественному анализу; если величина одной из переменных меняется, можно вычислить, какое воздействие это оказывает на систему в целом. Наиболее подходящей для такого подхода областью человеческой

<sup>1</sup> Peter Burke, *Sociology and History*, Allen & Unwin, 1980, p.40.

<sup>2</sup> Обсуждение этой и других подобных тем см. в: Michael Anderson, *Approaches to the History of the Western Family, 1500-1914*, Macmillan, 1980, pp.33-38.

<sup>3</sup> W.O.Aydelotte, A.G.Bogue and R.W.Fogel (eds.), *The Dimensions of Quantitative Research in History*, Princeton University Press, 1972, pp.10-11.

деятельности является экономика. На самом деле клиометрия – это просто красивая этикетка для течения, часто называемого «новой экономической историей». Его источником стала эконометрия – разработанная статистиками методика анализа современной экономики и прогнозирования ее развития в будущем. При переходе от известных переменных к неизвестным экономист использует теорию о взаимосвязи между элементами экономической системы (капиталом, зарплатами, ценами и т.д.); экономическая теория, выраженная в математических терминах, называется моделью. Эконометристы занимаются проверкой и применением моделей с помощью статистических инструментов. Например, подобная модель используется при анализе расчетов необходимых вложений в экономику (или отдельную отрасль) для достижения определенного уровня производства.

Для историков, обладающих необходимой статистической подготовкой, привлекательность эконометрических методов очевидна. Они предвкушают перспективу заполнения некоторых пробелов в нынешнем историческом знании, связанных с отрывочностью надежных количественных данных о прошлом. Если же довести их до логического предела, эти методы позволят историкам оценить экономический эффект конкретной политики или нововведения, просчитав, что *случилось бы*, если бы политика не была проведена в жизнь, а нововведение оказалось непродуктивным: систему можно реконструировать, учитывая иную величину одной или более переменных. Так, по крайней мере, утверждают наиболее продвинутые «клиометристы». Возьмем общепризнанный эталонный образец: в работе «Железные дороги и экономический рост» (1964) Р.У.Фогель попытался измерить вклад железнодорожного строительства в экономику США в XIX в., построив гипотетическую (или «контрфактическую») модель того, как бы выглядела американская экономика в 1890 г., если бы железные дороги не были построены. Он пришел к выводу, что даже без всякого дополнительного строительства каналов и шоссе, валовой национальный продукт был бы меньше всего на 3,1 %, а 76 % реально обрабатываемых в 1890 г. земель все равно бы возделывались. До этого большинство историков, включая самого Фогеля, считали, что железные дороги оказали куда большее воздействие на динамику развития американской экономики. Фогель утверждал, что контрфактические предположения подразумеваются во многих научных оценках, а он лишь доказал ошибочность данного конкретного вывода, подвергнув его жесткой статистической проверке<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> R.W.Fogel, “The new economic history: its findings and methods”, *Economic History Review*, 2nd series, XIX, 1966, pp.642-656. Примером применения этого подхода к истории Великобритании является: G.R.Hawke, *Railways and Economic Growth in England and Wales, 1840-1870*, Oxford University Press, 1970.



Однако по нескольким причинам к работам «клиометристов» следует относиться с осторожностью. Для историков, считающих, что вопросы для научного исследования возникают в результате погружения в максимально широкий круг первоисточников, «клиометрический» подход просто недопустим, ведь его отправной точкой всегда служит четко очерченная проблема, сформулированная в теоретическом виде. Правда, как мы отмечали в гл. 8, в принципе, не существует причин, почему историк не должен обращаться к теории для выявления новых вопросов или рассмотрения уже известных проблем под иным углом зрения. Проблема кроется в том, что само по себе обращение к теории не придает достоверности полученным результатам; неправильно выбранная теория, естественно, приведет к искаженным выводам. Это, несомненно, относится и к «новой экономической истории», ведь в этой области существует довольно богатый выбор: как минимум три солидные экономические теории – неоклассическая, марксистская и кейнсианская. Но есть и другие возражения против экономических теорий. Историком они внушают подозрения, поскольку исходят из предпосылки, что всеми людьми, стремящимися удовлетворить свои материальные потребности, движет «рациональная» мотивация, вроде максимализации прибыли и минимизации расходов. Однако зачастую именно это и требуется доказать, а не принимать как аксиому: потребители иногда приобретают не самый дешевый товар под влиянием призывов «покупать британское» или бойкотировать еврейские магазины; работодатели порой повышают зарплату и улучшают условия труда, видя себя в роли отца-покровителя своих работников. Теория, хорошо объясняющая экономическую деятельность людей в «идеальных» условиях, вряд ли выдержит проверку социальными и культурными факторами, присутствующими в конкретной исторической ситуации, а историки, настаивающие на применении такой теории, поскольку их интересуют чисто экономические проблемы, просто демонстрируют «взгляд из туннеля» в особо тяжелой форме.

Другое возражение касается тех эконометрических исследований, которые, подобно работе Фогеля о железных дорогах, охватывают экономику в целом. Модель, учитывающая каждую переменную, просто недоступна человеческому разуму; польза моделирования заключается как раз в способности упрощать реальность. Разумное требование к модели состоит в том, чтобы она включала все существенные переменные. Но если речь идет о национальной экономике в целом, даже это требование на практике удовлетворить чрезвычайно трудно, и при этом возникает злободневный вопрос – какие именно переменные следует отобрать для включения. Сам Фогель подвергся критике за то, что не включил в свою модель результаты воздействия

железнодорожного строительства на мобильность трудовых ресурсов и технический прогресс в других отраслях экономики. Аналогичным образом, если один фактор (железные дороги) исключается из модели для нужд контрфактического анализа, учесть все связанные с этим изменения других переменных, прямые и косвенные, практически невозможно; все их рассчитать нельзя, и вопрос о том, действительно ли Фогель рассчитал наиболее важные из них, остается открытым<sup>1</sup>.

В связи с работой Фогеля особую остроту приобретает третье возражение против клиометрии – она слишком сильно опирается на заключения, не поддающиеся проверке. Сама по себе статистика – не более чем методика получения выводов на основе количественных данных, но большинство из них, таких, как упомянутые ранее коэффициент корреляции или анализ временного ряда, это математические выводы, и можно показать, каким образом они следуют из цифровых данных. Проблема с клиометрией заключается в том, что слишком многие выводы не относятся к этой категории: они обоснованы только, если обоснована сама модель, на которой они построены. А значит, возникает опасность, что историк, вместо систематической проверки теории на соответствие фактическим данным, принимает ее на веру и использует для создания новых количественных данных. Каждое звено в цепи аргументации, с помощью которой из известных цифр конструируются неизвестные, возможно, изобилует теоретическими умозаключениями. Высказанное возражение относится прежде всего к контрфактным моделям, вроде созданной Фогелем гипотетической картины американской экономики 1890 г., которая по определению не поддается проверке; но оно касается и не столь виртуозных схем, например, расчета общего уровня инвестиций на основе количества миль построенной железнодорожной линии. Беспечный читатель может легко забыть, что расчеты «клиометристов» имеют под собой не больше основания, чем теории, на которых они построены<sup>2</sup>.

Последний аргумент, особо подчеркиваемый критиками-«традиционалистами», состоит в том, что «клиометрические» модели имеют тенденцию к серьезному, хотя и непреднамеренному искажению процесса отбора источников. Ведь, будучи математическими моделями, они принимают во внимание только цифровые данные. Переменные, не входящие в категорию количественных, автоматически исключаются, и в результате выводы могут приобрести крайне искаженный

---

<sup>1</sup> Peter Mathias, “Economic history: direct and oblique” в Martin Ballard (ed.), *New Movements in the Study and Teaching of History*, Temple Smith, 1970, pp.83-84; E.H.Hunt, “The new economic history”, *History*, LIII, 1968, pp.15-16.

<sup>2</sup> John Habakkuk, “Economic history and economic theory”, *Daedalus*, C, 1971, pp.305-322.

характер. Странники клиометрии не всегда готовы встретить этот упрек с открытым забралом. Так, Родерик Флауд пишет:

«Странник «новой» экономической истории сосредоточивается на поддающихся расчету экономических феноменах и использует экономическую теорию, связывающую эти феномены между собой, именно потому, что хочет преодолеть сложность истории и сосредоточиться на тех явлениях, которые лучше всего способны объяснить изучаемые им события»<sup>1</sup>.

Именно этот знак равенства между поддающимися расчету и наиболее существенными переменными и вызывает вопросы. Некоторые «клиометристы» предпочитают проблематичные выводы, сделанные ими на основе количественных данных, четким и ясным фактам, содержащимся в других источниках. В своей крайне противоречивой книге «Время на кресте» (1974) Р.У.Фогель и С.Л.Энгерман, обобщив количественные данные завещаний, плантационных архивов и переписей населения, пришли к выводу, что белые плантаторы Юга в середине XIX в. были «рациональным» и гуманным капиталистическим классом, а их рабы – процветавшей рабочей силой, с которой обращались хорошо. Проигнорировав массу «качественных» данных, содержащихся в личных свидетельствах и переписке, они подверглись полному разгрому со стороны историков, сумевших показать, насколько важны для плантаторов были аристократические, «докапиталистические» ценности, и какому насилию в действительности подвергались их рабы<sup>2</sup>. Как видно из этого примера, не поддающимся расчету обычно являются все те же культурные и социальные факторы, исключаемые из моделей как «иррациональные».

Несомненно, многие историки рассматривают отрицательный резонанс общественности, который вызвала книга «Время на кресте» как приговор всей «клиометрической» школе. Это исследование, очевидно, является хорошей иллюстрацией опасностей, связанных с необоснованными выводами и искажениями при отборе источников. Но «Время на кресте» не типично для клиометрии. Этот подход внес реальный вклад в наше понимание ряда технических проблем экономической истории (что, конечно, не попало в газетные заголовки). В целом же развитие клиометрии позволяет предположить, что спектр таких проблем довольно ограничен и что в попытках ответить на действительно важные вопросы экономической истории она скорее преуспела в освещении конкретных факторов формального порядка, чем в создании обобщающих интерпретаций.

---

<sup>1</sup> Roderick Floud (ed.), *Essays in Quantitative Economic History*, Oxford University Press, 1974, p.2.

<sup>2</sup> См.: Herbert G. Gutman, *Slavery and the Numbers Game*, University of Illinois Press, 1975; Paul David et al., *Reckoning with Slavery*, Oxford University Press, 1976.

## VI

В 1960-х гг. сторонники количественных методов были полны боевого задора. Некоторые из них просто «балдели» от цифр, превращаясь в «наркоманов статистики» (по выражению Лоуренса Стоуна)<sup>1</sup>. Не без самонадеянности они щедро раздавали броские названия вроде «новой политической истории», «новой городской истории» и «новой экономической истории». На какое-то время статус истории как науки был впервые с начала века подтвержден самым недвусмысленным образом; в 1966 г. ведущий американский специалист по количественным методам поспешил объявить, что к 1984 г. научное исследование прошлого достигнет такого уровня, что историки смогут приступить непосредственно к открытию общих законов человеческого поведения<sup>2</sup>. Примерно такие же обещания раздавали и клиометристы. Все это провоцировало некоторых ученых-традиционалистов на столь же крайние высказывания: в 1963 г. председатель Американской исторической ассоциации призвал коллег воздержаться от «молив в храме этой богини-волчицы – КВАНТИФИКАЦИИ» (sic!)<sup>3</sup>. Почти сорок лет спустя амбиции «количественной» истории стали скромнее, сторонники других направлений в меньшей степени воспринимают ее как угрозу, и появилась возможность для более объективного анализа.

Несомненным достижением сторонников количественных методов стало повышение точности многих фактических оценок прошлого, особенно касающихся больших масс людей. В подавляющем большинстве областей исторической науки приблизительные оценки уступили место точным расчетам, выявляющим как общую тенденцию, так и уровень вариаций и отклонений от нормы внутри нее. Это представляет собой явный успех. Более того, сбор крупных массивов количественных данных по ряду вопросов позволил историкам с большей уверенностью делать описательные обобщения. Порой утверждается<sup>4</sup>, что результатом стало лишь повторение очевидных истин, но это не так. Ряд обобщений, ранее считавшихся аксиомой, подверглись полному пересмотру. Так, можно признать полностью доказанным, что типичное английское домохозяйство в XVII-XVIII вв. не принимало форму расширенной семьи, а рабовладение на Юге США накануне Гражданской войны не было убыточным для плантаторов (в этом

---

<sup>1</sup> Lawrence Stone, *The Past and the Present Revisited*, Routledge & Kegan Paul, 1987, p.94.

<sup>2</sup> Lee Benson, *Toward the Scientific Study of History*, Lippincott, 1972, pp.98-104.

<sup>3</sup> Carl Bridenbaugh, "The great mutation", *American Historical Review*, LXVIII, 1963, p.326. Более развернутую критику количественных методов см. в: Jacques Barzun, *Clio and the Doctors*, Chicago University Press, 1974.

<sup>4</sup> G.R.Elton, *The Practice of History*, Fontana, 1969, pp.49-51.

Фогель и Энгерман не ошибаются). Если такие обобщения и носят характер отрицания, а не утверждения, то это связано с тем, что собранные вместе цифровые данные зачастую высвечивают разнообразие процесса или уровень отклонения от нормы, что исключает любые однозначные выводы. Подобный отказ от упрощенного понимания прошлого также является важным шагом вперед.

Существует мнение, что увлечение суммарными данными и тенденциями, подчеркивание общих черт массового поведения за счет индивидуальных факторов и исключений из правил приводит к «дегуманизации» истории. Элтон, к примеру, обнаружил во многих трудах сторонников «новой политической истории» априорное убеждение в том, что характер голосования является условным рефлексом, определяемым экономическими и социальными условиями<sup>1</sup>. Конечно, если обнаружится корреляция, скажем, между интересами парламентариев и бизнесе и характером их голосования, вопрос об их мотивации, качалось бы, можно считать решенным. Этот аргумент следует рассматривать в сочетании с другим похожим замечанием – что количественные исследования искажают наш взгляд на историю, привлекая внимание к тем источникам, что легко поддаются статистическому анализу, и игнорируя остальные; в результате важные научные вопросы ставятся в форме, исключающей всесторонний взгляд. В ходе яростных споров 1960-х гг. относительно уровня жизни британского рабочего класса в период промышленной революции эта проблема проявилась в полной мере: критики количественного подхода показали, что не поддающиеся расчету индикаторы качества жизни представляют не меньшую важность, чем нормы зарплаты и уровень цен<sup>2</sup>.

Однако оба эти замечания имеют смысл только в ситуации, когда все исторические исследования ограничиваются лишь применением количественных методов. Некоторые фанатики с их разговорами о «революции в историографическом сознании» фактически призывали именно к этому<sup>3</sup>, но большинство сторонников количественных методов не требуют для себя исключительных прав. Они скорее всего согласятся с характеристикой своей специализации, высказанной Эйделоттом, Богом и Фогелем:

«Данный подход представляет собой попытку более эффективного использования отдельных фрагментов фактической базы; отобрать данные, что лучше всего поддаются обработке математическими методами, и

---

<sup>1</sup> G.R.Elton, *Political History*, Allen Lane, 1970, pp.48-49.

<sup>2</sup> Обзор этой дискуссии см. в: Arthur J. Taylor (ed.), *The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution*, Methuen, 1975.

<sup>3</sup> François Furet, “Quantitative history”, *Daedalus*, C, 1971, p.160; François Furet, *In the Workshop of History*, Chicago University Press, 1985.

подвергнуть их более тонкому анализу... Ограниченность тематики – это та цена, что мы платим за уверенность в наш их выводах»<sup>1</sup>.

Появление любой новой и эффективной методики приводит на время к некоторому обесцениванию прежних, хорошо знакомых подходов. Но этот этап уже пройден. В современных исследованиях по политической истории действиям и мотивам отдельных государственных деятелей уделяется не меньше внимания, чем до возникновения «новой политической истории». Специалисты по социальной истории дополняют обобщающий количественный анализ «углубленными» исследованиями отдельных общин или эпизодов, по которым имеется обширная документальная база: примером этой тенденции является эволюция Эммануэля Леруа Ладюри от количественных методов в «Крестьянах Лангедока» (1966) к «Монтаю» (1978), работы, ограниченной масштабами одной деревни и основанной на впечатляющей силе показаний очевидцев.

Более скромные запросы «количественного» направления связаны с растущим пониманием, что его вклад в объяснение истории, в отличие от подтверждения исторических фактов, оказался незначительным. Обобщения, полученные в результате анализа цифровых данных, носят скорее описательный, чем интерпретационный характер. Выявить тенденцию, продемонстрировать статистическую корреляцию этой тенденции с другой – не значит *объяснить* ее. Причины и значение событий остаются сферой приложения аналитических навыков историка, владеющего *всеми* источниками, а не только теми, которые поддаются расчету. Применение количественных методов к крупным историческим проблемам приводило к прояснению ряда связанных с ними вопросов, но не «закрытию» темы. Так, после всех количественных исследований об экономическом положении английской аристократии и социальном составе королевской бюрократии при Карле I, историки ничуть не приблизились к консенсусу относительно причин Английской революции XVII в. А значит, историкам предстоит не решение основных вопросов с помощью количественных методов, а разработка новых возможностей синтеза, где статистические выводы будут сочетаться с представлениями традиционной «качественной» истории. В этих ограниченных рамках количественные методы, несомненно, нашли свое место в исторической науке.

---

<sup>1</sup> Aydelotte, Bogue and Fogel, *The Dimensions of Quantitative Research in History*, p.9.

## Глава 10

### Истолкование смысла и теория

Истолкование смысла занимает центральное место в работе историка. Без него первоисточники не «заговорят», и мы никогда не приблизимся к пониманию прошлого. Классический историзм был построен на убеждении, что, сочетая технические методы с интуицией, исследователь может раскрыть смысл исторических текстов и тем самым построить мост через реку времени. Начинаящие историки тратили много лет на совершенствование своих навыков в этой области, прежде чем обратиться к крупным проблемам, связанным с объяснением исторического процесса, а знание текстов оставалось признаком настоящего ученого. Сегодня смысловые изыскания считаются, пожалуй, еще более сложным делом, но центр их тяжести сместился. Для Ранке и его последователей интерпретация смысла была средством к достижению определенной цели – реконструкции деятельности людей и судеб наций; при этом центральное место отводилось источникам, из которых черпались достоверные детали для создания связного рассказа. Нынешние ученые в большей степени исследуют смысл как таковой, считая, что вопрос о том, как люди воспринимали окружающий их мир и в каком виде они представляли свой опыт, вызывает интерес сам по себе. А это значит, что они разрабатывают и другой аспект концепции Ранке. Если он рассматривал смысл текста как сферу деятельности индивида (чьей биографии и взглядам соответственно отводилось центральное место в исследовании), то современные историки особенно ценят коллективное восприятие. Для них ключевым понятием является *культура*, понимаемая в данном случае не как

«высокая» культура, а как система восприятий, характеризующая общество и сплачивающая его членов. Это гигантская сфера для изучения, охватывающая все, начиная от формальных убеждений, выраженных в ритуалах и «правилах игры», до неосознанной логики жестикуляции и внешнего вида.

Историю культуры нельзя назвать особенно новаторским направлением (по сравнению, например, с количественными методами). Интерес и уважение к культурным различиям прошлого полностью соответствует духу историзма, а внимание к смыслу как таковому отвечает преобладающей традиции гуманитарных наук в целом (вспомним, к примеру, литературоведение). Но историки ведут острые споры относительно подходов, отвечающих этой задаче, и в этом плане они открывают для себя неизведанную и загадочную область, где почти нет знакомых ориентиров. В данной главе я постараюсь очертить основные направления истории культуры в широком понимании этого слова и оценить вклад психологии, текстуальной теории и культурной антропологии в эту область. Завершить же я хочу анализом конфликта между недавней модой на историю культуры и общим стремлением к теоретическому осмыслению истории, описанным в гл. 8. История как наука в настоящее время переживает один из периодов борьбы вокруг определения содержания этой дисциплины, и ее исход пока неясен.

## I

Наиболее древней родословной в рассматриваемой сфере обладает история идей или интеллектуальная история. Она включает политическую, общественную и экономическую мысль, теологию, научную мысль, а также ценности и представления, выраженные в собственно исторических трудах (т.е. историографию). В максималистском понимании, особенно распространенном в Соединенных Штатах, история идей является ни больше ни меньше, чем попыткой раскрыть интеллектуальный климат эпохи. Однако основные исследования в этой области по-прежнему связаны с историей политической мысли, находясь в русле традиции, утвердившейся еще в XIX в. Большинство великих ученых, занимавшихся политической историей, начиная с самого Ранке, были убеждены, что целостность и преемственность историческому процессу придает способность идей определять судьбы человечества – идей, связанных с понятиями национальности, государственности, конституционных свобод и религией. Отсюда недалеко до признания истории идей важной специализированной дисциплиной и раскрытия происхождения таких концептуальных понятий, как естественное право, представительная демократия и национальная



общность. Объяснение их эволюции означало объяснение всего исторического процесса.

В XX в. вера в этот подход была подорвана сразу по двум направлениям. Во-первых, Фрейд и другие популяризаторы психоанализа с их упором на подсознание породили определенные сомнения в том, что подлинные мысли и действия людей тесно связаны с формальным вероисповеданием и идейными принципами: увлечение Нэмира фрейдистской теорией во многом стало причиной его неприязни к истории идей и стремления искать объяснения политической деятельности в более приземленной сфере<sup>1</sup>. С другой стороны, материалистическое понимание истории, проповедуемое Марксом, явилось серьезной атакой на самостоятельность интеллектуальной истории. Хотя позиции различных школ марксистской мысли по этому вопросу варьируются, в общепринятом понимании она сводится к тому, что идеологии являются в первую очередь выражением напряженности, присущей классово-антагонистическим обществам (см. гл. 8). Конечно, нынешние историки интересуются не только общественным воздействием идей, но и, возможно, в большей степени, тем, что эти идеи говорят нам о породившем их обществе. Результатом такого изменения интеллектуального климата стали более скромные претензии современных специалистов по истории идей по сравнению с их предшественниками: они уже не требуют полной автономии для своего направления. Но их исследования сохраняют важное значение: социальные и материальные условия могут ограничить спектр идей, способных завоевать признание в конкретную эпоху, но ни в коей мере не предопределяют форму их выражения. Многое в этой сфере является следствием изобретательности человеческого разума и силы традиций.

До недавних пор главными действующими лицами в истории идей были великие мыслители от Платона до Маркса, чьи труды рассматривались как кирпичики в общем здании западной традиции. Сегодня, однако, куда яснее осознается тот факт, что интеллектуальный ландшафт эпохи формируется не горсткой великих трудов, переживших свое время – они по определению доступны лишь пониманию немногих современников. От предшествующей интеллектуальной традиции эти современники наследовали, порой частично и отрывочно, то, что принято называть мудростью в общепринятом понимании эпохи. Именно с ее высоты они судили (и во многих случаях осуждали) о творениях великих. С точки зрения политической истории в особенности, наибольшее значение имеет набор идей, которыми оперировали люди, не претендовавшие на оригинальность мышления, и в

---

<sup>1</sup> См., например, статью Нэмира «Политика и человеческая природа» (1955) в: Fritz Stern (ed.), *The Varieties of History*, Macmillan, 2nd edn., 1970.

этом плане распространение новых идей через посредство второразрядной, «однодневной» литературы представляет не меньшую важность, чем их рождение в голове великого мыслителя. Иным путем не понять интеллектуального контекста периодов революционных перемен, когда идеи зачастую обладают особой силой. К примеру, в «Интеллектуальных истоках Американской революции» (1967) Бернард Бейлин реконструировал характер политической культуры, свойственной среднему американцу, на основе примерно 400-г памфлетов, посвященных конфликту с Англией, изданных в тринадцати североамериканских колониях с 1750 по 1776 г. Его работа позволила выявить не только влияние пуританской традиции Новой Англии и идей Просвещения, которое уже давно принималось как данность, но и воздействие антиавторитарной политической мысли периода Гражданской войны в Англии, поддерживаемой радикальными английскими памфлетистами начала XVIII в. и перекочевавшей на другую сторону Атлантики. В этой точке история идей выходит на «столбовую дорожку» эпохи и становится частью ее общей культуры.

## II

Распространение идеи – важный вопрос, но сам по себе он не может служить основой для изучения народной культуры, ведь это понятие куда шире, чем ручеек, соединяющий широкие слои общества с политической и интеллектуальной элитой. История идей позволяет раскрыть духовный мир образованных слоев, но он не годится для изучения истории народной культуры. Да и традиционная социальная история не всегда способна внести плодотворный вклад в эту сферу. Как мы показали в гл. 5, социальная история в основном занимается структурами и институтами, часто без непосредственной связи с живым человеческим опытом. Одно дело расставлять людей по местам в рамках некоей системы с точки зрения их рода занятий, социального положения и уровня доходов. И совсем другое – постараться проникнуть в мир их представлений и взглядов, увидеть в них «мыслящих и чувствующих существ»<sup>1</sup>. История лечения умственных расстройств – тема достаточно традиционная для социальной истории; но лишь недавно ученые занялись исследованием менталитета умалишенных, а также тех, кто признавал их таковыми, поняв, что проблема сумасшествия в истории, по словам Роя Портера, «несомненно, связана с

---

<sup>1</sup> Это выражение заимствовано мной из: Margaret Spufford, *Contrasting Communities: English Villagers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Cambridge University Press, 1974, p.xxiii.

конфронтацией между взаимно чуждыми духовными мирами»<sup>1</sup>. Конечно, историки уже давно стараются изображать выдающихся персонажей прошлого с определенной степенью сопереживания; изучение личных бумаг имеет важное значение, так как позволяет исследователю взглянуть на мир глазами их автора. Но лишь совсем недавно историки осознали необходимость подобного подхода в отношении человеческих масс. Каким образом члены данного общества воспринимали свой повседневный опыт? Каковы были их представления о пространстве и времени, природной среде, боли и смерти, семейных отношениях и религиозных обрядах? Как мы можем охарактеризовать их надежды и тревоги? Какие общие ценности их объединяли?

Первыми, кто попытался дать связный ответ на эти вопросы, были историки «школы «Анналов» (см. с. 113-115). Одно из направлений этой школы, представленное трудами Броделя и ранними работами Эммануэля Леруа Ладюри, занимается структурами – демографическими, экономическими и социальными. Но основатели «Анналов», особенно Люсьен Февр, ставили во главу угла другие проблемы. Они призывали к разработке *истории ментальностей*. По мнению Февра, наихудшим вариантом исторического анахронизма является анахронизм психологический – непоколебимая убежденность в том, что люди прошлого воспринимали свой опыт в тех же ментальных рамках, что и мы. Каковы, спрашивал он, были психологические последствия смены дня и ночи или зимы и лета, переживавшиеся людьми средневековья куда тяжелее, чем их воспринимаем мы? Февр призывал историков и психологов совместно развивать «историческую психологию»<sup>2</sup>. Несомненно, связанная с историей идея истории ментальностей исследует не формально артикулированные принципы и идеологии, а эмоциональное, инстинктивное и невысказанное восприятие – области мышления, зачастую вообще не находившие прямого выражения. Наверное, ближе всего к выполнению поставленной Февром задачи подошел Робер Мандру. Во «Введении в историю современной Франции, 1500-1640 гг.» (1961) он характеризовал мировоззрение простых французов как «менталитет преследуемых»<sup>3</sup>; беспомощность перед лицом враждебной среды и хроническое недоедание привели к болезненной сверхчувствительности – на малейший эмоциональный стресс люди реагировали чрезмерным проявлением грусти, жалости или жестокости.

---

<sup>1</sup> Roy Porter, *Mind Forg'd Manacles: A History of Madness in England from the Restoration to the Regency*, Athlone, 1987, p.x.

<sup>2</sup> Lucien Febvre, "History and psychology" (1938), см. в: Peter Burke (ed.), *A New Kind of History*, Routledge & Kegan Paul, 1973.

<sup>3</sup> Robert Mandrou, *Introduction to Modern France, 1500-1640: An Essay in Historical Psychology*, Arnold, 1975.

Историческая психология поднимает очень серьезные теоретические вопросы, учитывая, что человеческая психология – крайне теоретизированная область науки. Самого Фейера теория не слишком привлекала, но и в его время одним из главных вопросов для историков, специализирующихся в данной области, был: в какой степени они могут воспользоваться открытиями психоаналитиков. Фрейд утверждал, что в результате своей клинической практики с пациентами-невротиками он открыл теорию, выводящую наше понимание человеческой психики на новый, более научный уровень. Главным в его теории была концепция подсознания, особой сферы психического, формируемой травмирующими впечатлениями детства (отлучением от груди, обучением пользованию туалетом, эдиповым комплексом и т.д.) и определяющей эмоциональную реакцию человека на окружающий мир в зрелые годы. Для Фрейда и многочисленных последователей, модифицировавших и расширивших его теорию, приоритетной функцией психоанализа было лечение психических расстройств. Но сам Фрейд считал, что его теория – это ключ к пониманию исторических личностей, и его знаменитое эссе о Леонардо да Винчи, написанное в 1910 г., фактически стало первым опытом «психоистории». Начиная с 1950-х гг. такой подход к жанру научной биографии приобрел немало сторонников, особенно в Соединенных Штатах, где психоанализ распространен шире, чем в других странах. Лучшие образцы психоистории вносят в биографические исследования ценный элемент психологического реализма, как это удалось Брюсу Мазлишу и его неоднозначной работе о Джеймсе и Джоне Стюарте Миллях – при ином подходе к этим двум персонажам интеллектуальная сторона их жизни скорее всего полностью заслонила бы эмоциональную<sup>1</sup>. Исследователь, обладающий преимуществом ретроспективного взгляда, слишком легко может поддаться искушению втиснуть жизнь человека прошлого в удобный ему образ, подчеркнув его рациональность и целеустремленность. Психоистория, напротив, исследует сложность и непоследовательность человеческого поведения; говоря словами Питера Гэя, в ее изображении людей

«раздирают конфликты, их эмоции неоднозначны, они стремятся снизить напряжение с помощью защитных уловок, и чаще всего не осознают вообще, или осознают крайне смутно, почему они чувствуют и поступают именно так, а не иначе»<sup>2</sup>.

Таким путем можно восстановить внутренние побуждения исторических личностей, а не сводить всю их мотивацию к сфере общественной деятельности.

---

<sup>1</sup> Bruce Mazlish, *James and John Smart Mill: Father and Son in the Nineteenth Century*, Hutchison, 1975.

<sup>2</sup> Peter Gay, *Freud for Historians*, Oxford University Press, 1985, p.75.

Открытия психоаналитиков не ограничиваются жизнью отдельных личностей. Более того, с точки зрения историка культуры основной заслугой психоанализа стало то, что он привлек внимание к *культурной* обусловленности родительской опеки, воспитания и самоидентификации и к действию подсознательного в коллективном менталитете. В «Протестантском темпераменте» (1977), одном из самых масштабных воплощений психоаналитического подхода, Филип Гревен выделил три типа воспитания детей в Америке колониального периода: «евангелический» или авторитарный, «умеренный» или построенный на авторитете, и «аристократический» или нежный. Хотя придуманные им названия указывают на определяющее влияние теологии и социального положения, воздействие каждого из этих типов прослеживается через характерные черты психического развития детей, воспитанных в его рамках, Гревен описывает сформировавшиеся в результате личности или «темпераменты» через их отношение к самим себе: ненависть в случае «евангелистов», контроль в случае «умеренных» и снисходительность в случае «аристократов». Оставаясь в общем фрейдистском русле, Гревен учитывает культурное разнообразие, характерное для Америки XVII-XVIII вв., и не настаивает на том, что каждый американец соответствовал одному из этих типов. Психоаналитические категории представляются особенно уместными, когда речь идет о чертах прошлого, которые нам кажутся иррациональными и патологическими, но для современников были ясны и понятны. Такой подход вполне применим, например, в отношении расизма. Модели, связанные с комплексами и их проекцией были с большим успехом использованы для анализа отношения белых к другим расам в период расцвета колониальной экспансии – как, например, в Америке при президенте Джексоне<sup>1</sup>.

Из всех технических и методологических новшеств, появившихся и последние тридцать лет, «психоистория» привлекла наибольшее внимание за пределами научного сообщества, но этот подход вызывает и серьезные возражения по двум основным причинам. Во-первых, существует проблема источников. Если врач старается восстановить пережитое пациентом в детстве, анализируя его сны, оговорки и другой материал, предоставляемый самим субъектом, то в распоряжении историка есть только документы, обычно содержащие очень мало, а то и вовсе никаких данных такого рода и крайне скудные свидетельства непосредственных очевидцев раннего детства его персонажа. Многие личные материалы, представляющие большую важность, вообще недоступны для исследования, хотя именно они являются строительным

---

<sup>1</sup> Michael P. Rogin, *Fathers and Children: Andrew Jackson and the Subjection of the American Indian*, Knopf, 1975.

материалом для психоисторической теории формирования личности. Во-вторых, даже если утверждения психоаналитиков обоснованы – а этот вопрос и по сей день вызывает горячие споры среди психологов, – это не значит, что их открытия применимы к прошлым эпохам. Следует предполагать как раз обратное: нарисованная Фрейдом картина эмоционального развития имеет четкие культурные координаты, уходит корнями в методы воспитания детей и ментальные стереотипы (особенно в отношении секса), характерные для средних городских слоев конца XIX в. Применение открытий фрейдизма (или любой другой из современных школ психоанализа) к людям, жившим в другие периоды и в другом обществе, – это ненаучный подход. Ведь структура человеческой личности во времени является предметом исследования, а не готовой формулой. Даже понятие собственного «я», которое мы, вслед за Фрейдом, склонны рассматривать как основополагающую черту человеческого сознания, было, вполне возможно, совершенно чуждо западной культуре вплоть до XVII-XVIII вв. Как заметил один особенно язвительный критик, психоистория может легко превратиться в детерминистскую форму «культурной ограниченности»<sup>1</sup>. Психоанализ – это мощны и инструмент с огромным потенциалом для проникновения в человеческую психику, но при его использовании исследователь должен особенно тщательно следить за соответствием своих интерпретаций историческому контексту.

### III

Другая разновидность теорий, связанных с историей культуры, заимствована из литературоведения. Речь идет о критическом восприятии текстов, известном под названием теории деконструкции или дискурса. В гл. 7 мы видели, как литературоведы, основываясь на теории Соссюра о материальном и произвольном характере языка, отвергли понятие подлинного авторского голоса, рассматривая текст как основу для множества «прочтений», в который разные аудитории вкладывают разный смысл. В гл. 7 я остановился на весьма тревожных последствиях «неопределенности» понятия текста для эпистемологического статуса истории. Но следует уяснить, что на уровне практики новые текстуальные теории открывают перспективу значительного прогресса в культурной реконструкции прошлого. Историки традиционно рассматривают первоисточники как средство доступа к событиям и умонастроениям – существующим объективно вне самого текста. Литературоведческая теория учит историков сосредоточиваться

---

<sup>1</sup> David E. Stannard, *Shrinking History: On Freud and the Failure of Psychohistory*, Oxford University Press, 1980, p.30.

на тексте как таковом – ведь его ценность состоит не столько в отражении действительности, сколько в раскрытии категорий восприятия реальности. С этой точки зрения первоисточник является прежде всего *культурным* свидетельством о риторических построениях, кодах изображения, социальных метафорах и т.д. Литературоведческая теория позволяет историку чувствовать себя уверенно и вне пределов буквального смысла текста (традиционного объекта исследования), дает ему возможность услышать целый хор голосов, выходящий далеко за пределы формулы Марка Блока об источниках как «невольных очевидцах» (см. выше, с.62), Внимательное или «углубленное» чтение – дело еще более трудоемкое, чем проверенные временем методы исторической науки, и поэтому оно, как правило, применяется в отношении небольших по объему, небогатых текстуально источников.

Эти условия прекрасно знакомы специалисту по истории идей, и уже отмечено влияние теории дискурса на исследование политической мысли. Ведь если язык способствует определенному образу мысли и исключает другие и если он в каком-то смысле формирует сознание (а не наоборот, как утверждает здравый смысл), то политическое устройство должно зависеть от лингвистических структур не меньше, чем от административных: политика осуществляется в рамках дискурса, а не только определенной территории и общества. Сам дискурс можно рассматривать как область разногласий, а ключевые тексты (говоря словами Дрора Вармана) как «палимпсест различных и не всегда совместимых “политических языков”»<sup>1</sup>. В современной политике, как правило, существует ряд альтернативных и пересекающихся дискурсов, борющихся за влияние – выражающих, например, преклонение перед государством, классовую солидарность или демократические права. Хорошо документированным примером этого является Английская революция. Кевин Шарп утверждал, что до 1642 г. политический лексикон не претерпел изменений – у короны и парламента был общий набор ценностей, выраженных в законах и обычаях. По-настоящему революционным аспектом Гражданской войны было то, что она побуждала людей действовать по-новому, так что эти действия ещё не нашли отражения в языке: политической наградой им стал новый дискурс, построенный на понятиях права и социального контракта, завоевавший прочное господство в Англии к концу XVII в.<sup>2</sup> Французская революция, законодательным символом которой стал лозунг «Свобода, равенство, братство», означала, среди прочего, и «изобретение новой формы дискурса, утверждающего новые

---

<sup>1</sup> Dror Wahrman, *Imagining the Middle Class: the Political Representation of Class in Britain, c.1780-1840*, Cambridge University Press, 1995, p.11.

<sup>2</sup> Kevin Sharpe, *Politics and Ideas in Early Stuart England*, Francis Pinter, 1989. Ch.1.

образцы политических и социальных действий»<sup>1</sup>. Значит, язык – это сила. Взяв на вооружение этот главный постулат теории дискурса, историки переосмысливают свое отношение к понятию «политическая мысль». Они показывают, что участники политического процесса живут, мыслят и действуют в концептуальных рамках конкретных дискурсов и что сами эти дискурсы соперничают между собой, адаптируются, а порой полностью рассыпаются.

Дискурсный анализ способен внести большой вклад и в понимание термина «национальность» – категории, которую историки традиционно используют почти автоматически. Как мы показали в гл. 1, национальная идентичность – это не данность, она возникает в особых исторических условиях, которые со временем подвержены изменениям. Если нации обречены постоянно «отстраиваться вновь» или «изобретаться», что достигается посредством дискурса в самом широком понимании – через выработку культурных символов и апологию некоего выборочного прочтения национальной истории. Распространение этого материала в массовой аудитории является краеугольным камнем современного национализма. Поэтому Бенедикт Андерсон в «Воображаемых сообществах» (1983), наиболее влиятельной из недавних работ по теме национализма, придает огромное значение «печатному капитализму» как предпосылке роста национализма начиная с XVI в. Более детальные исследования «языка патриотизма» показывают, что конкретное содержание национализма с течением времени меняется. В Англии после Реформации оно ассоциировалось то с монархией, то с гражданскими свободами, то с иностранцами, если ограничиться лишь тремя индикаторами политической тенденции. Поскольку понятие «нация» скорее воображаемое, чем реальное, метафоры, в которых оно выражается, обладают огромной силой, а их массовое восприятие – будь то демократическое или авторитарное – становится полем боя для конкурирующих концепций политического устройства<sup>2</sup>.

Влияние лингвистического подхода к текстам ощущается и в стремлении некоторых историков уделять больше внимания литературной форме – или жанру, в котором написаны их источники. Наша интерпретация вероятного содержания текста должна быть существенно модифицирована в свете его жанровой принадлежности, которая предопределяла его понимание читателем. При изучении покаянных

---

<sup>1</sup> Keith Baker, “On the problem of ideological origins of the French Revolution”, в: Dominick La Capra and Steven L. Kaplan (eds.), *Modern Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives*, Cornell University Press, 1982, p.204.

<sup>2</sup> Raphael Samuel (ed.), *Patriotism: the Making and Unmaking of the British National Identity*, 3 vols, Routledge, 1989.



писем, направлявшихся в XVI в. во французские суды лицами, желавшими заслужить высочайшее помилование, Натали Земон Дэвис быстро поняла, что их нельзя рассматривать просто как непосредственные личные заявления. Они составлялись нотариусами в общепризнанной литературной форме, отражавшей несколько тогдашних жанров, в том числе и художественную литературу, с присущими каждому из них условностями. Она пишет:

«Я ищу данные о том, как люди XVI в. рассказывали истории ...что в их понимании было хорошей историей, как они выражали мотивы, и как посредством нарратива они придавали смысл неожиданным явлениям и связность непосредственным переживаниям»<sup>1</sup>.

Дэвис назвала свою книгу «Выдумки в архивах» не потому, что считает покаянные письма сфабрированными, а чтобы привлечь внимания к поднимаемым ими вопросам литературного характера. Вопрос, были ли просители действительно виновны, в данном случае относится к проблеме смысла и формы выражения.

#### IV

Но самым богатым источником идей для историков стала в последние годы не литературоведческая теория, а *культурная антропология*. На первый взгляд, может показаться непонятным, какое отношение к истории имеет изучение крошечных экзотических общин, существующих в современном мире, но историкам по ряду причин следует внимательно следить за достижениями антропологии. Эти причины особенно важны, если речь идет об исследователях, занимающихся тем или иным аспектом истории стран Третьего мира, однако они касаются и их коллег с более традиционной специализацией. Антропологические исследования дают некоторое представление о разнообразии менталитета людей, чья жизнь подвержена сильному влиянию климата и болезней, к которым отсутствует «научный» контроль за окружающей средой, которые привязаны к месту обитания – все эти условия были характерны и для Запада в период средневековья и раннего нового времени. Некоторые давно утраченные нашим обществом черты, такие, как кровная месть или обвинения в колдовстве, сохранились кое-где и поныне; непосредственное наблюдение за их современным вариантом позволяет лучше понять похожие черты нашего собственного прошлого, сведения о которых скудны или отрывочны. Классическим примером тому является работа Кейта Томаса «Религия и упадок магии» (1971), использовавшего исследования Эванса-Причарда и других этнографов для выработки нового подхода к изучению

---

<sup>1</sup> Natalie Zemon Davis, *Fiction in the Archives*, Polity, 1987, p.4.

колдовства в Англии раннего нового времени. Историк, познающий общество прошлого через посредство документальных источников, испытывает – или должен испытывать – тот же «культурный шок», что и современный этнограф, оказавшийся в изолированной «экзотической» общине.

Однако со времен новаторской работы Томаса значение антропологии для историка культуры расширилось, и она превратилась из простого источника очевидных аналогий в важную методико-теоретическую область. Главный вопрос здесь состоит в том, как антропологам удастся понять мировоззрение изучаемых групп. Поскольку в ходе своих исследований они сочетают роль участника с ролью наблюдателя крайнее разнообразных ментальных подходов, существующих в обществах, не обладающих письменностью и технологически примитивных. Вообще, «менталитет» – это главный предмет их специализации, и концепция «культуры» в данной главе используется прежде всего в антропологическом понимании. В ходе полевых исследований антропологи уделяют особое внимание ритуальному поведению, вроде церемоний присвоения имени или ритуалов, вызывающих дождь, частично потому, что они кажутся нам особенно чуждыми, а частично из-за того, что символы и ритуалы чаще всего имеют много измерений, являются выражением сложного комплекса культурных ценностей; то, что представляется нам странным и иррациональным, на самом деле отражает целостность мышления и поведения, которое в конечном счете и является цементирующим элементом общества. Видный американский антрополог Клиффорд Гирц называет свое культурологическое прочтение крайне насыщенных по содержанию конкретных фактов «плотным описанием», когда один пример – скажем, балинезийские петушиные бои – становится окном в целую культуру, если только мы не станем толковать реальность в терминах нашей собственной цивилизации<sup>1</sup>. Здесь возникает интересная «стыковка» с теорией литературоведения: подобно тексту, открытому для множества прочтений, ритуал или символ обладает целым рядом «смыслов». Согласно Гирцу, культура похожа на набор текстов, а задачи культурной антропологии он формулирует по аналогии с текстуальными исследованиями<sup>2</sup>.

Поскольку описание ритуалов дает весьма ценные сведения об обществах прошлого, не обладавших грамотностью, неудивительно, что историки с готовностью воспользовались достижениями культурной антропологии. Среди многих историков, признающих, влияние Гирца

---

<sup>1</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, Hutchinson, 1975, Ch. 1.

<sup>2</sup> Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, Fontana, 1983.

на их исследования, можно назвать и Натали Земон Дэвис. Говоря об изучении французского общества XVI в., она тоже проводит аналогию с текстуальным анализом:

«Обряды, связанные с наймом на работу, организация праздников в деревне, неформальные собрания женщин при родах, мужчин и женщин, рассказывающих сказки, или уличные беспорядки поддаются столь же плодотворному «прочтению», как и дневники, политические трактаты, молитвы или кодексы законов»<sup>1</sup>.

Месса в Англии периода позднего средневековья, карнавал во Франции раннего нового времени и монархические ритуалы – вот лишь некоторые проблемы символического характера, изучавшиеся с этой точки зрения. Смело используя технику «глубокого описания», Роберт Дарнтон проанализировал тривиальный эпизод убийства кошек подмастерьями-печатниками в Париже в 1730-х гг. Поместив воспоминания одного печатника в контекст разнообразных культурных свидетельств того времени, Дарнтон показывает, как в убийстве кошек косвенно проявились элементы охоты на ведьм, мятежа рабочих и изнасилования – и именно поэтому оно представлялось подмастерьям столь забавным способом «выпустить пар». «Понять юмор такой не смешной ситуации, как ритуальное избиение кошек – первый шаг к тому, чтобы «влезть» в данную культуру»<sup>2</sup>. В такого рода исследованиях точно подмеченная деталь имеет значение и порой очень большое.

В анализе Дарнтоном эпизода с кошками проявилась вся увлекательность подобного подхода, так и связанные с ним опасности. Если антрополог в роли участника-наблюдателя способен изучить ритуал и привлечь дополнительные данные из контекста, то историк должен осознавать ограниченность используемых источников. Так, существует лишь один рассказ об избиении кошек, составленный, к тому же, много лет спустя. Если документальные свидетельства столь скудны, они подвержены еще большему количеству прочтений, а значит, труднее доказать обоснованность одного конкретного прочтения. Дарнтон рассматривает убийство кошек как восстание рабочих, предвосхитивших Французскую революцию. Но, как указывает Рафаэль Сэмюэль, эта история может с таким же успехом послужить анализу подростковой культуры или исследованию принятого в обществе отношения к животным; единственный источник слишком легко «перегрузить символами»<sup>3</sup>. История культуры обычно имеет дело с косвенными и

<sup>1</sup> Natalie Zemon Davis, *Society and Culture in Early Modern France*, Duckworth, 1975, pp.xvi-xvii.

<sup>2</sup> Robert Darnton, *The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History*, Allen Lane, 1984, p.262.

<sup>3</sup> Raphael Samuel, “Reading the signs: II”, *History Workshop Journal*, 33, 1992, pp.235-238, 243.

туманными сведениями об умонастроениях простых людей, и, прежде чем полностью принять интерпретационные методы культурной антропологии и теории текстуального анализа, следует признать ограниченность источниковой базы.

На деле ценность антропологического подхода связана не только с обработкой фактов, но и с общей ориентацией. Он служит серьезным напоминанием, что история имеет дело не только с тенденциями и структурами, которые можно наблюдать извне, но требует и обоснованного уважения к культуре людей прошлого и готовности увидеть мир их глазами. Антропология также знаменует новый путь для достижения этой цели исторической наукой – перенос акцента с индивидуальных проявлений на коллективное поведение в контексте его культурной значимости.

## V

Воздействие культурологического подхода к истории можно ощутить в ряде сфер исследования: на ум сразу приходят такие темы, как народная культура, религия, потребление и отношение к миру природы. Тот факт, что в этих и других областях проводится большая поисковая работа, свидетельствует о важном значении истории культуры. Показать, что это означает на практике, лучше всего можно на примере одной из них – *гендерной истории*.

В гл. 8 гендер был представлен как радикальная социальная теория, первоначально выдвинутая учеными-феминистками и получившая более широкое распространение в постмарксистском мире. Наш анализ показал, что материальное неравенство между полами имеет ключевое значение для понимания обществ прошлого и динамики их развития во времени. Но вопрос о гендере имеет не только структурный характер. Он серьезно затрагивает также проблемы субъективности и идентичности. Эти вопросы вышли на первый план, когда в современной западной культуре половые различия перестали рассматриваться как биологическая данность. Как только традиционное разделение на мужское и женское модифицируется с учетом реально существующего гендерного разнообразия, формулировки о «мужественности» и «женственности» все больше превращаются в проблемы психологии и культуры. Ныне гендер – это нечто, требующее объяснения, а не готовое понятие, само по себе объясняющее все остальное.

На практике этот сдвиг выражается в следующем. Во-первых, если гендерные различия не являются в основном делом природы и инстинкта, значит, они должны быть привнесены. Родители могут считать это индивидуальной задачей, но на самом деле она является по сути культурно обусловленной, ведь те, кто отвечает за воспитание

детей, действуют в рамках определенных культурных представлений о различиях между полами и развитии личности. Одним словом, гендер – это знание. До самых недавних пор половые различия натурализовались (и упрощались) в виде predetermined сценариев, которые у большинства людей не вызывали никаких вопросов. Такого рода знания принимали разные формы: непосредственная информация о строении тела, как в пособиях по сексу вроде «Шедевра Аристотеля» (неоднократно переиздававшегося в Англии в XVIII в. и позднее); или морализаторские учения о мужском и женском характере, вроде распространенных в XIX в. работ о понятиях мужественности и о том, как быть настоящей леди; или вновь аксиоматические утверждения о различиях между полами, пронизывающие литературу в ее элитарных и популярных формах. В последнее время историки уделяли всем этим материалам большое внимание, выявляя противоречия и легкие смещения акцентов в рамках основополагающих постулатов, сохранявших силу при жизни многих поколений<sup>1</sup>.

Второе направление культурологического подхода к гендерным исследованиям связано с проблемами различий. Любая социальная идентичность формируется в том числе и методом исключения. Нас определяет не только то, каковы мы есть, но и то, чем не являемся. Часто негативные стереотипы о тех, кто находится «за чертой», обладают ни меньшей силой, чем вера в то, что объединяет людей в нечто целостное; это касается, к примеру, национальной идентичности британцев в период второй мировой войны или классовой политики последних двух столетий. В случае различий между полами самоидентификация к связи с «другим» особенно выражена, поскольку социальное сознание маленьких детей основано на фундаментальном различии между мужским и женским. На эту полярную противоположность можно «нанизать» любые качества. Соответственно, все определения гендера являются взаимосвязанными в том смысле, что они возникают в результате взаимодействия с противоположным полом и выражают представления о нем: постоянные рассуждения о «женоподобности» в связи с поведением мужчин – хорошее тому свидетельство. В этом процессе «отчуждения» большую роль играет дискурс, частично потому, что бинарные структуры глубоко укоренены в языке (хороший – плохой, черный – белый и т.д.), а частично потому, что язык регистрирует противоположность между мужским и женским в

---

<sup>1</sup> Roy Porter and Lesley Hall, *The Facts of Life: the Creation of Sexual knowledge in Britain, 1650-1950*, Yale University Press, 1955, Ch.2; Leonore Davidoff and Catherine Hall, *Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850*, Hutchinson, 1987, Ch.2-3; John Tosh, *A Man's Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England*, Yale University Press, 1999.

бесконечном разнообразии культурно обусловленных форм. В психоанализе традиция, идущая от Жака Лакана, также делает главный акцент на языке как инструменте, с помощью которого дети приобретают половую идентичность. Сегодня существует много теорий в поддержку предположения, что язык «конструирует» гендерные различия<sup>1</sup>.

Поворот к культурной теории и гендерных исследованиях отражает серьезный политический сдвиг. Первые работы в этой области сосредоточивали внимание на угнетении и неравенстве. Они испытывали сильное влияние марксизма, и многие их создатели определяли себя как «социалисток-феминисток». Неважно, связывали ли эти авторы подчиненную роль женщин в истории с классовым угнетением или нет, они в любом случае рассматривали ее как общую беду всех представительниц этого пола. Соответственно, историков интересовали прежде всего природа этого подчинения и рост организованного сопротивления. Политическую направленность последних работ по этой тематике уже нельзя определить столь однозначно. В западном обществе политическая ангажированность традиционно считается выражением сильной коллективной идентичности, например «британцев», «рабочих» или «женщин». Но стоит дискурсивному анализу проявиться в полную силу, и «идентичность» уже невозможно заморозить на подобном макроуровне; распутывание сложной паутины смыслов, в которую попадает личность, приводит к раздроблению этих общих категорий – понятия класса, нации, этноса, региона, возраста, пола и т.д. трещат по швам. Вызывает сомнения не только понятие «женщина» как коллективная общность, но и «женщина» как целостная самоочевидная идентичность<sup>2</sup>. Подобный же процесс деконструкции идет и в области этнической истории, где вся концепция «расы» требует аналогичного радикального пересмотра.

Однако упор на проблемы языка и выражения не столько лишает гендерную историю политического содержания, сколько отражает изменение характера политики. Понятие гендера сегодня все больше формулируется через различия, идущие дальше базовой поляризации мужчина/женщина; идентификационная политика также выражается через разделение по половому, этническому и возрастному признакам. В этом смысле постмодернистское раздробление идентичности отражает реальные изменения в общественном сознании. Более того, деконструктивистский подход, несомненно, связан и с общепринятым

---

<sup>1</sup> Анализ теории Лакана применительно к гендерной истории см. в: Sally Alexander, *Becoming a Woman and Other Essays in 19th and 20th Century Feminist History*, Virago, 1994, pp.105-110, 225-230.

<sup>2</sup> Denise Riley, *Am I That Name? Feminism and the Category of "Woman" in History*, Macmillan, 1988.

феминистским утверждением, что большая часть фиксируемого в источниках дискурса выражена «мужским» языком. Джоан Скотт обоснованно доказывает, что лингвистический подход служит выявлению гендерного измерения во всех властных отношениях. Во-первых, гендер – это структурный (или «составной») элемент любых общественных отношений, от самых интимных до самых обезличенных, поскольку в них всегда присутствует предпосылка либо вытеснения одного из полов, либо тщательно регулируемых (и обычно неравноправных) отношений между полами. Во-вторых, гендер является важным способом выражения властных отношений в культурных терминах<sup>1</sup>. Возьмем характерный пример: сугубо «мужские» понятия, в которых выражено все, что относится к войне, очень долго служили узакониванию требования к молодым людям быть готовыми пожертвовать своей жизнью. В викторианскую эпоху противники идеи государственного финансирования социальных пособий называли ее «сентиментальной» – а это качество считается присущим женщине<sup>2</sup>. Можно привести еще много аналогичных примеров. Более того, эти гендерно обусловленные представления нельзя рассматривать как статичные и неизменные, и очевидная задача политически обоснованного анализа состоит в том, чтобы показать, как они реинтерпретировались и оспаривались в различных контекстах. Гендерная история, отражающая культурное разнообразие, возможно, противоречит твердым коллективным понятиям, свойственным предшествующим работам, но она способна внести большой вклад в понимание того, каким образом артикулируются властные отношения в личной и общественной сфере.

Этот тезис можно проиллюстрировать на примере научного пути Джудит Валковиц. В ее первой книге, опубликованной в 1980 г., тема проституции в викторианскую эпоху анализировалась сквозь призму классового и гендерного подхода: в ней на документальной основе раскрывались двойные стандарты в половых отношениях того времени, материальная эксплуатация проституток, и стратегия тех, кто выступал за отмену драконовского законодательства, регулировавшего этот бизнес. Политические симпатии автора были ясны – Валковиц прямо упоминает о помощи, которую ей оказало движение за освобождение женщин<sup>3</sup>. Через двенадцать лет Валковиц выпустила новую книгу «Город ужасных наслаждений» (1992), где исследовались сексуальные скандалы и дискурсы на сексуальные темы в Лондоне 1880-х гг. Принимая во

---

<sup>1</sup> Joan W. Scott, “Gender: a useful category of historical analysis”, *American Historical Review*, 91 (1986), pp.1053-1075.

<sup>2</sup> Stefan Collini, “The idea of “character” in Victorian political thought”, *Transactions of the Royal Historical Society*, 5th series, XXXV (1985), pp.29-50.

<sup>3</sup> Judith R. Wolkowitz, *Prostitution and Victorian Society*, Cambridge University Press, 1980, p.ix.

внимание ее первую книгу, можно было предположить, что главные темы нового труда – детская проституция и Джек Потрошитель – требуют материалистического анализа «греховного» бизнеса и властных отношений между сутенерами, проститутками и клиентами. Все эти вопросы действительно присутствуют в книге, но Валковиц теперь интересуется не столько происходящее, сколько то, что *считалось* происходящим. Подзаголовок работы «Нарративы о сексуальных опасностях в поздневикторианском Лондоне» точно отражает главный предмет исследования – какие истории получали наибольшее распространение и почему. Но, как подчеркивает автор, этот вопрос тесно связан с политическим процессом, поскольку распространенные понятия о характерных чертах обоих полов и о сексуальной морали ограничивались рамками контролирующего их дискурса, в котором пресса была лишь одним из элементов. «Город ужасных наслаждений», возможно, и лишен политической остроты предыдущей книги, но представляет собой первоклассный анализ культурных процессов, определяющих гегемонию одних дискурсов и вытесняющих другие.

## VI

Смена ориентации гендерной истории, проявившаяся во второй книге Валковиц, соответствует всеобъемлющим изменениям в теоретической основе исторических исследований. Двадцать лет назад социальная история, и в немалой степени политическая, выражалась в понятиях целостной коллективной идентичности, вроде класса или нации. Формулировки «рабочий класс» или «французский народ» были полны смысла, поскольку эти группы объединялись общим материальным существованием, из которого они черпали общее, четко выраженное сознание; его действие намного превышало продолжительность жизни людей, составлявших данную группу в любой конкретный момент. Эти понятия нашли особенно четкое выражение в марксистских определениях классов и классового сознания, но и либеральные ученые рассматривали политические партии, религиозные конфессии и нации в том же русле – как исторические субъекты, действующие на протяжении многих поколений. И в либеральных, и в марксистских трудах социальная идентичность принимала почти материальную форму, служившую продвижению «больших нарративов», отстаивающих идеи прогресса или революционных преобразований. К 1970-м гг. эта социально-материально-прогрессистская парадигма если и не завоевала полного господства, то, несомненно, находилась на острие и в фокусе наиболее важных историографических дискуссий.

Эта парадигма подверглась атакам с двух направлений. Первыми в бой вступили историки школы «Анналов» с их акцентом на



коллективных ментальностях. Они с самого начала считали, что любая картина прошлого будет неполной без воссоздания его ментального ландшафта. Бродель включил ментальности в свою схему, отведя им, наряду с географией, роль долгосрочного фактора исторического процесса. К началу 1980-х гг. ведущие анналисты пошли еще дальше, объявив ментальности базовым слоем исторического опыта, а культуру – его главным выражением. Как писал Жорж Дюби:

«Поведение людей (sic!) формируется не столько их реальным положением, сколько их обычно неверными представлениями об этом положении, поведенческими моделями, которые являются продуктом культуры, лишь частично напоминая материальную реальность»<sup>1</sup>.

К 1990-м гг. в авангарде атаки на социальную парадигму оказалась текстуальная теория, отвергавшая связь между реальностью и ее выражением. Выяснилось, что от отрицания аутентичного смысла в текстах один шаг до раздробления признанных понятий социальной идентичности, ведь она зависит именно от общего языка и общей символики. Классы, расы и нации потеряли свою «твердую» объективность и превратились просто в нестабильные дискурсы. Сама культура сейчас видится как конструирование, а не отражение реальности. Постмодернистская атака на «большие нарративы» довершила разрушительную работу, дискредитировав тезис о долговечности активной социальной идентичности. Осталось лишь исследование репрезентаций – не того, что делали люди прошлого, а того, как создается смысл. От этой эволюции научной мысли выиграла прежде всего история культуры: она ставит язык на первое место, а значит, вопросы смысла и выражения для нее важнее всех остальных.

В своей крайней форме история культуры – и особенно «лингвистический поворот» – очевидно, во многом подрывает традиционные основы исторической науки. Возникла совершенно новая идея, что репрезентация – это *единственно возможная* область исторического исследования. Она сформулирована в статье Патрика Джойса с провокационным заголовком «Конец социальной истории?»<sup>2</sup>. Таким образом, он считает, что история классов и классовых отношений в духе Э.Р.Томпсона потеряла право на существование; в своих собственных работах Джойс, например, анализирует тему труда в промышленности с культурной, а не экономической точки зрения, тем самым отделяя ее от истории рабочего класса<sup>3</sup>. При всем его риторическом

---

<sup>1</sup> Georges Duby, “Ideologies in social history”, в: Jacques Le Goff and Pierre Nora (eds.), *Constructing the Past: Essays in Historical Methodology*, Cambridge University Press, 1985, p.151.

<sup>2</sup> Patrick Joyce, “The end of social history?”, *Social History*, XX (1995), pp.73-91.

<sup>3</sup> Patrick Joyce (ed.), *The Historical Meaning of Work*, Cambridge University Press, 1987.

искусстве, позиция Джойса не нашла сочувствия среди историков. Она означает согласие с обычным постмодернистским «обвинительным заключением» против исторической науки. Большинство профессионалов, в том числе и специалистов по истории культуры, не склонны сводить масштаб своей работы к размытым рамкам дискурса. Серьезное отношение к проблемам выражения не означает принижения всего остального. Да и само внимание к истории культуры – не признак преуменьшения значимости исторической достоверности. Большинство специалистов в этой области признают позитивную роль текстуальной теории в расширении предмета их исследований, но не согласны с ее деструктивной эпистемологией.

Тем не менее, различия в расстановке акцентов сохраняются. Историк, анализирующий отношения в промышленности как ритуал, связанный правилами игры, сильно отличается от исследователя классовых противоречий; ученым, выдвигающий на первый план аморфность гендерной идентичности, никогда не придет к тем же выводам, что и коллега, убежденный в реальности патриархального угнетения женщин, и т.д. Эти различия носят прежде всего теоретический характер. Для первой группы историков предмет исследования обычно представляет интерес благодаря своему месту в социальном нарративе, который, в свою очередь, интерпретируется в соответствии с динамичной теорией общественных изменений, обычно марксистской. Вторую группу, напротив, интересует прежде всего контекстуализация – выявление культурных связей, лежащих в одной плоскости, порой не слишком обращая внимание на их изменения с течением времени. Концептуальную основу таких исследований составляют теории, связанные с мышлением, текстом и самой культурой, и они тоже служат скорее обогащению понимания контекста, чем раскрытию исторического процесса. Вновь, как и в гл. 1, мы видим противоречие между процессами интерпретации и воссоздания в исторической науке. Социальная теория развивает стремление к раскрытию направленности исторического процесса, заложенное в эпоху Просвещения; значение событий и процессов определяется с точки зрения их места в более широком нарративе. Культурная теория воспринимает тезис историков о том, что прошлое по определению в корне отличается от современности и что необходимы интеллектуальные усилия для истолкования его смысла. В этой главе и в гл. 8 описываются два совершенно разных типа исторического исследования, и конфликт между ними – во многом явление нашего времени. Но противоречие, которое они отражают, возникло одновременно с самой исторической наукой.

## Глава 11

### История из первых уст

Растущий интерес историков к культурному смыслу породил одно новое научное направление, заслуживающее более детального ознакомления. Речь идет о выработке методологии интерпретации устных свидетельств. Долгое время не привлекавшие внимания историков, устные материалы теперь активно используются. Они подразделяются на две разновидности, и работа с каждой из них является отнюдь не простым делом для исследователя с традиционной подготовкой. Первую, более известную категорию составляют устные воспоминания – то, что люди излагают в ходе интервью, которые берет у них историк. Такие материалы обычно называются *устной историей*. И во-вторых, существует *устная традиция*, то есть описания людей и событий прошлого, передающиеся из уст в уста от поколения к поколению. Практически утраченная в высокоразвитых странах устная традиция продолжает существовать там, где грамотность еще не пришла на смену традиционной устной культуре; с 1950 г. она все активнее изучается исследователями истории Африки. Первоначально устная история и устная традиция ценились прежде всего как способ прямого доступа к прошлому. Теперь они все больше рассматриваются как данные о том, каким образом не относящиеся к элите группы конструируют и модифицируют культурные представления во временной перспективе.

#### I

Лишь совсем недавно профессиональные историки приобрели некоторый опыт сбора устных свидетельств. Даже сегодня представители

основного направления исторической науки относятся скептически, а часто и просто не готовы принять участие в дискуссии о явных преимуществах и недостатках исследований в области устной истории. Во всеобъемлющем списке первоисточников, который приводит Артур Марвик в своей «Природе истории» (1970), устные источники даже не упоминаются<sup>1</sup>. Уже в 1995 г. Джон Винсент заметил, что «историческая наука не занимается обществами, не обладающими письменностью»<sup>2</sup>. Однако именно из устных источников обоих видов черпали большинство сведений те, кто сейчас считается первыми историками – Геродот и Фукидид. Средневековые летописцы и историки, пожалуй, в не меньшей степени зависели от устных свидетельств; и хотя значение письменных источников стало быстро возрастать начиная с эпохи Возрождения, старые методы все же сохранились как ценное дополнение к исследованию документов. Лишь в XIX в., с возникновением исторической науки в ее современном виде, использование устных источников было полностью прекращено. Усилия новых профессионалов ранкеанского склада были направлены на изучение письменных документов, на котором и оттачивались их технические навыки, и их работа проходила в основном в библиотеках и архивах.

Самое смешное, что большинство письменных источников, цитируемых сегодня историками, сами имеют устное происхождение. Средневековые хронисты, например Вильям из Малмсбери, живший в XII в., включали в свои труды как рассказы непосредственных очевидцев, так и данные устной традиции. Обзоры социального положения и материалы государственных комиссий по изучению социальных проблем, занимающие столь важное место среди первоисточников по социальной истории XIX в., во многом состоят из кратко изложенных устных «показаний», которыми историки пользуются, зачастую не обращая особого внимания на характер отбора свидетелей или обстоятельства проведенных опросов. Тем не менее, идея о том, что историкам следует увеличивать объем имеющихся устных источников, проводя собственные интервью, вызывает немало опасений. Одной из причин является нежелание историков отступать от главного требования к историческим источникам – совпадения по времени с описываемыми в них событиями, а устные свидетельства неизбежно несут в себе элемент ретроспективного взгляда. Но есть здесь и подсознательное нежелание радикально менять привычный стиль работы

---

<sup>1</sup> Это упущение частично исправлено небольшим разделом об устной истории в третьем издании книги: Arthur Marwick, *The Nature of History*, Macmillan, 1989, pp.215-216.

<sup>2</sup> John Vincent, *An Intelligent Person's Guide to History*, Duckworth, 1995, p.3.

исследователя, столкнуться с последствиями превращения ученого в создателя (а не только толкователя) новых источников.

Тем временем интервью стали важным исследовательским инструментом общественных наук. В антропологии, которая достигла зрелости в 1920-х – 1930-х гг., исследователь как правило играет роль участника-наблюдателя. Он стремится насколько возможно вести тот же образ жизни, что и члены изучаемой общины, и чтобы понять приобретенный ими опыт, находится в постоянном диалоге с ними, включающем и сбор устных рассказов. Социологи, изучающие современное западное общество, стараются по возможности избегать личного соприкосновения с предметом исследования, но глубокое интервьюирование и здесь остается важным источником информации наряду с более распространенными социальными опросами. Методы интервьюирования, разработанные социальной антропологией и социологией, оказались полезными для историков, хотя, как мы увидим, им потребовался свой особый подход к собранному материалу.

То, что методы устной истории нашли хоть какой-то отклик у профессиональных историков, связано прежде всего с неполнотой традиционных письменных источников по ряду тем, привлекающих сегодня большое научное внимание. Одной из них является политическая история последних десятилетий. Если в XIX – начале XX в. общественные деятели, как правило, вели обширную служебную и личную переписку, то сейчас они в основном пользуются телефоном, а если и пишут письма, то у них редко находится время писать подробно. Некоторые крупные общественные деятели недавнего прошлого вообще не оставили личных архивов, заслуживающих упоминания – например, Герберт Моррисон, один из руководителей лейбористской парши в 1930-х – 1940-х гг.<sup>1</sup> Чтобы заполнить пробелы в источниках необходимыми для научной биографии данными, исследователям пришлось заняться сбором воспоминаний ныне живущих коллег и сотрудников таких политиков. То же самое относится и ко многим не столь крупным фигурам в политике и других сферах. Для сбора подобных материалов в систематическом порядке при Лондонской школе экономики в 1980 г. был создан Британский устный архив политической и административной истории<sup>2</sup>. Другую подобную тему можно определить как социальную историю повседневной жизни последних десятилетий, особенно бытовых и производственных аспектов жизни рабочего класса, которые редко являлись предметом наблюдения или исследования со стороны современников. В Британии сторонниками

---

<sup>1</sup> Bernard Donoughue and G.W.Jones, *Herbert Morrison*, Weidenfeld & Nicolson, 1973.

<sup>2</sup> Anthony Seldon and Joanna Pappworth, *By Word of Mouth*, Methuen, 1983.

устной истории являются в основном специалисты по социальной истории, чей интерес к этим проблемам во многом связан с их социалистическими убеждениями, что становится очевидным, стоит лишь заглянуть в их специальный журнал «Устная история». Третья научная область, буквально требующая нетрадиционного подхода, – это история обществ, не обладающих грамотностью, не породивших почти никаких собственных письменных источников. Сведения о них содержатся в документах, составленных на основе свидетельств владеющих грамотой – но обычно предубежденных – сторонних наблюдателей. Если говорить об Африке, то не только повседневную жизнь самих африканцев невозможно исследовать иными способами; более узкие аспекты истории континента, например развитие торговли и предпринимательства или эволюция политических институтов, также во многом нуждаются в сборе устных данных. Из трех перечисленных областей именно в двух последних был достигнут наибольший прогресс, существенно влияющий на общее развитие исторической методологии.

## II

«Когда мы с отцом приехали и эту деревню, я вновь снимал жилье, и когда я возвращался из шахты, меня не ждал домашний уют. Помню, жили мы в одном доме; вместе со мной там снимали угол еще шестеро-семеро шахтеров. А в доме было всего три спальни, так что, представьте себе, мы спали по очереди.

Если пятеро или шестеро из нас попадали в одну смену, то, едва поднявшись из шахты, я мчался домой, чтобы первым принять панну. Ваннх комнат не было: была просто старая цинковая лохань, а хозяйка ставила на огонь пару ведер соды. Если нас собиралось пять-шесть человек, то сначала каждый по очереди мылся до пояса, а потом мы вновь влезали в ванну, чтобы вымыться уже полностью. Что меня в те дни забавляло – ну, не забавляло, – что меня смущало, так это женщины, жившие по соседству. Они заходили к нам, садились на кухне, и хоть бы чуть сдвинулись с места – даже когда ты мыл нижнюю половину тела. Я был молодой паренек, но я не просто стеснялся, мне было неловко, ведь и в те времена мы уже знали, чем мужчина отличается от женщины»<sup>1</sup>.

Этот рассказ старого шахтера из южного Уэльса, записанный в рамках исследовательского проекта по истории шахтерских поселков, в какой-то степени показывает достоинства устной истории. Это отрывок из автобиографии человека, которому и в голову бы не пришло зафиксировать свои воспоминания на бумаге. Его история типична и в то же время индивидуальна, она рисует яркую картину образа жизни,

---

<sup>1</sup> Christopher Storm-Clark, “The miners, 1870-1970: a test-case for oral history”, *Victorian Studies*, XV, 1971, pp.65-66.

который в сегодняшней Британии сохранился лишь в памяти глубоких стариков. Письменные источники того времени – например, доклады комиссий по исследованию социальных условий или благотворительных организаций – представляют много информации о жилищных условиях бедняков, но она почерпнута из вторых рук, искажена «экспертными оценками» и является описанием внешнего наблюдателя, а не результатом личного опыта. Устная история позволяет наряду с тщательно подобранными данным и письменных источников услышать и голос простого народа.

Домашний быт – лишь один из многих аспектов прошлого, где устная история позволяет скорректировать искажения, содержащиеся в письменных источниках. Объектом социальной истории является все общество, а не только его зажиточные и образованные слои. Но, как мы видели в гл. 5, источники, к которым инстинктивно обращается специалист по социальной истории, несут на себе отпечаток функций создавших их организаций. В результате история рабочего движения показывает нам скорее образ профессионального профсоюзного чиновника, а не простых участников; история жилищного строительства больше говорит о спекуляциях строительных компаний и реформах в области санитарии, чем о качестве жизни жильцов; аграрная история занимается проблемами управления поместьями и сельскохозяйственной экономикой, а не условиями труда батраков. Кроме того, письменные документы в подавляющем большинстве созданы взрослыми мужчинами: женщины, не принадлежавшие к верхушке общества и не имевшие достаточно свободного времени, чтобы писать письма, оставили после себя мало свидетельств на бумаге, а непосредственные впечатления детства практически не отражены на страницах архивных документов. Некоторые социальные группы, всего 70-80 лет назад довольно многочисленные – бродячие торговцы, неорганизованные наемные рабочие, бедные иммигрантские общины, – также почти не упоминаются в традиционных источниках.

Свидетельства доживших до наших дней представителей этих групп, как почти все воспоминания стариков о своей юности, часто неточны в отношении конкретных событий и их последовательности. Надежнее всего они воспроизводят устойчивые впечатления, вроде трудовых навыков или взаимоотношений ребенка с родными и соседями. Повседневная жизнь и характер взаимоотношений у большинства людей были схожи и в свое время воспринимались как нечто само собой разумеющееся, но сейчас они представляют чрезвычайный интерес, а устная история обеспечивает к ним наилучший доступ – примером тому может служить «Место женщины» (1984), прекрасное

исследование Элизабет Робертс жизни женщин из рабочих слоев Ланкашира с 1860-х гг. до начала первой мировой войны. Уникальность устной истории состоит и в том, что она передает глубинную *взаимосвязь* между различными аспектами повседневной жизни, которые в ином случае представлялись бы историку как набор отдельных фактов. Так, рассказы бедняков о своей жизни позволяют ярко показать, каким образом до первой мировой войны повседневный труд, периоды нищеты, недоедание, пьянство, лень и насилие в семьях формировали общую социальную среду для тысяч людей. Одним словом, устные свидетельства позволяют создать социальную историю с человеческим лицом.

Каким образом специалисты по устной истории находят своих информаторов? На их методы определенное влияние оказали технологии социологической выборки. Одной из самых масштабных попыток пополнить социальную историю данными устных источников стала работа Пола Томпсона по созданию тщательно скомпонованной выборки из 500-т ныне живущих свидетелей эдвардианской эпохи (начала XX в.), представляющих все классы общества и регионы Великобритании. Часть полученного материала вошла в его книгу «Эдвардианцы» (1975)<sup>1</sup>. Но мало кто из историков последовал его примеру. Самые последние исследования в области устной истории имеют ярко выраженный местный характер, на что существуют серьезные практические причины. Исследователь, строго придерживающийся рамок местной истории, может опросить всех престарелых людей, желающих и способных дать интервью; не нужно целиком полагаться на надежность одного информатора, поскольку его рассказ можно сравнить с другими, а чисто местные понятия, которые всегда занимают большое место в автобиографических историях, можно прояснить с помощью других источников. Но важно и то, что любители-краеведы с самого начала занимались сбором «устной истории». Английская традиция любительского изучения местной истории (уходящая корнями в XVI в.) делала упор на топографию, жизнь сквайра, приходского священника, или – в редких случаях – предпринимателя. Устная история позволяет и обычному человеку испытать чувство принадлежности к «малой родине», освещая в то же время и более общие проблемы социальной истории. Первоклассные исследования такого рода проводились в рамках движения «Историческая мастерская». Рафаэль Сэмюэл реконструировал экономическую и социальную среду местечка Хеддингтон Кворри возле Оксфорда до того, как в 1920-х гг. его

---

<sup>1</sup> В своей методологической работе «Голос прошлого» Томпсон дает более полное описание разработанных им методов выборки. См.: Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History*, 2nd edn., Oxford University Press, 1988, pp.124-131.



поглотила растущая автомобильная промышленность; без собранного им богатого устного материала Сэмюэлу вряд ли удалось бы преодолеть стереотип «грубиянов из Кворри», характерный для тогдашних газет, и понять разнообразие профессий и социальных структур, способствующих независимому духу жителей деревни<sup>1</sup>. Возможно, лучшими устными исследованиями в области городской местной истории стали две работы выдающегося дилетанта Джери Уайта о Лондоне – одна о пресловутой Холлоуэй-стрит в межвоенный период, а другая – об одном жилом комплексе в Ист-Энде на рубеже веков<sup>2</sup>.

В основе устной истории в ее нынешнем виде лежат два весьма привлекательных постулата. Во-первых – что особенно очевидно, – личные воспоминания рассматриваются как эффективный инструмент *воссоздания* прошлого, как непосредственные впечатления о жизни людей в ее подлинном виде. Недаром Пол Томпсон озаглавил спую вышедшую в 1978 г. книгу о методах и достижениях устной истории «Голос прошлого», и, несмотря на все сделанные в тексте оговорки, непосредственный контакт между историком и субъектом его исследования занимает центральное место в концепции Томсона. Это еще ярче проявляется в его главном труде по устной истории – «Эдвардианцах». Таким образом, с одной стороны устная история представляет собой просто новаторский способ достигнуть цели, поставленной перед профессиональными историками еще в начале XIX в. – показать, «как все происходило на самом деле», и в максимально возможной степени проникнуть в мировосприятие людей прошлого.

Но многие специалисты по устной истории не согласны просто лить воду на мельницу традиционной науки. Они рассматривают устную историю скорее в качестве демократической альтернативы, бросающей вызов монополии академической элиты. Простые люди получают не только место в истории, но и роль в *производстве* исторического знания, а это имеет уже и серьезную политическую направленность. В лондонском Ист-Энде существует неформальная группа жителей под названием «Народная автобиография квартала Хэнки». Ее участники записывают воспоминания друг друга и публикуют эти записи в виде брошюр, распространяемых через местный книжный магазин. Хотя среди членов группы есть образованные люди, ни один профессиональный историк в нее не входит; если бы они там появились, уверенность людей в своих представлениях о прошлом была бы подорвана. Идея состоит в том, что через устные исследования жители

---

<sup>1</sup> Raphael Samuel (ed.), *Village Life and Labour*, Routledge & Kegan Paul, 1975.

<sup>2</sup> Jerry White, *The Worst Street in North London: Campbell Bunk, Islington, Between the Wars*, Routledge & Kegan Paul, 1986; *Rothschild Buildings: Life in an East End Tenement Block, 1887-1920*, Routledge & Kegan Paul, 1980.

квартала откроют свою собственную историю и выработают социальную идентичность, свободную от покровительства традиционной научной премудрости. Кен Уорпол, координатор группы, так говорит об обстоятельствах ее возникновения в начале 1970-х гг.: «Создание из устных воспоминаний рабочих общей истории, которой можно поделиться, казалось позитивным и важным делом в числе различных новых форм «коммунальной» политики»; он считает, что этот и другие подобные проекты вносят большой вклад в «возрождение исторического компонента твердого классового сознания»<sup>1</sup>. То же самое можно сказать и об этническом сознании, и весьма вероятно, что именно за счет недавних воспоминаний негров о миграции, обустройстве на английской земле и дискриминации, которой они подвергались, будет развиваться история чернокожих жителей Британии<sup>2</sup>.

### III

Однако и тот и другой путь – «воссоздание» событий и накопление «демократического знания» с помощью устной истории – связаны с немалыми трудностями. Проблемы, возникающие при сборе устной информации, пожалуй, с наибольшей силой проявляются в ходе исследований, проводимых профессиональными историками. Было бы наивным предполагать, что получаемые свидетельства – это впечатления прошлого в чистом виде, ведь в ходе интервью каждая из сторон влияет на другую. Историк выбирает интервьюируемого и определяет интересующую его область; даже если он только слушает и не задает вопросов, присутствие постороннего воздействует на атмосферу, в которой информатор вспоминает прошлое и рассказывает о нем. Конечный продукт обусловлен как социальной позицией историка по отношению к информатору, так и его представлениями о прошлом, которые вполне могут передаться информатору. Другими словами, историки должны осознавать свою долю ответственности при участии в создании нового источника.

Но и без участия историка трудности не исчезают. Ведь даже информатор не имеет прямого контакта с прошлым. Его (или ее) воспоминания, какими бы живыми и точными они ни были, уже отфильтрованы последующим опытом. Они могут быть подвержены влиянию других источников (особенно средств массовой информации),

---

<sup>1</sup> Ken Worpole, "A ghostly pavement: the political implications of local working-class history" в: Raphael Samuel (ed.), *People's History and Socialist Theory*, Routledge & Kegan Paul, 1981, p.28.

<sup>2</sup> Журнал "*Oral History*" (VIII, 1980, № 1) сообщает о конференции по истории черных и устной истории в 1979 г., в которой участвовали как профессиональные историки, так и черные активисты.

окрашены ностальгией («раньше было хорошее время») или искажены возникшим уже в зрелые годы негодованием за испытанные в детстве лишения. Для слушателя именно эмоции и субъективизм – скажем, любовь к одному из родителей или недоверие к профсоюзным функционерам – зачастую придают устным свидетельствам убедительность, но они могут быть эмоциональным продуктом позднейшего опыта, а не обсуждаемого периода. Как выразился один из критиков о книге Томпсона,

«В конце концов его «эдвардианцы» продолжали жить дальше, став «георгианцами», а теперь и «елизаветинцами». За прошедшие годы некоторые воспоминания поблекли или как минимум испытали влияние последующего опыта. Какие из их детских воспоминаний были на самом деле рассказами старших? Какие прочитанные ими позднее мемуары или романы могли усилить одни впечатления и вытеснить другие? Какие фильмы и телепередачи повлияли на их сознание? ...До какой степени успехи лейбористской партии в первое послевоенное десятилетие могли оживить их ретроспективные представления о своем классовом статусе и классовых противоречиях?»<sup>1</sup>.

Идея о прямом контакте с прошлым, на чем бы она ни основывалась, является иллюзией, тем более если речь идет о ретроспективных свидетельствах. «Голос прошлого» неизбежно является и голосом настоящего.

Но даже если предположить, что устные свидетельства каким-то образом приобрели абсолютно достоверный и незамутненный характер, их все равно будет недостаточно для воспроизведения прошлого. Ведь историческая реальность – это больше, чем сумма индивидуальных опытов. Нисколько не желая принижать роль личности, заметим, что в жизни мы в основном сталкиваемся с ситуациями, которые мы, с нашей субъективной точки зрения, не в состоянии полностью осознать. Наше представление об окружающем мире может соответствовать или не соответствовать нашим жизненным потребностям, но оно никогда не соответствует реальности во всей ее полноте. Одна из задач историка – как можно полнее понять реальность прошлого; доступ к гораздо более широкому кругу источников по сравнению с любым современником изучаемых событий и дисциплинированное научное мышление позволяют историку раскрыть влияние глубинных структур и процессов на жизнь людей. Живость личного восприятия, составляющая главное достоинство устных источников, таким образом, обуславливает и их ограниченность, и историкам следует быть настороже, чтобы не попасть в плен категорий мышления своих информаторов.

---

<sup>1</sup> Рецензия Стивена Косса на «Эдвардианцев» Томпсона в: *Times Literary Supplement*, 5 December 1975, p. 436.

Дело не в том, что эти категории всегда неверны, а в том, что они слишком ограничены. Говоря словами Филипа Абрамса,

«Близкий контакт помогает лучше слышать голоса; но не ...проясняет смысл сказанного. Для этой цели мы должны вернуться от «их» смысла к своему и к тому, что мы о них знаем, а они или не знают, или не говорят»<sup>1</sup>.

Эта ограниченность особенно характерна для демократического или популистского течения в устной истории. Идея, порождающая проекты типа «народной автобиографии», заключается в том, что четкое и достоверное историческое сознание должно помочь простым рабочим лучше распоряжаться собственной жизнью. Но для этого им необходимо понимать, какие силы сформировали окружающий их мир, а большинство этих сил не ими порождены и не проявляются непосредственно в их жизненном опыте. Проблема «коллективной» устной истории в том, что она лишь усиливает характерную для большинства людей поверхностную оценку пережитых ими событий, а не снабжает их более глубокими знаниями, способными послужить основой для более эффективных политических действий. Как убедительно доказывает Джерри Уайт,

«Поскольку он (групповой проект) замкнулся в рамках автобиографического метода – причем абсолютный и непререкаемый приоритет отдается тому, что сами люди говорят о себе, – он мало что, если вообще что-нибудь, дает для понимания уровней и пластов реальности, лежащих за пределами индивидуального опыта»<sup>2</sup>.

Так какое же место занимает устная история в работе исследователей? Поднятые выше вопросы отнюдь не дают оснований для полного отказа от устной истории. Они лишь предполагают, что устные свидетельства, как и любые другие, требуют критического анализа; иными словами, принципы исторического метода, описанные в гл. 4, распространяются и на них. Публикации устных свидетельств, вроде «Детства эдвардианцев» Теа Томпсон (1981) или «Жизни рабочих», подготовленной «Народной автобиографией квартала Хэнки» (1972, 1976) являются не научными работами по истории, а сырьем для их написания. Как и некоторые другие первоисточники, они выразительны и вызывают сопереживание, что делает их познавательным чтением, но они не способны заменить научный анализ.

На самом деле устные источники предъявляют исключительные требования к квалификации историка. Может показаться, что Пол Томпсон, включивший в своих «Эдвардианцев» наряду с устными свидетельствами, также и данные из традиционных источников,

<sup>1</sup> Philip Abrams, *Historical Sociology*, Open Books, 1982, p.331.

<sup>2</sup> Jerry White, "Beyond autobiography", в: Samuel, *People's History and Socialist Theory*, p.35.

выполнил все эти требования; но большинство цитат из интервью помещены в книге в импрессионистской манере, как иллюстрации к затрагиваемым в ней темам<sup>1</sup>. Чтобы использовать устные свидетельства в полной мере, их необходимо рассматривать в совокупности со всеми источниками, относящимися к местам и людям, о которых идет речь, иначе многие детали пропадут впустую. Иногда сами устные исследования позволяют выявить новые документы, находящиеся в частных руках – семейную бухгалтерию или старые фотографии, – вовлекая их в круг дополнительных источников. Именно владение местным контекстом придает такую силу исследованиям Рафаэля Сэмюэла и Джерри Уайта в области устной истории. Вот как сам Уайт описывает свою книгу о жителях лондонского Ист-Энда «Ротшильд Билдингс» (1980):

«Хотя это в первую очередь работа по устной истории, документы сыграли большую роль в концепции книги. Письменные и устные источники в ней постоянно взаимодействуют: находка нового документа побуждает меня задавать новые вопросы интервюемому, а устные свидетельства позволяют увидеть документы в ином свете. Правила, напечатанные в книгах по учету квартплаты, полученных первыми жильцами, побудили меня задать вопрос, насколько они соблюдались и соблюдались ли вообще; находка первоначальных планов Ротшильд Билдингс заставила меня теряться в догадках, что жильцы хранили во встроенном шкафу за дверью гостиной; воспоминания людей о том, как они делали покупки, породили у меня недоверие к вывескам; автобиографические детали бросили тень сомнения на классификацию переписей населения, мнения социологов, стандартные исторические справочники и так далее»<sup>2</sup>.

Овладение всеми относящимися к теме источниками не менее важно и для «демократической» устной истории. Традиционный набор источников, используемых специалистами по местной истории – архивы фирм, газеты, данные переписей, доклады благотворительных организаций и т.д., – позволяет раскрыть экономический и социальный контекст, в котором действовали информаторы, и помогает хотя бы отчасти понять исторические процессы, обусловившие перемены в их жизни. Ограниченные возможности любительского группового проекта требуют, для придания ему политической эффективности, участия профессиональных историков или хотя бы людей, знакомых с методами и данными традиционной социальной истории<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См. рецензию Роберта Грея на книгу Томпсона в: *Social History*, V, 1977, pp.695-697.

<sup>2</sup> White, *Rothschild Buildings*, p.xiii.

<sup>3</sup> В качестве скромного по масштабам, но многообещающего примера такого подхода см.: Tottenham History Workshop, *How Things Were: Growing Up in Tottenham 1890-1920*, 1982.

Но есть одна важная область исследований, где достоверность устных свидетельств не имеет значения. Недавние работы показывают, что устная история может быть важна не столько с точки зрения *исторической правды* или средства политической деятельности, сколько как ценный источник информации о путях формирования социальной памяти. В гл. 1 мы видели, как социальная память выстраивается в соответствии с политическими потребностями, порой сильно расходясь с версией происшедшего, доказанной историками. Устная история позволяет раскрыть этот процесс расхождения, тем самым проливая свет на характер политической культуры и исторического сознания простых людей. Субъективность рассказчика, возможно, и есть самое важное. Ощущение прошлого, которым обладает человек, состоит из избранных непосредственных впечатлений в сочетании с некоей концепцией природы социального строя, в котором он живет. Авторы научных биографий порой показывают, как эти два элемента соотносятся в мышлении лидеров и интеллектуалов, но мы куда меньше знаем об их роли в историческом сознании обычных людей. Однако способ ассимиляции и интерпретации социальными группами собственного опыта сам по себе является фактором исторического развития, сердцевинной политической культуры.

С этой точки зрения сам процесс духовной эволюции «эдвардианцев» в «георгианцев», а затем в «елизаветинцев» является самостоятельным объектом исследования, а не просто препятствием на пути непосредственного контакта с прошлым. Недавние исследования «массовой памяти» показывают, какие открытия можно сделать на основе этого подхода. В Австралии участие австралийско-новозеландского корпуса в Галлиполийской кампании 1915 г. является важной частью национального самосознания нынешнего поколения и начиная с 1920-х гг. официально пропагандируется в такой форме. Алистер Томпсон в своей работе на основе устных материалов показывает, как люди, испытавшие на фронте чувство травмы и потерянности, подавляют личные воспоминания, чтобы они соответствовали общепринятому образу верности, храбрости и боевого братства, которому и по сей день верит большинство австралийцев<sup>1</sup>. В исследовании Алессандро Портелли «Смерть Луиджи Трастулли», механизмы политического воздействия на социальную память показаны еще ярче. Металлист Трастулли был убит полицией во время демонстрации в итальянском городке Терни в 1949 г. Это событие настолько потрясло рабочих, что вскоре конкретные причины и обстоятельства были «сымпровизированы», чтобы придать ему объяснимость. Если на самом деле Трастулли

---

<sup>1</sup> Alistair Thomson, *Anzac Memories: Living with the Legend*, Oxford University Press, 1994.

погиб в ходе кампании протеста против вступления Италии в НАТО, то многие воспоминания, бытовавшие в 1970-е гг., относили этот эпизод к более поздней демонстрации против массового увольнения рабочих, имевшей в глазах большинства очевидцев куда более важное значение. Кроме того, в воспоминаниях описывалось, как град пуль буквально пригвоздил Трастулли к заводской стене, еще сильнее подчеркивая образ мученика. Как объясняет Портелли:

«Несоответствие между фактами и воспоминаниями в конечном счете только увеличивает ценность устного свидетельства как исторического документа. Оно вызвано не провалами в памяти... оно активно и творчески создается памятью и воображением в попытке понять смысл важных событий и истории в целом»<sup>1</sup>.

Устная история – уникальный инструмент для проникновения в этот процесс. Она отражает живую связь между прошлым и настоящим, между индивидуальными воспоминаниями и народной традицией, между «историей» и «мифом». Одним словом, устная история – это сырье для социальной памяти.

#### IV

В то время как исследования в области устной истории расширяли рамки социальной истории индустриальных обществ новейшего времени (и не только в Британии), нечто подобное происходило в Центральной и Южной Африке (и других регионах Третьего мира). Но, хотя устный характер материалов означает, что у обоих направлений имеются общие проблемы, связанные с методикой и интерпретацией, научных контактов через разграничительную линию Север-Юг почти не было, прежде всего потому что условия возникновения этих проектов и их главный предмет исследования сильно различаются<sup>2</sup>. Вообще-то, Африка ничуть не меньше, чем любой другой регион, подходит для исследований «устной истории» в том смысле, как ее понимают на Западе. Воспоминания колониальных подданных позволяют существенно скорректировать данные письменных источников, которые слишком часто являются взглядом с веранды районного чиновника или из окна религиозной миссии. Во многих районах Африки период колониализма был таким коротким, что еще несколько лет назад были живы многие очевидцы начала правления белых. В нескольких

---

<sup>1</sup> Alessandro Portelli, *The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*, State University of New York Press, 1991, p.26.

<sup>2</sup> Впрочем, устная история и устная традиция плодотворно сочетаются в сборнике: В. Bernardi, С. Poni and А. Triulzi (eds.), *Fonti Orali: Antropologia e Storia*, Franco Angeli, 1978. Некоторые из важнейших статей были напечатаны по-английски.

работах по истории колониализма в Африке устные материалы использованы весьма успешно<sup>1</sup>. Но самой трудной задачей для историков является раскрытие более отдаленного прошлого континента, чтобы показать, что современное африканское общество, как и любое другое, является результатом исторического процесса, уходящего корнями в глубь веков. Учитывая, что еще сорок лет назад историки почти ничего не знали о доколониальном периоде, это стало крупномасштабной задачей, в решении которой немалую роль сыграло научное использование устной традиции.

Первые манифесты в пользу исследования доколониальной истории Африки, появившиеся в 1960-х гг., призывали к широкому междисциплинарному подходу с применением лингвистики, этноботаники, палеоклиматологии и эпидемиологии, а также традиционной археологии, так что история Африки, казалось бы, должна была стать своего рода «десятиборьем общественных наук»<sup>2</sup>. На деле же более эзотерические дисциплины в целом остались достоянием соответствующих специалистов, и большинство из них занимается изменениями окружающей среды, измеряемыми тысячелетиями, а не столетиями или поколениями, которыми обычно оперируют историки. В истории Африки, как и везде, письменные материалы заняли центральное место в исследованиях. Частично это связано с тем, что документальная база оказалась куда богаче, чем предполагалось вначале. Европейские торговые компании и миссионерские организации, которые установили контакты с Африкой еще в XV в., и к началу XIX в. проникли далеко вглубь континента, как оказалось, оставили после себя обширные архивы. В исламских районах Сахеля, западного Судана и восточноафриканского побережья, где грамотность глубоко проникла в пределы «Черной Африки», существуют местные хроники, порой относящиеся и к XVI в., а в нескольких государствах вроде халифата Сокото в северной Нигерии, даже зачатки административной документации. Но прослойка грамотного населения исламской Африки была крайне тонкой, а заинтересованность в сохранении документов – в неблагоприятной климатической среде – невелика. В то же время европейские источники, куда более полные, представляют по сути взгляд на африканскую культуру извне: они фиксируют внешние сношения государств или крупнейшие события, вроде восстаний и смерти правителей, но сами по себе совершенно недостаточны для

---

<sup>1</sup> John Iliffe (ed.), *Modern Tanzanians*, East African Publishing House, 1973, содержит в том числе и ряд записей устных автобиографических рассказов. Устные материалы искусно вплетены в ткань повествования в работе: Charles Perrings, *Blade Mineworkers in Central Africa*, Heinemann, 1979.

<sup>2</sup> Wyatt MacGaffey, “African history, anthropology, and the rationality of natives”, *History in Africa*, V, 1978, p.103.



понимания структуры и эволюции африканского общества. А многие районы Африки вообще не имели контакта с грамотными чужеземцами вплоть до появления колониальной администрации в самом конце XIX в. А значит, историки неизбежно обращаются ко второму основному виду устных источников – устной традиции.

Устную традицию можно определить как объем знаний, передававшихся из уст в уста на протяжении нескольких поколений и являющихся коллективным достоянием членов данного общества. В тех районах мира, где всеобщая грамотность существует хотя бы два-три поколения, эта традиция практически утрачена. Одна из немногих форм, в которых она сохранилась в Британии – это школьные стишки и загадки, и существуют они только потому, что дети еще не успели полностью ассимилироваться в основную, письменную, культуру<sup>1</sup>. Но во многих африканских обществах этническая идентичность, социальный статус, притязания на политическую власть и земельное право до сих пор определяются на основе устной традиции; установления, что в западном обществе фиксируются на бумаге, в обществе, не обладающем письменностью, приобретают авторитет благодаря памяти ныне живущих его членов. Конечно, историки далеко не первыми начали записывать африканскую устную традицию. С началом колониального периода она привлекала интерес этнографов, да и просто грамотных африканцев. Позднее устная традиция исследовалась специалистами по социальной антропологии, поскольку она проливает свет на нынешние социальные ценности африканских обществ. Но лишь в 1950-х гг. историки приступили к тщательному анализу устной традиции ради ее исторического содержания и выработке приемов ее сбора и интерпретации. С самого начала эта работа приобрела оттенок поспешности: по мере распространения грамотности и миграции молодежи из деревни в город или рабочий поселок, нить устной традиции могла вот-вот прерваться, ее следовало записывать немедленно, пока она не исчезла вместе со старшим поколением. (Грамотность и трудовая миграция меньше отражались на женщинах, но передача традиций в африканском обществе является почти исключительно уделом мужчин).

Это была необычайно интересная работа. Историки собирали мозаичные массивы традиции, которые, судя по генеалогическому древу, простирались на четыре-пять столетий назад с точным указанием имен и поступков отдельных людей – тем, что по сути и составляет традиционную историографию. Их вера в достоверность устной традиции сильно укрепилась, когда стало известно, что в племенах с

---

<sup>1</sup> См.: Iona and Peter Opie, *The Lore and Language of Schoolchildren*, Oxford University Press, 1959.

наиболее централизованной и сложной организацией ее пересказом занимались специально подготовленные люди; неизменность содержания и живые поэтические образы помогали твердо запечатлеть традицию в памяти, а в некоторых случаях в качестве мнемонических пособий использовались материальные реликвии, вроде царских могил и регалий, служившие напоминанием о последовательности смены правителей. Апогеем этой вновь обретенной уверенности стала публикация в 1961 г. методологического трактата Яна Вансины «Устная традиция»<sup>1</sup>. На основе своих полевых исследований в Руанде и среди заирской народности куба, Вансина утверждал, что методы анализа «официальной» устной традиции в принципе ничем не отличаются от тех, что используются при работе с письменными документами. Он уподобил положение исследователя африканской истории положению медиевиста, имеющему дело с несколькими искаженными вариантами оригинального текста (см. выше, с. 00-00): путем тщательного анализа формы документа, вариантов содержания и последовательности его копирования историк в обоих случаях способен установить оригинальную, «первоначальную» версию. В то же время, сравнение традиций соседних племен порой выявляло удивительное сходство в изображении одних и тех же событий, а независимые данные археологии дополнительно подтверждали правдивость традиции. В случае с царствами доколониальной Уганды (Бугандой и соседними государствами, говорившими на языке банту) сохранилась непрерывная летопись их политической истории на протяжении примерно четырех веков<sup>2</sup>. Хотя устную традицию вряд ли можно рассматривать как *непосредственный* контакт с прошлым, каковым является «устная история», она приветствовалась как подлинно африканский источник – голос прошлого этого континента, не искаженный колониализмом.

## V

К сожалению, более продолжительный опыт работы с устной традицией и исследования не обладающего письменностью общества показали, что дело обстоит куда сложнее. Некоторые из высказанных выше сомнений относительно способности устной истории воссоздавать прошлое применимы и в данном случае – особенно это касается возможных искажений, вызванных присутствием профессионального

---

<sup>1</sup> В 1961 г. книга вышла на французском языке, а ее английский вариант появился в 1965 г. (*Oral Tradition*, Routledge & Kegan Paul, 1965). Новое, полностью переработанное автором издание опубликовано в 1985 г. (Jan Vansina, *Oral Tradition as History*, James Currey, 1985).

<sup>2</sup> M.S.M.Kiwanuka, *A History of Buganda*, Longman, 1971; S.Karugire, *A History of the Kingdom of Nkore in Western Uganda to 1896*, Oxford University Press, 1971.

историка, записывающего устные свидетельства. Но есть и более серьезные проблемы, характерные именно для устной традиции. Они возникают в связи с многократными пересказами, благодаря которым традиция дошла до наших дней, и с ее социальной функцией, которая имеет гораздо большее значение, чем в случае с личными воспоминаниями.

Да, при изложении традиции главным является точное повторение усвоенного содержания, но при этом неизменно присутствует и элемент *спектакля*. Как и всякий рассказчик, исполнитель чутко улавливает настроение аудитории и ощущает, что она желала бы услышать. Каждый новый пересказ истории скорее всего текстуально отличается от предыдущего, ведь ее содержание незаметно адаптируется к общественным ожиданиям. Жизнь традиции поддерживают не сказители, которые непонятным для грамотного человека образом способны без всяких усилий запоминать громадные эпосы и списки имен; традиции передаются из поколения в поколение постольку, поскольку они исполнены смысла в рамках данной культуры. В итоге традиция ценится не сама по себе, а потому, что от нее зависят другие, более важные вещи.

В общем плане устные традиции выполняют две социальные функции. Они могут служить средством усвоения ценностей и верований, присущих данной культуре – подобающим взаимоотношениям между людьми и животными, например, или клановым и родственным обязательствам. Во-вторых, они могут служить узаконению преобладающего социального и политического устройства – распределения земли, претензий конкретной влиятельной династии на пост вождя, или обычаев отношений с соседним племенем. Традиции, связанные с происхождением племени и крупными миграциями, обычно подпадают под первую категорию, а рассказы о деяниях отдельных групп и личностей относятся ко второй, но это различие не носит четкого характера: многие традиции представляют собой космологический трактат и политическую хартию одновременно. Если традиция существует уже четыре-пять поколений, ее содержание, скорее всего, значительно меняется под влиянием ее социальной функции: детали, утратившие актуальность, замалчиваются, в рассказ вносятся риторические или символические элементы. И этот процесс может продолжаться до бесконечности – изменения в социально-политической обстановке накладывают на традицию свой отпечаток. Политическая целесообразность может привести к исключению определенных правителей из летописи или к изменению генеалогии, «объясняющей» нынешние отношения между кланами<sup>1</sup>. Иногда эти изменения

---

<sup>1</sup> Этот и предыдущий параграфы основаны в первую очередь на статье Джозефа Миллера «Прислушиваясь к прошлому Африки», представляющей собой вступительный раздел в: Joseph Miller (ed.), *The African Past Speaks*, Daeson, 1980.

вносятся сознательно. У народности куба перед каждым изложением династической традиции ее содержание тщательно изучается на тайном совете наиболее авторитетных людей; как выразился один из них: «Через какое-то время правда в древних сказаниях изменилась. То, что раньше было правдивым, позднее становится ложным»<sup>1</sup>. Но чаще всего процесс адаптации традиции к современным реалиям происходит постепенно и не столь расчетливо. Вот к каким выводам приходит Дэвид Хениг:

«В обществе, в котором социально-политическая деятельность требует гибкости и двусмысленности (а это, конечно, относится к любому обществу) устная традиция способна освободить настоящее из плена прошлого, поскольку она позволяет воспоминаниям об определенных аспектах этого прошлого – например, последовательности действий прошлых правителей – соответствовать вечно меняющимся представлениям общества о самом себе»<sup>2</sup>.

Период колониализма внес новые искажения. Европейское господство во многих случаях меняло баланс сил между соседними обществами и приводило к перестройке их политических структур в соответствии с административными нуждами – с вполне предсказуемыми последствиями для устной традиции. В британских колониях проницательные африканские правители быстро осознали, с каким уважением их новые хозяева относятся к «традиции», и начали составлять списки царей, подкрепленные устной традицией, демонстрирующие древность их династий или подтверждающие их претензии на особое отношение. Более того, организованные христианскими миссионерами школы внесли новый элемент в условия передачи исторических сведений из уст в уста. В обществах, где грамотность появилась недавно и ассоциируется с правящей группой, записанное слово пользуется огромным и безусловным престижем. В Африке первые опубликованные версии устной традиции, независимо от качества, приобрели авторитет по сравнению с другими версиями, и часто становились стандартным текстом для последующей устной передачи. Результатом стали постоянные искажения, особенно серьезные, если, как это произошло в Буганде, африканские племенные вожди насаждали «официальную» версию, созданную ради укрепления собственного политического положения<sup>3</sup>. Отнюдь не являясь «подлинным» источником в чистом виде, устная традиция – как и большинство аспектов африканской культуры – испытала глубокое воздействие колониализма и сопровождавших его социальных изменений.

<sup>1</sup> Jan Vansina, *The Children of Woot*, Wisconsin University Press, 1978, p.19.

<sup>2</sup> David Henige, “The disease of writing”: Ganda and Nyoro kinglists in a newly literate world, в: Miller, *The African Past Speaks*, pp.255-256.

<sup>3</sup> Michael Twaddle, “On Ganda historiography”. *History in Africa*, I, 1974.

Чувствительность устной традиции к требованиям аудитории и престижу письменного слова с удивительной силой проявилась, когда черный американец, писатель Алекс Хэйли в 1966 г. отправился в Гамбию в поисках сведений о своем предке-рабе по имени Кунта Кинте. Хотя бытующие в этом регионе устные традиции не содержат сведений о реальных людях, живших до XIX в., Хэйли в конце концов отыскал старейшину, пересказавшего предание о том, как его предок мальчиком был захвачен в рабство «королевскими солдатами» в середине XVIII в. Хэйли не делал секрета из своей истории и из того, что он ищет, и есть все основания полагать, что предание было создано специально для него. Через несколько лет в результате известности, которую приобрел бестселлер Хэйли «Корни» (1976), множество сказителей уже рассказывали историю Кунты Кинте в сильно приукрашенном виде<sup>1</sup>.

Таким образом, при использовании устной традиции для реконструкции истории возникают серьезные проблемы. Дело не только в том, что они в основном представляют собой нарративы, составленные в назидание потомкам, а значит, занимают одно из низших мест в научной иерархии источников. Они еще и подвергались постоянной переработке с целью более четкого прояснения их смысла, а порой и его изменения. В отличие от документальных первоисточников, устная традиция не передает слова и значения в их первоначальном виде, с помощью которых историк смог бы воссоздать духовный мир прошлого. На самом деле имеет смысл рассматривать устную традицию как *вторичный* источник, все предыдущие версии которого, к тому же, были стерты из памяти; как если бы публикация каждой новой научной монографии сопровождалась уничтожением всех экземпляров предыдущей работы по данной теме.

Постепенно все устные предания подвергаются такой серьезной перекройке, что даже основные факты вызывают сомнение. У народа ланго из северной Уганды все пересказы преданий начинаются со слов: «Мы, ланго, пришли с Отуке» – впечатляющей возвышенности на крайнем северо-востоке страны. Это может означать, что 500-тысячный народ происходит от мигрантов, прибывших с Отуке в массовом порядке, а может указывать на постепенное продвижение этого народа с северо-востока, или – что наиболее вероятно – свидетельствовать о том, что группы, занимающие господствующее положение в обществе ланго пришли с северо-востока и позднее сумели навязать предание об Отуке всем остальным в качестве отличительной черты ланго. Не исключено, что эта фраза и вовсе лишена исторического

---

<sup>1</sup> Donald R. Wright, “Uprooting Kunta Kinte: on the perils of relying on encyclopaedic informants”, *History in Africa*, VIII, 1981.

содержания, а отражает мировоззрение, и рамках которого северо-восток, скажем, представляет скотоводство, наиболее престижный род занятий у ланго, в отличие от юга (рыболовство) и запада (земледелие)<sup>1</sup>. Чтобы истолковать значение подобной традиции, необходимо глубоко погрузиться в культуру изучаемого народа. Установить охватываемый ей отрезок времени еще труднее, учитывая произвольное удлинение и слияние генеалогий и списков, столь характерные для устной традиции<sup>2</sup>. Но, пожалуй, больше всего приводит в отчаяние тенденция устной традиции к узакониванию современных социальных институтов: лишь в редких случаях признается, что эти институты когда-либо были другими. А ведь именно в этой области другие данные – археологические или сведения европейских документов – довольно скудны.

В результате историки теперь с большой осторожностью подходят к интерпретации устных преданий, претендующих на изложение событий, происшедших несколько сот лет назад. Они поняли, как опасно принимать на веру то, что вполне может быть лишь сегодняшним представлением общины о самой себе, помещенным во временную ретроспективу. Более того, здесь проявляются признаки тех же проблем, что занимают опытных специалистов по устной истории. Неудивительно, если небольшие изменения, вносимые обычными людьми в реинтерпретацию собственного жизненного опыта, позволяют проникнуть в процесс формирования исторического сознания, то насколько богатый материал о том, как прошлое подвергается манипуляциям по социальным мотивам, предоставляет постоянно повторяемая устная традиция целой общины. В этом плане устная традиция представляет особый интерес не в качестве носителя исторической информации, а как средство для раскрытия культурного и политического контекста, в рамках которого формируются образы прошлого<sup>3</sup>. Это весьма многообещающее направление в исследовании коллективного менталитета в Африке.

Однако, при всей своей ценности, подход с точки зрения исторического сознания отнюдь не исчерпывает возможностей научного использования устной традиции. Она по-прежнему рассматривается как исторический источник в традиционном понимании этого слова, и тому есть, по крайней мере, три причины. Во-первых, было бы неправильным полностью отрицать наличие некоторого «завора» между

---

<sup>1</sup> John Tosh, *Clan Leaders and Colonial Chiefs in Lango*, Oxford University Press, 1978, pp.13, 24-34.

<sup>2</sup> David Henige, *The Chronology of Oral Tradition*, Oxford University Press, 1974. См. также его работу: *Oral Historiography*, Longman, 1982, pp.97-102.

<sup>3</sup> См., например: Paul Irwin, *Liptako Speaks*, Princeton University Press, 1981.

прошлым и настоящим. На самом деле представление об обществе, зафиксированное в преданиях, скорее всего «отстает» от реальности, особенно в период ускоренных общественных изменений, через который прошла Африка в последние сто лет. Все мы истолковываем прошлое в свете стереотипов, почерпнутых из прошлого опыта, и общества, не обладающие письменностью, не являются в этом смысле исключением. Томас Спир указывает, что ценности и представления, выраженные в преданиях народов Миджикенда в Кении, отражают ситуацию, существовавшую примерно в 1850 г., до того как их общественная система испытала воздействие «новых богачей» – молодежи, составившей состояния на караванной торговле с побережьем; подобный временной лаг позволяет проникнуть в более древнюю политическую культуру этих народов<sup>1</sup>.

Во-вторых, даже все неоднократные переделки не могли затронуть каждой детали в предании. Описания далекого прошлого могли подвергнуться перекройке в угоду изменившимся общественным представлениям, но они все же несут в себе информацию, не имеющую смыслового характера, но раскрывающую реалии прошлой жизни, вроде сведений об архаических типах одежды и оружия, или о первом появлении экзотических товаров после установления торговых связей с побережьем. Даже из рассказов, имеющих, казалось бы, чисто мистическое и символическое значение, можно почерпнуть ценные исторические данные. Характерным примером может служить предание горской народности шамба из северо-восточной Танзании о возникновении их государства. Оно приписывается герою-вождю по имени Мбега, охотившемуся на диких свиней, бесплатно раздававшему людям мясо и улаживавшему крупные конфликты. Стивен Фейерман признает, что на одном уровне эта история является мифом, полным символических высказываний о культуре шамба (выражая например, противопоставление дикой природы сельскому хозяйству или мяса – плодам); но сопоставление с традициями соседних народностей показывает, что сказание о Мбеге повествует и об урегулировании кризиса в обществе шамба, возникшего в XVIII в. в результате появления на их землях больших групп мигрантов с равнин<sup>2</sup>. Устная традиция, как и письменные документы, способна быть «невольным очевидцем».

В-третьих, и это, пожалуй, самое важное, многие черты, делающие интерпретацию устной традиции столь проблематичной, теряют

---

<sup>1</sup> Thomas Spear, "Oral traditions: whose history?", *History in Africa*, VIII, 1981; См. также его работу: *Kenya's Past: an Introduction in Historical Methodology in Africa*, Longman, 1981.

<sup>2</sup> Steven Feierman, *The Shambaa Kingdom: A History*, Wisconsin University Press, 1974, chs.2-3.

выразительность по мере того, как изложение приближается к нашему времени. Мифы о происхождении народов по-своему завораживают как полевых исследователей, так и кабинетных ученых, но наибольший вклад устной традиции в научное знание связан с историей Африки XIX в. Любое устное предание, каким бы стилизованным и абстрактным оно в конечном счете ни становилось, возникает как описание реально происходивших действий и событий. С точки зрения историка огромная ценность традиций, относящихся, скажем, к эпохе дедов нынешних старейшин, связана с тем, что процесс абстрагирования еще не зашел слишком далеко: детали, имевшие большое значение для непосредственных участников событий, возможно, уже утрачены, а сами истории испытали воздействие ретроспективного взгляда, но деятельность упомянутых в них индивидов и характер общества, в котором они жили, по-прежнему четко просматриваются. В ходе интересной дискуссии об эволюции устной традиции Джозеф Миллер назвал такие материалы «расширенными личными воспоминаниями», относя их к промежуточной категории между непосредственными свидетельствами очевидцев и собственно устной традицией<sup>1</sup>. Опыт многих исследователей показывает, что «недавние» предания, относящиеся к XIX в., хорошо поддаются общепринятым приемам критического анализа источников.

Специалист по XIX в. обладает еще одним преимуществом, а именно *многообразием* традиций, дошедших до нас из этого периода. Что касается более отдаленных эпох, то сохраняются, как правило, лишь предания, повествующие о правящих династиях, или – если речь идет об обществах, не имеющих вождей – племенные эпосы о миграциях и войнах. Однако период, непосредственно предшествующий «борьбе за Африку», находится еще в пределах памяти более мелких социальных групп – кланов, семей или старейшин. Такие материалы не только позволяют историку применить методы сравнительного анализа источников, сопоставляя разные предания между собой; он также во многом дает возможность уравновесить характерную для устной традиции тенденцию изображать африканское общество «сверху», с точки зрения правящей элиты. Различные устные материалы, дошедшие до нас из XIX в., позволяют частично воспроизвести ту напряженную атмосферу, которая существовала между противоположными интересами и конкурирующими центрами власти, что блестяще продемонстрировал Дэвид Коэн в своем микроисследовании по истории бунафу<sup>2</sup>. Одним словом, историки теперь могут приступить

---

<sup>1</sup> Miller, "Listening to the African past", p.10.

<sup>2</sup> David W. Cohen, *Womunafu's Btinafu: A Study of Authority in a Nineteenth-Century African Community*, Princeton University Press, 1977.



к более широкому социальному анализу, чем это позволяли одни лишь традиционные придворные предания.

В Африке XIX в. стал периодом крупных социальных перемен, связанных с распространением торговых связей между отдаленными друг от друга регионами, возобновлением исламской экспансии и – на юге и востоке континента – со сдвигами, вызванными стремительным возвышением зулусского королевства. По мере продолжения сбора устных традиций этого периода намного возрастает и понимание историками этой тематики, а также обстановки, в которой африканцы столкнулись с вторжениями колонизаторов в конце столетия<sup>1</sup>.

## VI

Историки начали использовать устные материалы как средство возвращения конкретному человеческому опыту его центральной роли в историческом дискурсе. Методы, разработанные современной социологией и антропологией, были поставлены на службу задачам, не имеющим ничего общего с обобщающим, теоретическим характером этих дисциплин. На деле, практическая работа в области устной истории и использования устной традиции связана скорее с реконструктивным, чем с интерпретационным аспектом научного исследования. Как и все ученые-новаторы, специалисты по устной истории поначалу возлагали на свою специализацию чрезмерные надежды, утверждая, что она дает уникальную – чуть ли не единственную – возможность для восстановления «утраченных» областей человеческого опыта. Устная история и устная традиция преподносились как голос тех, кто не был по-настоящему услышан в традиционных исторических источниках: в первом случае – «низов» индустриального общества, во втором – неевропейских народов, испытавших на себе воздействие колониализма. Вряд ли можно отрицать существенный вклад устных источников в изучение обеих тем. Нельзя, однако, согласиться с утверждением, что историк, прислушиваясь к «голосу прошлого», способен воспроизвести ландшафт этих неизученных наукой «территорий» с абсолютной точностью. Термин «устная история», порой используемый для определения работы не только с личными воспоминаниями, но и с устной традицией, крайне неудачен, ведь он предполагает наличие особой специализации по аналогии с экономической историей или историей дипломатии. Устная история – это не новая отрасль исторической науки, а новая *методика* – способ привлечения для

---

<sup>1</sup> Хорошими примерами в этой связи являются: Andrew Roberts, *A History of the Bemba*, Longman, 1973; Jan Vansina, *The Tio Kingdom*, Oxford University Press, 1973.

анализа новой категории источников, наряду с письменными источниками и материальными объектами.

В то же время устные источники заслуживают большего внимания, чем им в настоящее время уделяют профессиональные ученые, да и широкая публика. Они являются в итоге *вербальными* материалами, и для них характерны многие сильные и слабые стороны письменных источников: богатство деталей и смысловых нюансов, а также искажения, связанные с культурными стереотипами и политическими расчетами. А значит, устные источники – особенно подходящий материал для применения традиционных методов научной критики. У них есть и другой привлекательный аспект – возможность проникновения в процесс формирования массового исторического сознания, а это должно неизменно вызывать интерес у любого историка.

## Заключение

В последних четырех главах мы дали оценку вклада в историческую науку социологической и экономической теории, количественных методов анализа исторических данных, воздействию культурной теории и использованию устных свидетельств. Но это далеко не полный перечень. Другие новые подходы, такие, как использование ландшафта и киноматериалов в качестве исторических источников, постколониальная история и история окружающей среды, затрагивались в этой книге лишь мельком, поскольку до сих пор их влияние не было особенно заметным; однако в подробном обзоре каждый из них заслуживал бы более широкого рассмотрения. Вместе взятые, эти новации представляют собой наиболее значительный методологический прорыв с тех пор, как полтора столетия назад Ранке заложил основы современной исторической науки. В результате содержание исторических исследований также чрезвычайно расширилось. Оно теперь охватывает социальные структуры во всей их совокупности, историю коллективных ментальностей и эволюцию взаимоотношений общества с природной средой. Кроме того, хотя в этом плане еще очень многое предстоит сделать, женщины сейчас лучше чем когда-либо представлены в исторических трудах. Впервые исторические исследования охватили все уголки земли; ни одна культура больше не считается слишком отдаленной или слишком «примитивной», чтобы не обратить на себя внимание историков.

К инновациям последних сорока лет можно относиться по-разному. Можно рассматривать их как капитуляцию историков перед соблазнами

тематики, предлагаемой другими, более «актуальными» дисциплинами – на этом направлении атаки во многом успешно действует Элтон<sup>1</sup>. Он и те, кто придерживаются сходной точки зрения, считают, что любое расширение спектра исторических исследований означает отход от главного предмета дисциплины (для Элтона таковым остается конституционная и административная история Англии). Поскольку нынешний поворот к культурной тематике ассоциируется с постмодернистской эпистемологией, возникают мрачные предостережения относительно грядущего конца исторической науки<sup>2</sup>. Более оптимистичный и великодушный вердикт, однако, примет во внимание случаи, когда историки успешно ассимилировали достижения других дисциплин, как это произошло с филологией и юриспруденцией в XIX в. Все зависит от того, насколько готовность воспринять влияния извне совместима с приверженностью основам исторического сознания. Несомненно, существует опасность, что за всеобъемлющими социальными теориями можно упустить из виду уникальность прошлого или что текстуальная теория вырвет первоисточники из исторического контекста, а устная история неосознанно привнесет в воспоминания о прошлом современные оценки. Но эти опасности хорошо известны, и одной из целей данной книги было как раз продемонстрировать, что историки, вооруженные таким знанием, способны отсеивать наименее удобоваримые последствия привнесенных извне инноваций. Сразу приходит в голову длительная борьба Э.П.Томпсона против детерминистских тенденций в марксизме или крайне осторожный подход Эпплби, Хант и Джекоб к современной текстуальной теории<sup>3</sup>. Интерес к изучению истории во многом связан с тем, что она является как бы перекрестком, где сходятся задачи многих дисциплин. Историки превращают эти задачи в свои собственные, помещая их в рамки исторического контекста и исторического процесса. Они отвергают те интеллектуальные позиции, что лежат над или за пределами истории; остальное они ассимилируют, тем самым неизмеримо обогащая ее предмет.

Однако с расширением спектра исторических исследований возникает одна несомненная проблема: история превратилась в дисциплину, почти лишенную очевидной целостности. В XIX в. было возможно на практике отгородить историю от других дисциплин и ограничить ее специализацию нарративным изложением политических

---

<sup>1</sup> См. в особенности: G.R.Elton, *Return to Essentials*, Cambridge University Press, 1991.

<sup>2</sup> *Ibid*; Arthur Marwick, "Two approaches to historical study", *Journal of Contemporary History*, XXX, 1995, pp.5-35.

<sup>3</sup> E.P.Thompson, *The Poverty of Theory*, Merlin, 1978; Joyce Appleby, Lynn Hunt and Margaret Jacob, *Telling the Truth About History*, Norton, 1994.

событий. Взлет экономической истории в начале XX в. мог бы внести серьезные поправки в эту схему, если бы политическая и экономическая история не проявили тенденцию к взаимной изоляции. Сейчас ситуация совершенно иная. Появились новые подходы к прошлому: возникла культурная история, а социальная история достигла зрелости. Но кроме того, все больше исследований осуществляется на стыке тематических специализаций, а отстаивать традиционные претензии политической истории на центральное место в рамках дисциплины стало уже практически невозможно; историческая наука превратилась в многоквартирный дом со множеством внутренних дверей и переходов<sup>1</sup>.

История всегда с трудом поддавалась логическим дефинициям. Но теперь более, чем когда-либо, ее можно адекватно охарактеризовать лишь в категориях парных противоположностей. Она занимается и событиями и структурами, индивидом и массой, ментальностью и материальными силами. Сами историки должны совмещать нарративные навыки с аналитическими, проявляя как сопереживание, так и отстраненность. Их дисциплина – это и воссоздание и объяснение событий, и наука и искусство; короче (возвращаясь к одному из исходных моментов данной книги) история – это гибрид, не поддающийся классификации. Эти отличительные черты следует рассматривать не как борьбу противоположностей, а как взаимодополняющие акценты, которые в совокупности дают возможность более или менее адекватно понять прошлое в его реальной сложности. Дав определение истории в четких абсолютных категориях, мы ничего не выиграем – это может послужить разве что риторической поддержки какого-нибудь нового подхода, чьи полномочия еще надо подтвердить. Но можно очень многое утратить, если в интересах ложно понимаемой целостности историки упустят из вида всю широту своего предмета.

И последнее, что необходимо отметить, современное практическое разнообразие отражает коренную амбивалентность функции, которую выполняет история. Ведь пока люди сохраняют хоть какой-то интерес к человеческой природе и творчеству, они согласятся, что любое проявление человеческого духа в прошлом может претендовать на их внимание, а историю стоит изучать ради ее самой. Некоторые из новых подходов, появившихся в последние сорок лет, явно идут в русле этой гуманитарной традиции. Исследование коллективных ментальностей в первую очередь преследует цель воссоздать эмоции и интеллект

---

<sup>1</sup> *Интересные рассуждения на эту тему см. в: Theodore K. Rabb, "Coherence, synthesis and quality in history", in: T.K.Rabb and Robert I. Rotberg (eds), The New History: the 1980s and Beyond, Princeton University Press, 1982.*

людей, живших в совершенно иных условиях, чем живем мы, с тем, чтобы их внутренний мир стал нам понятнее. Специалисты по устной истории и Британии и других индустриальных обществах стремятся сохранить повседневный опыт недавнего прошлого, представляющий для них ценность сам по себе.

Но на инновационные тенденции в историографии последних лет сильно повлияло и убеждение, что опыт прошлого содержит уроки для современного общества. Период почти полного отхода от злободневных тем, характерный для профессиональных ученых первой половины XX в., закончился. Спокойно, но настойчиво историки вновь возвращаются к претензиям своей науки на выработку руководства к действию и ориентиров на будущее. Это убеждение существует, и оно влияет на исследовательские приоритеты, хотя их результаты чаще всего недостаточно убедительно преподносятся широкому читателю. Главной целью макроэкономической истории и количественных методов, в совершенствование которых она внесла больший вклад, чем любая другая отрасль исторической науки, является изучение динамики роста и стагнации экономики в масштабах целых стран. Ощущение кризиса в управлении мировыми природными ресурсами способствовало усилению роли истории окружающей среды точно так же, как выход черной Африки на международную арену привлек внимание к африканской истории. Теории о социальных структурах и социальных изменениях, позаимствованные историками у общественных наук, первоначально развивались мыслителями вроде Маркса и Вебера в качестве вклада в решение проблем современности; неслучайно их применение привело к интересным результатам в таких областях, как городская история и история семьи, которые сегодня непосредственно обращены к современным проблемам.

Конечно, если историки стремятся реализовывать свой потенциал носителей общественной мудрости, им следует апеллировать к широкой аудитории. В этом отношении профессиональные ученые настроены весьма пессимистично. В Британии историки периодически сетуют на потерю интереса со стороны широкой публики и ностальгически вспоминают времена, когда их предшественники пользовались популярностью у читателей, даже если их труды оставляли желать лучшего в исследовательском плане. Дэвид Кэннадайн, например, говорит об «интеллектуальной робости и антикварной педантичности» своих коллег – качествах, которые, по его мнению, отпугнули и читателей, и студентов<sup>1</sup>. Конечно, неуклонное стремление к профессионализму

---

<sup>1</sup> D.Cannadine, "British history: past, present – and future?" Past and Present, CXVI, 1987, p.178.

нетрудно совместить с привлекательностью для непрофессиональной аудитории, но на самом деле такой пораженческий взгляд разделяется далеко не всеми историками. При ближайшем рассмотрении оказывается, что эта проблема характерна для определенных типов исторических трудов, а не для всей науки.

«Технические» работы по политической истории за пределами научных кругов мало кто читает, и попытка лишить британскую историю привычных ориентиров вроде Английской революции 1640-х гг. или промышленной революции вряд ли придется по вкусу широкой публике; но те ученые, чьи труды обладают смыслом и цельностью, по-прежнему находят у нее живой отклик. Достаточно вспомнить хотя бы нарисованную Олвен Хафтон панораму жизни женщин в Европе раннего нового времени или отрезвляющие и далеко идущие размышления Эрика Хобсбаума о «коротком» XX в.<sup>1</sup> Историки, которым есть что сказать, никогда не уединялись в башне из слоновой кости, и нет никаких причин, чтобы это положение изменилось в будущем.

Самый большой повод для оптимизма в отношении будущего исторической науки – это тот факт, что все больше ученых сегодня исследуют темы, имеющие актуальное значение. Они не занимаются пропагандой, а исходят из убеждения, что из научных открытий историков можно извлечь ценные выводы. Несомненно, эти выводы не столь однозначны, как утверждают сторонники «научной истории». Если общество ищет у историков ответов в виде точных прогнозов и четких обобщений, его ждет разочарование. Стремление к актуальности приведет к другому, не столь очевидному, но в конечном счете более ценному, результату – более четкому осознанию возможностей, заложенных в сегодняшней ситуации. И пока историки имеют о виду эту цель, их наука сохранит свою жизненную силу и уверенность в поддержке со стороны общества, в котором они работают.

---

<sup>1</sup> *Olwen Hufton, The Prospect Before Her: A History of Western Women, 1500-1800, Harper Collins, 1995; Eric Hobsbawm, Age of Extremes: the Short Twentieth Century, 1914-1991, Michael Joseph, 1994.*





## Библиография

*В постраничных сносках основного текста книги приведены издания, в которых можно найти более полную информацию по конкретным вопросам, рассматриваемым в каждой главе. Нижеперечисленные работы дадут возможность читателю ознакомиться с литературой по всем основным проблемам, поднятым в книге. Включены работы только на английском языке. В том случае, когда существует несколько изданий книги, отсылка дана на наиболее доступное. В сносках обычно указано первое издание цитируемой книги.*

Abrams Philip, *Historical Sociology* (Open Books, 1982).

Appleby Joyce, Hunt Lynn and Jacob Margaret, *Telling the Truth About History* (Norton, 1994).

Bagley J.J., *Historical Interpretation, in two volumes: vol. I, Sources of English Medieval History, 1066-1540* (Penguin, 1965), and *vol. II, Sources of English History, 1540 to the Present Day* (Penguin, 1971).

Bann Stephen, *The Inventions of History* (Manchester University Press, 1990).

Bann Stephen, *The Clothing of Clio* (Cambridge University Press, 1984).

Barzun Jacques and Graft Henry F., *The Modern Researcher* (3rd edn, Harcourt, Brace Jovanovich, 1977).

Bebbington David, *Patterns in History* (Inter-Varsity Press, 1979).

- Black Jeremy and McRaid Donald M., *Studying History* (Macmillan, 1997).
- Bloch Marc, *The Historian's Craft* (Manchester University Press, 1954).
- Braudel Fernand, *On History* (Weidenfeld & Nicolson, 1980).
- Burke Peter (ed.), *New Perspectives on Historical Writing* (Polity, 1991).
- Burke Peter, *History and Social Theory* (Polity, 1995).
- Burke Peter, *Varieties of Cultural History* (Polity, 1997).
- Butler L.J. and Gorst A. (eds), *Modern British History* (Tauris, 1997).
- Butterfield Herbert, *Man On His Past* (Cambridge University Press, 1955).
- Cannon John (ed.), *The Historian at Work* (Allen & Unwin, 1980).
- Carr E.H., *What is History?* (2nd edn. Penguin, 1987).
- Counce Stephen, *Oral History and the Local Historian* (Longman, 1994).
- Cipolla Carlo M., *Between History and Economics: an Introduction to Economic History* (Blackwell, 1991).
- Clark Kitson G., *The Critical Historian* (Heinemann, 1967).
- Collingwood R.G., *The Idea of History* (Oxford University Press, 1946).
- Connell-Smith Gordon and Lloyd Howell A., *The Relevance of History* (Heinemann, 1972).
- Curtis L.P. (ed.), *The Historian's Workshop* (Knopf, 1970).
- Drake Michael, *The Quantitative Analysis of Historical Data* (1974).
- Elton G.R., *Political History* (Allen Lane, 1970).
- Elton G.R., *The Practice of History* (Fontana, 1969).
- Evans Richard J., *In Defence of History* (Granta, 1997).
- Fentress James and Wickham Chris, *Social Memory* (Blackwell, 1992).
- Floud Roderick, *An Introduction to Quantitative Methods for Historians* (2nd edn. Methuen, 1979).
- Furedi Frank, *Mythical Past, Elusive Future: History and Society in an Anxious Age* (Pluto, 1992).
- Galbraith V.H., *An Introduction to the Study of History* (C.A. Watts, 1964).
- Gardiner Juliet (ed.), *What is History Today?* (Macmillan, 1988).
- Gay Peter, *Freud for Historians* (University Press, 1985).

- Geyl Pieter, *Use and Abuse of History* (Yale University Press, 1955).
- Haskins Loren and Jeffrey Kirk, *Understanding Quantitative History* (MIT, 1990).
- Henige David, *Oral Historiography* (Longman, 1982).
- Hosking G. and G.Schopflin (eds), *Myths and Nationhood* (Hurst, 1997).
- Hoskins W.G., *Local History in England* (2nd edn, Longman, 1972).
- Hunt Lynn (ed.), *The New Cultural History* (California University Press, 1989).
- Iggers George C. and Powell James M. (eds), *Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline* (Syracuse University Press, 1990).
- Iggers George C. *New Directions in European Historiography* (Wesleyan University Press, 1975).
- Jenkins Keith (ed.), *The Postmodern History Reader* (Routledge, 1997).
- Jenkins Keith, *On 'What is History?'* (Routledge, 1995).
- Jenkins Keith, *Re-Thinking. History* (Routledge, 1991).
- Kammen Michael (ed.), *The Past Before Us* (Cornell University Press, 1980).
- Kaye Harvey J., *British Marxist Historians: an Introductory Analysis* (Polity Press, 1984).
- Kenyon John, *The History Men* (Weidenfeld & Nicolson, 1983).
- Le Goff Jacques and Nora Pierre (eds), *Constructing the Past: Essays in Historical Methodology* (Cambridge University Press, 1985).
- Lowenthal David, *The Heritage Crusade and the Spirit of History* (Viking, 1997).
- Lowenthal David, *The Past is a Foreign Country* (Cambridge University Press, 1985).
- Marwick Arthur, *The Nature of History* (Macmillan, 1970).
- Munslow Alun, *Deconstructing History* (Routledge, 1997).
- Novick Peter, *That Noble Dream: the 'Objectivity Question' in the American Historical Profession* (Cambridge University Press, 1988).
- Plumb J.H., *The Death of Past* (Macmillan, 1969).
- Rigby S.H., *Marxism and History: a Critical Introduction* (Manchester University Press, 1987).
- Samuel Raphael and Thompson Paul (eds), *The Myths We Live By* (Routledge, 1990).
- Samuel Raphael, *Theatres of Memory, vol. 2: Island Stories* (Verso, 1998).

- Samuel Raphael, *Theatres of Memory, vol. 1: Past and Present in Contemporary Culture* (Verso, 1994).
- Scott Joan W., *Gender and the Politics of History* (Columbia University Press, 1988).
- Shoemaker Robert and Vincent Mary (eds), *Gender and History in Western Europe* (Arnold, 1998).
- Southgate Beverley, *History: What and Why?* (Routledge, 1996).
- Stannard David E., *Shrinking History: on Freud and the Psychohistory* (Oxford University Pre 1980).
- Stern Fritz (ed.), *The Varieties of History* (2nd edn, Macmillan, 1970).
- Stone Lawrence, *The Past and the Present Revisited* (Routledge & Kegan Paul, 1987).
- Thompson E.P., *The Poverty of Theory* (Merlin Press. 1978).
- Thompson Paul, *The Voice of the Past. Oral History* (2nd edn, Oxford University Press, 1988).
- Vansina Jan, *Oral Tradition As History* (James Currey, 1985).
- Walsh W.H., *An Introduction to Philosophy of History* (3rd edn, Hutchinson, 1967).
- Warren John, *The Past and Its Presenters: an Introduction to Issues in Historiography* (Hodder & Stoughton. 1998).
- Windschuttle Keith, *The Killing of History* (revised edn, Macleay, 1996).

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ	7
ГЛАВА 1. Историческое сознание	11
ГЛАВА 2. Для чего нужна история	33
ГЛАВА 3. Сырье для историка	57
ГЛАВА 4. Работа с источниками	81
ГЛАВА 5. Основные темы исторических событий	103
ГЛАВА 6. Изложение и интерпретация	129
ГЛАВА 7. Границы исторического знания	151
ГЛАВА 8. История и социальная теория	185
ГЛАВА 9. Историях в цифрах	219
ГЛАВА 10. Истолкование смысла и теория	241
ГЛАВА 11. История из первых уст	261
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	285
БИБЛИОГРАФИЯ	291